

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

9 '91





Сальвадор ДАЛИ. 1904—1989 гг.
«Стереоскопическая живопись». Холст, масло. 1976 г. (фрагмент).
На первой стр. обложки —
«Битва при Тегуане». Холст, масло. 1962 г. (фрагмент).
Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



(435) 9'91

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:

Председатель —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

В НОМЕРЕ:

Проза

Кир БУЛЫЧЕВ. Любимец. Рассказ (37)
Василий АКСЕНОВ. Московская сага. Роман.
Продолжение (49)
Эрик АМБЛЕР. Маска Димитриоса. Роман. Оконча-
ние. Перевод с английского Ю. Дубровина (65)

Наследие

А. СКАЛДИН. Странствия и приключения Никодима
Старшего. Роман.
Предисловие В. Крейда (4)

Поэзия

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ (24), Игорь МЕЛАМЕД
(25), Яков КОЗЛОВСКИЙ (35), Дмитрий БУШУЕВ
(48), Алла РЯЗАНОВА (79)

Публицистика

Галина АРБАТСКАЯ. Рюмин-Рязанский, или Эпоха
увольнений от войн (2)
Переселение народов начинается с Костромы.
Интервью Александра КРИВОВА
Константину Михайлову (80)
Людмила САЛЬНИКОВА. Баллада о прекрасной
даме (84)
«Бизнес-клуб» (86)
20-я комната. Журнал в журнале. Выпуск № 5/44 (90)

Критика

Игорь ДЕДКОВ: «Они» всегда знали о нас все...»
Беседу вел Андрей Амлинский (82)

Культура и искусство

Михаил ЛЕВИТИН. Книга, написанная второпях.
Начало (26)
Николай ФЕДОРЕНКО. Мир Сальвадора Дали (32)
Владимир ПРОСТОВ. Иванъ Ивановичъ Джонсъ (47)
Александр ТКАЧЕНКО. Тебе, Эдик (78)

Зеленый портфель

Второй микрофон, пожалуйста! Иронические
стихи (88)
Вечер короткого рассказа (89)

РЮМИН-РЯЗАНСКИЙ, или ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН

К портрету градоначальника-демократа



Кризис власти в Рязани проходил на волнах городской канализации: в год прихода демократов в двадцатиградусный мороз температура в домах была плюс восемь, на восьмой-девятый этажи вода поднималась только ночью. Потом выстроились длинные и молчаливые, как в гражданскую, очереди за хлебом. Продуктов тогда рязанцы получали на 35 копеек в день — вдвое меньше, чем з/к в зоне. По ночам депутаты горсовета ездили с шоферами машин-хлебовозок. Но: мука — в «руках» области, деньги на коммуникации — тоже.

Для того чтобы удержаться, новой власти нужно парализовать или нейтрализовать влияние старой — облсовета. И тогда президиум горсовета обратился с просьбой в ВС РСФСР о подчинении города республике. Осенью же был расформирован исполком — исполнительная и законодательная власть оказалась в руках председателя горсовета Валерия Рюмина. Заместитель Рюмина, бывший майор МВД, преподаватель кафедры экономики рязанского десантного училища 35-летний кандидат наук Сергей Вобленко на три месяца был откомандирован в Верховный Совет РСФСР для работы над законодательством о местном самоуправлении. Затем Рюмин организовал Союз российских городов и стал его президентом. Благодаря этому Союзу «самоуправство» получило статус закона, и в российский городе появился свой почти муниципалитет — с властью над водой, теплом и канализацией.

Новая власть действовала решительно. Исчезло мясо на колхозном рынке — через арбитраж отобрали его у областной потребкооперации. Рынок снова полон. Проблема коммуникаций была решена просто: новое жилье не строить, найти миллион на строительство баз для слесарей и сантехников. Давать им жилье в первую очередь. Миллион рублей плюс дефицитные трубы нашли вполне законно, но и вполне в духе нового советского авантюризма деловых людей. Продадут недостроенный торговый центр, получают миллион.

Итак, народный депутат РСФСР Валерий Рюмин — председатель Рязанского горсовета. 41 год, родом из Сибири. Из рабочей семьи. Окончил Новосибирское военно-политическое училище, потом полит-академию имени Ленина. Воевал в Афганистане, был ранен, ушел в запас и преподавал в рязанском десантном училище. При внешности почти рязанского парня причешку имеет суперманистскую, хотя стрижен в одной и той же рязанской парикмахерской, но у разных мастеров. Общителен, но обиды прощает трудно: человек, единожды предавший, для него перестает существовать.

На предвыборных митингах российского президента (Рюмин был доверенным лицом Ельцина) держался стойко и весьма демократично. Жена Татьяна росла на бандитской омской окраине. С Валерием училась в одном классе. Ездит с мужем на сессии ВС. Ведет всю работу по Союзу российских городов, прекрасно готовит.

Сын Дмитрий. Отслужил армию, учится в московском вузе. Во время предвыборной борьбы Рюмина-отца весь класс Димы расклеивал по городу листовки. В 16 лет Диме было сказано: ты сам отвечаешь за свои поступки. Он впервые проявил самостоятельность — на собрании заявил, что в комсомол вступают ради карьеры.

Папу вызывали в школу, но тот объяснил, что право сына — иметь свои убеждения. В школе сделали правильный вывод: сын попал под влияние отца.

Сергей Вобленко — характеристика шефу:

— Рюмин — десантник, а я работал в МВД. Я привык действовать тайно и по ночам, а он — сверху вниз, причем «если парашют не раскроется, то тем хуже врагу»... Мы вместе баллотировались в депутаты России, я проиграл, и Рюмин взял меня замом. Зачем мы взялись за это дело? Он воевал в Афганистане, я в Ереване, у нас не было иллюзий насчет того, что нас ждет...

Вполне приличного объема папка с вырезками из «Приокской правды», почти в каждом номере повествующей, как плохи Рюмин и его команда, бережно хранится деловой, исполнительный уминей, помощницей мэра Надеждой Михайловной Маругиной.

...Три дня я мотаюсь с Рюминым по городу и мучаю его вопросами.

— Вы хотите быть богатым?

— Безусловно. Я им и буду. Пока что человек у нас как робот — отработал и умер. Мои родители мне ничего не оставили, и я, выходит, сыну ничего не оставлю — разве что тряпки, которые изношу к 60 годам?..

— Ваш курс, который вы не очень-то афишируете, — выраживание деловых людей, предпринимательство...

— Да, именно так. В мире пять процентов предпринимателей, у нас еще меньше. Приватизация пройдет за пять — восемь лет и будет идти трудно. Мужик у нас как настроен? — никакого предпринимательства, никаких богатых людей! В городке, где 20 тысяч жителей, ребята захотели взять в аренду овраг, сделать пруд, разводить рыбу, построить лодочную станцию. Но жители против, боялись, что арендаторы разбогатеют, овраг осушили. Сейчас я должен создать задел для будущего, чтобы потом отдать дело в руки нормальных людей. Жил когда-то в Рязани купец Рюмин, мой тезка. Остался Рюмин парк, Рюмин пруд, Рюмин дом. А вся эта политическая трескотня ничего не оставит — но только дело... Я говорил Ельцину и Хасбулатову, что никуда из Рязани не уеду, — может, поэтому ко мне в Москве хорошо относятся.

— А если вы проиграете осенью на выборах в мэры?

— Проиграю, значит, проиграю — уйду в семейный бизнес. К тому времени у меня будут имя и опыт... Останусь президентом Союза российских городов, если центр его будет в Рязани.

Сегодня задача российского правительства — создать богатые предприятия, другого выхода нет. Будут богатые предприятия, будет богатым город. Необходимо снизить налог на прибыль до 20–25 процентов, снять ограничения с заработной платы.

— Это проекты. Пока что предприятия бастуют — у вас в Рязани тоже.

— Да, на нефтезаводе создали забастовочный комитет. Администрация и рабочие, как мы их ни пытались примирить, говорили друг другу «нет». Пригласили представителей из министерства, договорились: с первого июля повысили зарплату вдвое, с первого сентября — втрое. Профсоюзу в эти моменты надо стать левее, чем забастовочный комитет, — вот выход.

— Выгодна ли порядочность политике?

— Мне кажется, должно быть чувство, что тебя Бог накажет, если ты сделал пакость. Когда я поступаю не так, очень нехорошее ощущение... Порядочности же в политике нет и не может быть. Политика — грязное дело: чем выше, тем больше... И все же порядочность выгодна, безусловно. Когда на меня ушат грязи очередной выльют, хочется надерзнуть, нагубить. Но — ухожу. С противником надо бороться честно. Вы видели, как я с председателем облисполкома В. В. Калашниковым шептался в президиуме на пленуме областного профсоюза? А говорили мы вот о чем. Я показал ему бюллетень, подписанный накануне выборов почти всеми членами избирательной комиссии: осталось лишь цифру поставить, сколько проголосовало. «А это не ваша работа?» — спросил Калашников. «Но зачем мне своих людей подставлять, это же три года тюрьмы». — «Ты это будешь использовать?» — «А как бы ты поступил на моем месте?»

Бюллетень тот был показан Рюминым по телевизору с комментарием:

«Этим фактом занимается областная прокуратура». Прокуратура занялась на моих глазах — через три часа после того, как «обнаружили факт».

— Вы беспощадны к своим противникам?

— Наоборот. Женщина, во время выборов бывшая моим противником, сейчас работает у нас в горсовете, очень грамотный специалист. Одураченная, она честно сражалась против. Сейчас и она, и ее муж вышли из партии. Или мой

бывший приятель, «заложивший» меня, — он идет туда, куда власть, и продает всякого. Но мне невыгодно с ним рвать, а выгодно его задействовать, ведь вокруг него много людей, которые тоже будут против меня.

— Вам пытались, скажем так, вручить подарок?

— У меня в кабинете стоит шкатулка. Мне принес ее один человек. Я спросил его: «Почему без икры?» Он замялся. Потом приходил еще раз, но шкатулку постеснялся, видимо, забрать. Так и стоит в шкафу — для взяток. Немцы подарили мне ручку с золотым пером. Когда подводили итоги года, я вручил ее лучшему сотруднику. Еще как-то меня на празднике газеты «Рязанский комсомолец», не зная, что я мэр, вытащили на сцену, заставили петь, плясать, сочинять стихи в борьбе за звание лучшего мужчины Рязани. Оказался я лучшим мужчиной, и мне вручили портативный телевизор. Я не знал, что с ним делать! Хорошо, что рядом оказался директор детского дома, я отдал ему, сказал, чтобы подарили лучшему выпускнику.

— Вы не боитесь потерять кресло?

— Я не особенно за него держусь. Я знаю, что если уйду, то получу еще больше, эта должность распухла мой кругозор. У нас уходит ведущий специалист — руки трясутся: он боится, что я буду его преследовать...

— Почему вы секретарше говорите «ты»?

— Разве? Недостаток воспитания. Спасибо, что сказали... Мне трудно переходить на «вы». В среде офицеров общение грубоватое. Здесь я, конечно, не должен позволять себе...

— С каким чувством вы ехали в Афганистан?

— Я с удовольствием ехал туда, был убежден, что все идет правильно: американцам можно, значит, и нам нужно. Думал, что наше руководство умное. И вот в 30 лет я, замполит полка, попадаю в общество генералов — стал ездить в штаб округа. И увидел пьянство, разврат. Летел в самолете маршала Советского Союза Соколова — нигде было сидеть, все забито ящиками, тряпками.

— Как вы были ранены?

— Проводили обычную операцию по уничтожению бандформирований на ирано-пакистанской территории. Вышли на населенный пункт — там были всегда безоружные люди...

— И что вы с ними сделали?

— Уничтожили. Потом оказалось, что приземлились не там, — летчики ошиблись, вместо Ирана попали в Пакистан... Эту операцию нужно было успеть провести за пять часов, иначе наблетят «фантомы». Мы не успели — 40 человек ранено и убито. В машине, где я ехал, нас было семеро, шестеро погибли, меня просто выбросило из кузова. С тех пор — шрам на лбу.

— Какие уроки вам дал Афган?

— Первое открытие было: газета «Правда» врет. Я, политработник, всегда считал и учил других, что «Правда» — это правда. И вдруг она пишет об одной из наших операций откровенную ложь! Потом соврал ТАСС. И перестал для меня существовать.

Или еще: во время одной операции население ушло в горы. В горах снег, долго им не выдержать: или погибнут, или спустятся вниз. И точно — пришли старики с «капитуляцией». Спуститься разрешили, но при условии, что у каждого в руках будет красный флаг. Они зарезали баранов, покрасили флаги их кровью. И с гор по белому снегу стали спускаться люди с красными флагами. Красивые кадры были в фильме о том, как укрывшееся в горах от бандитов население Пеншерского ущелья приветствует части Красной Армии...

Когда я учился в политакадемии имени Ленина, она считалась рассадницей вольного духа, там преподавал Волкогонов. Нас как бы незначай знакомили с трудами Бухарина, Троцкого. На занятиях сидеть необязательно, можно уйти в кино, театр. То есть готовили, и довольно хорошо, людей, которые с несколькими раскрепощенным сознанием будут защищать интересы социализма.

— Говорят, вы собираетесь снести памятник Ленину?

— Ни в коем случае. Я считаю, пусть стоит Ленин, и Сталин пусть стоит. Как во Франции Робеспьер и Наполеон. Это наша история. В училище я впервые по-настоящему прочел Плеханова, Троцкого. Я понял полный абсурд идеи Ленина. Он не только ревизовал, но полностью выбросил Маркса. Вы знаете, что для меня самое тяжелое сейчас? — я не возлагаю цветов к памятнику Ленину. Не могу. Полная беспринципность, неуважение к людям. Такой оголтелости даже у Гитлера нет. Эсеров расстрелял, кронштадтскую бойню устроил... Когда я курсантам об уничтожении казачества рассказывал, они не поверили. Потом эти факты были опубликованы, и они мне поверили. Если им два-три примера

привести и они убеждаются, что это правда, то уже верят безоговорочно. К сожалению.

— В 28 лет вы уже привыкли ездить только в машине, и вдруг, после Афгана, вы простой преподаватель. Как проходила «социальная адаптация»?

— На этом этапе человек ломается, очень все это болезненно. Военный городок, с вами все советуются, и вдруг... Жена могла сделать служебную карьеру, но все отдала тебе, а ты все завалил. Начинаешь замечать, что кто-то тебе — тебе! — честь не отдал.

Чтобы преодолеть чувство ущербности, решил что-то сделать для семьи. Я по характеру не могу отдыхать. В Сочи с женой приезжаем, через три дня иду к солдатам на стройку помогать. И вот у меня четыре года не было отпусков: перевезли из Омска Таниных родителей, купили им дом, отремонтировали его, два года работали (я видела тот дом, садик — все вылизано, вычищено, и труба, спускающаяся с крыши, по ней вода в ванну бежит, не труба вовсе, а слепленный из цемента крокодил. — Г. А.). В общем, занимался делом. Тогда я и решил, что из Рязани никуда не уеду.

— Вы честолобивы?

— Никогда не задумывался. Я никому не завидовал. Не могу, например, запомнить, какого цвета машина у моего друга. Хотя гонор у меня есть — не хочу, как все...

— Как вы относитесь к КГБ?

— Нормально. Но они лезут не туда. Раньше преследовали за инакомыслие, сейчас то же самое, только вывески поменяли. Они рвутся в Советы — зачем? Нигде в мире не заняты этим спецслужбы. Я прошусь у них выступить, но они как-то болезненно это воспринимают. На выборах в облсовет объявили недействительными итоги голосования по кандидату в депутаты от КГБ. У него не хватало голосов, тогда его коллега взял урну, пошел по домам: «Здравствуйте, я из КГБ. Вы будете голосовать?»

— На вас, вероятно, давно заведено досье?..

— Безусловно, я это знаю. Но у меня нет тайн.

— Ваше отношение к КПСС?

— Из партии я вышел год назад. Недавно приезжаю в районный центр по делам выборной кампании. Секретарь РК КПСС спрашивает: «Почему телеграмму не дали?» Я сказал, что в исполком дал, а партия, согласно Конституции, организация общественная, что же мне, и в общество филателистов телеграммы посылать? Люди это слышат и впервые видят, как с ними можно разговаривать.

Секретарь Шацкого партийного райкома смял портрет Ельцина и прилюдно разорвал его на кусочки. Партийные работники срывают объявления о предвыборных встречах. Я думаю, что это от безделья — чем им еще заниматься?.. На одном совещании первый секретарь обкома Л. И. Хитрун приказывал голосовать за Рыжкова. Тогда встал один из директоров, сказал: «У нас здесь у всех седые головы, мы сами знаем, за кого голосовать». И вышел из зала! Власть от них уходит...

— Какая черта характера вам мешает?

— Неверие. Я в жизни много раз ошибался и сейчас ошибаюсь тоже. Мы все нищие, голодные, злые, воспитанные на доносах. Очень много людей, связанных со спецслужбами. Потому что достоинство в людях мало... Еще мешает постоянное желание сделать дело как можно быстрее. Знаю, что делаю правильно, но не вовремя, опережаю время. Сейчас я гащу в себе эту резкость. Наверное, это переход от военной службы к гражданской. Я привык в армии, что команды исполняют обязательно. А здесь — пообещал и не сделал, и ничего. Год назад меня трясло от этого. Сейчас я спокоен. Появилась власть, реальная власть.

...Утром мэр Рязани искал сахар. Сахара в городе было на месяц, и Юмий повелел его весь выдать, решив, что потом, в конце лета, народ вместо сахара, которого тогда не будет, поест варенье...

СТРАНСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОДИМА СТАРШЕГО



О Скалдине и его романе

Неудивительно ли, что один из самых острых и ярких романов, написанных в двадцатом веке, более семидесяти лет остается практически непрочитанным, а его автор предан забвению? Именно такая судьба постигла книгу Алексея Скалдина — необыкновенную уже потому, что она представляет собою завершение и эпилог всей русской дореволюционной прозы. Этот роман увлекателен, таинствен, мистичен, независим от привычных литературных традиций, глубок, артистичен, философичен, и, сверх всего, это последний шаг прозы серебряного века, последняя его вершина. Но никогда не переиздававшаяся, эта книга на протяжении лет оставалась известной лишь малой горстке в основном молчаливых ценителей.

Все-таки следует уточнить хронологию, особенно когда речь идет о чем-то самом первом или самом последнем. К тому же роман Алексея Дмитриевича Скалдина содержит предсказание о «надвигающихся событиях». Не были ли они предсказаны постфактум? У нас есть две отправные точки. Во-первых, «Книжная летопись», которая зарегистрировала поступление «Странствий и приключений Никодима Старшего» в Книжную палату между 6 и 13 ноября 1917 года. Во-вторых, дарственная надпись автора на экземпляре, который он подарил великому поэту: «Дорогому Александру Александровичу Блоку. А. Скалдин». Рукою Скалдина поставлена дата: 20.10.17. А в конце книги — тем же почерком: «Адрес автора: Гороховая, 3». Адрес, надо сказать, примечательный — как раз напротив дома, в который по выходу книги в свет начала вселяться только что созданная чека. Словом, роман о бесах писался у окна с видом на будущий бестиарий. Роман был закончен в 1917 году. Буквально за несколько дней до Октябрьского переворота он был отпечатан скромным тиражом (3000 экз.), и, видимо, экземпляр тут же подарен Блоку, к которому Скалдин относился с истинным пиететом.

Об авторе «Странствий и приключений Никодима Старшего» известно на удивление мало. Родился он на Волге, предположительно в Тверской губернии в семье крестьянина в 1885 году. Пятнадцатилетним подростком попал в Петербург. Устроился рассыльным в крупной коммерческой фирме. Заинтересовался языками, научился читать по-французски, немецки, итальянски, изучал древнегреческий и читал в подлиннике классиков, в особенности же Эсхила. Одно время занимался в университете, но неизвестно, когда именно и закончил ли курс обучения. Около 1910 года он стал директором той фирмы, в которой начинал мальчиком на побегушках.

К тому же времени относится сближение Скалдина с петербургскими литературными кругами. В начале 1910 года он уже постоянный посетитель «башни» Вяч. Иванова. Гостивший здесь в течение нескольких недель А. Бельй писал в своих мемуарах: «Из частых на башне запомнились Е. Аничков, Бородаевский, Н. Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Юрий Верховский, Пяст...»

Имя Анны Рудольфовны Минцловой в этом списке обращает на себя особое внимание. Говорили, что она — антропософка, последовательница Штейнера. Сама же она утверждала, что не может быть последовательницей, ибо равна Штейнеру. Как и Минцлова, вскоре ставшая духовной на-

ставницей Вяч. Иванова, Скалдин был мистик, и этого нельзя не иметь в виду, читая «Странствия и приключения Никодима Старшего». Десятые годы ознаменовались мощной волной мистицизма в России, и литература серебряного века оказалась в известной степени причастной к подъему этой волны, ее размаху и энергии. «Поэзия символистов», — писал редактор «Аполлона» С. Маковский, — искала выход в мистике посвященного знания. Она тяготела к своего рода жречеству, не литературному только, а действительно. Поэты зачисляли себя в ряды — кто масонов, кто иштейнеровцев, кто мартинистов. Вячеслав Иванов, несомненно, принадлежал к тайному обществу...» К эзотерической группе принадлежал и Скалдин, хотя данные, которыми мы располагаем, не позволяют с несомненностью сказать, к какой именно.

Скалдина связывала с Вяч. Ивановым («наиболее культурным человеком в России», по словам Бердяева) многолетняя дружба. Благодаря Иванову Скалдин сразу же вошел как «свой» в избранные литературные круги и свел знакомство со многими посетителями «башни» на Таврической улице, сближаясь, однако, по большей части с теми, кто был от природы расположен к поиску посвященного знания. На А. Белого он произвел неизгладимое впечатление.

Через два года Белый писал Блоку о необходимости сближения «немногих» москвичей и петербуржцев. «Этими немногими считаю тебя, Вячеслава, Пяста, Скалдина». И затем он добавил еще три имени с оговоркой: «Может быть, Недоброво, может быть, Соннербергера, Анчикова». Описывая свою жизнь на «башне», А. Белый вспоминал в «Начале века», что к нему постоянно «забегали» Пяст, Княжнин, Скалдин.

К тому же периоду относится и знакомство с Блоком. Скалдин собирался прочитать в Религиозно-философском обществе реферат под названием «Идея нации». Совет общества забраковал доклад «как реакционный». Блок же был удивлен глубиной мысли в этой рукописи Скалдина и дважды прочел доклад. Идеи Скалдина он назвал открытием. И в этом для него состояло принципиальное различие двух родов мысли. В одном случае творческий человек, размышляя, создает нечто — пусть новое, но оно является лишь созданием ума. Во втором случае человеческий разум открывает то, что есть. Блок придавал значение этому различию между тем, что «открыто», и тем, что «создано». Вскоре Блок писал матери: «На днях у нас очень долго просидел Скалдин — совершенно новый и очень интересный человек».

Тем не менее Скалдин не стал близким другом Блока, какими были на протяжении времени Пяст или Городецкий, Евгений Иванов или Зоргенфрей. Как и многие современники, Скалдин переоценивал мистические интересы Блока, хотя сам Блок в своих письмах, а возможно, и в разговорах со Скалдиным, давал ему понять, что они живут в смежных, но все-таки отделенных реальностях. С большим опозданием посылая ответ на одно из писем Скалдина, Блок признается: «Не отвечаю я Вам потому, что нахожусь совсем в другом круге идей и переживаний, чем те, о которых говорит Ваше письмо, для меня дорогое».

Впрочем, встречи, хоть и несчастные, продолжались, и Блок имел возможность наблюдать рост этой незаурядной личности. О многом может нам сказать, например, лаконичная запись от 15 ноября 1912 года в дневнике Блока: «Скалдин (полтора года не виделась) совершенно переменялся. Теперь это — зрелый человек, кующий жизнь. Будет крупная фигура». Такое же впечатление он оставлял и в других людях, с которыми готов был держаться более открыто. Знавший его на протяжении семи лет Г. Иванов вспоминал о нем: «Человек он был расчетливый, трудолюбивый, положительный. Если Россия действительно когда-нибудь будет крестьянской республикой, такие, должны быть, будут в ней министры и по внешности, и по складу ума... Эхила в подлиннике — Эсхилом, но это так, посторонне, форма. Главное же — «свое», с Волги, где ребята куниц топором рубят и спасаются в скитах и продают (вот те крест!) тухлую рыбу с барышом. Все это было собрано в С., как в фокусе, хотя держался он европейцем, порой даже утрируя».

Знакомство Скалдина и Г. Иванова состоялось в марте или начале апреля 1911 года. Встретились они в редакции литературного журнала «Гаудеамус», в котором оба печатали свои стихи. Журнал выходил под редакцией Владимира Нарбута, будущего акмеиста, друга Н. Гумилева. Среди

поэтов, печатавшихся в «Гаудеамусе», была и Ахматова. Скалдина как поэта высоко ценили в «Гаудеамусе». «Его стихи», — писал Г. Иванов, — все хвалили, о нем самом никто толком ничего не знал, в редакции С. показывался очень редко и мельком».

Скалдин фактически жил в трех отделенных друг от друга мирах: в деловом, литературном, эзотерическом. Два последних все же соприкасались на «башне», где Скалдин продолжал бывать. В остальном же это были хорошо отгороженные друг от друга три круга общения. С Г. Ивановым его связывали чисто литературные интересы. Когда Г. Иванов уезжал на лето из Петербурга, связь поддерживалась перепиской. Письма хранятся в ЦГАЛИ. Куцый отрывок одного из них вошел в «Литературное наследство». По нему можно судить о характере этой корреспонденции — откровенной, но вполне сосредоточенной на литературе.

Несмотря на разницу в возрасте, влияние было взаимным. Г. Иванов свел Скалдина с эгофутуристами... В это время Г. Иванов переживал пору увлечения стихами Игоря Северянина и сам состоял в кружке эгофутуристов. Скалдин же печатался в самых разных изданиях, видимо, пренебрегая всевозможными групповыми ограничениями и перегородками. Его стихи появлялись под одной обложкой вместе со стихами символистов, эгофутуристов и акмеистов. Он печатался в «Аполлоне», «Сатириконе», «Орлах над пропастью», «Альманахе муз»...

Даже и теперь, читая его (с трудом находимый и прекрасно изданный) сборник стихотворений, мы видим, что несколько из них достойны того, чтобы остаться в антологии русского серебряного века. Его учитель в поэзии, Вячеслав Иванов, писал в одном из своих стихотворений: «Открыта в песнях жизнь моя». Открыта ли она в стихах Скалдина? Лишь в очень малой степени. Для русского сознания стихи поэта и его судьба нераздельны. «Жизнь сочинителя», — писал Герцен, — есть драгоценный комментарий к его сочинениям». Отнюдь не так у Скалдина-поэта и именно так у Скалдина-прозаика. Зная хотя бы отчасти биографию Скалдина, мы гораздо глубже можем прочесть его роман. Но, читая стихи Скалдина и желая найти при этом «драгоценный комментарий» к его личности, мы остаемся неудовлетворенными. Все-таки это стихи прозаика, наделенного вкусом, знакомого с образцами мировой поэзии, избирательного в приемах — но стихи прозаика...

Сборник стихов Скалдина не принес ему известности. Гумилев, к критическим выступлениям которого уже прислушивались и союзники, и противники, написал очень негативную рецензию. Втайне она была направлена против эстетике Вяч. Иванова, но внешне и явно и, надо сказать, справедливо, обрушена была на Скалдина. Что же касается Вячеслава Иванова, знавшего Скалдина дольше и лучше, то он ни в какой мере не утратил веры в него как в талантливого человека. Он писал Брюсову: «Посылаю... изданную «Орами» книжку Скалдина; надеюсь, что ты согласишься со мной, что он даровит и делен; если же так, при случае литературно ему помоги».

Это письмо датировано 1913 годом, когда Скалдин стал сотрудником журнала символистов «Труды и дни». Журнал был задуман как издание для немногих. Цель его, по словам А. Белого, состояла в том, чтобы сблизить лучших мыслителей Москвы и Петербурга. Именно благодаря этому частному характеру издания журнал сумел сохранить исключительно высокий уровень теоретической мысли, не пытаясь популяризировать или идти на компромиссы с широкой публикой. Один из главных сотрудников этого журнала, Вячеслав Иванов, любил повторять слова Генриха Гейне: «Мы издеваемся над тем, чего не понимаем». Символизм же по своей природе сродни посвященному знанию. Это убеждение разделял и Скалдин.

О его литературных связях в годы перед революцией известно нам немного. Отчасти причина тому — его образ жизни. В литературных кругах он появлялся лишь sporadически: появлялся и пропадал надолго. В какой-то, видимо, слабой степени он был связан с Академией стиха, но несколько чаще его видели на собраниях другого петербургского литературного кружка, так называемого «Общества поэтов», в обиходе именуемого «Физой».

О составе кружка некоторое понятие дают воспоминания Пяста: «Ряд новых или временно отошедших от «поэтической работы» имен выступали в собраниях Общества поэтов: тут бывал и проводивший в ту пору некоторое

время в Петербурге... Борис Садовской; тут стал чаще появляться А. Д. Скалдин; тут неизменно присутствовал В. Н. Княжнин; всегда бывала Ахматова... Понятно, Георгий Иванов, Георгий Адамович, М. Зенкевич, затем кружок близко стоявших к В. Недоброву поэтов...

Некоторое понятие о литературных связях Скалдина в эти предреволюционные годы дают нам сведения о его участии в литературных сборниках «Война в русской поэзии» и «Альманах муз», вышедший в 1916 году в издательстве «Фелана», в котором через год опубликован был роман «Странствия и приключения Никодима Старшего» (впрочем, на титульном листе издательство не указано — о нем мы можем узнать из «Книжной летописи» за 1917 год). Первый из названных альманахов был пригласителем к печати Анастасией Чеботаревской, женой Ф. Сологуба, на квартире которого по четвергам собирался литературный Петербург. Скалдин бывал у Сологуба, знакомство длилось много лет. Встретились они и после революции. Следует, между прочим, отметить некоторый параллелизм романа Сологуба «Мелкий бес» и романа Скалдина, который, перефразируя, можно было бы назвать «Крупный бес»...

Во время Октябрьского переворота Скалдин жил в Петрограде. Во всяком случае, об этом свидетельствует Г. Иванов в своих кратких и очень красочных воспоминаниях о Скалдине. В октябре Скалдин подарил свой роман Блоку, указав, что дарственная надпись на книге была сделана им именно в Петрограде. Г. Иванов встретил его в 1918 году. Это была их последняя встреча. «Я шел по Карповке вечером. Было темно и пусто. Навстречу мне попался человек. Шел он как-то покачиваясь. Шляпа его была на затылке. Поравнявшись, я узнал С. Я ему очень обрадовался, он, кажется, тоже.

— Где ты пропала? — спросил я.

— Все время здесь в Петербурге.

— Что ж тебя нигде не было видно? — спросил я.

Он покачал головой неопределенно.

— Так... где ж теперь видиться... Зайдем ко мне...

Дом был очень роскошный, но швейцара не было, лифт не действовал, электричество не горело. Мы поднялись на третий этаж. С., не раздеваясь, вел меня через какие-то неосвещенные комнаты. Иногда он чиркал спичкой, видны были зеркала, огромные вазы, картины, стекляшки старинных люстр. Квартира была, по-видимому, очень большой и пышно обставленной. Холод стоял нестерпимый. Наконец — резкая перемена температуры — камин, полный пылающих поленьев. С. зажег свечи в большом канделябре. Я сразу узнал его — это был тот самый канделябр...

— Узнаешь? — спросил С. с улыбкой, точно угадав мои мысли. Он снял свое потертое пальто. В пиджаке он имел прежний вид, разве немного похудел. — Хочешь чаю? или вина — у меня есть.

— Почему ты спросил «узнаешь»?

— Так ведь ты узнал канделябр. Зачем ломаться?

— Узнал. И раз ты сам об этом заговорил, может быть, ты теперь мне расскажешь, что все это значило?

— Ну, что там рассказывать. — С. помолчал. — Показать тебе, если хочешь, могу кое-что. А рассказывать нечего. Да ты и не поймешь все равно.

Мы выпили подогретого «Нюи». Разговор наш как-то не выходил. Поговорили о большевиках, о том, что нет хлеба, о стихах — обо всем одинаково вяло.

— Что же ты хочешь мне показать? — спросил я.

— А... ты об этом? Стоит ли? Во-первых — чепуха, я убедился. Да и ты мальчик нервный, еще испугаешься.

— Что за страхи? Ты меня мистифицируешь! Показывай, раз обещал.

— Ну, изволь. Только уговор — объяснений не требовать.

С. достал из ящика бюро простую глиняную миску. Потом вышел, вернулся с кувшином воды и налил миску до краев. Потушил все свечи. Камин ярко горел.

— Ну. — С. взял меня крепко за локоть. — Гляди.

— Куда?

— В воду гляди...

Я с недоверием стал глядеть в воду. Вода как вода. Он меня морочит. Я хотел это сказать, но вдруг мне показалось, что на дне миски мелькнуло что-то вроде золотой рыбки. С. крепче сжал мой локоть.

— Гляди!

Вот в воде снова что-то мелькнуло, потом, как на матовом стекле фотографического аппарата, обрисовались какие-то очертания, сначала неясно, потом отчетли-

вей... Я вздрогнул. Это столовая С. в его старой квартире. Стол накрыт, как в тот вечер, — золотая посуда, цветы, канделябр с оплывшими свечами. И я стою в дверях, подхожу к столу, осматриваюсь, трюгаю крышку блюда...

...Резкий свет и все пропало. Это электрическая станция на радость (и на беспокойство — вдруг обыск) советским гражданам включила ток. Огромная люстра на потолке засияла всеми свечами.

— Тсс... — остановил меня С. — Помни уговор. Потерпи. Другой раз я покажу тебе что-нибудь поинтереснее.

Но не только «что-нибудь поинтереснее», но и самого С. мне увидеть не удалось. Через два дня я получил от него записку: «Не приходи ко мне, у меня на квартире засада, из Петербурга приходится удирать».

В двадцатые годы Скалдин жил в Царском Селе, переименованном в Детское. Дошло до нашего времени несколько свидетельств о том, что он посещал «последний царско-сельский салон», который был явным анахронизмом, островком культуры и духовности в море жестокости, безразличия и угнетенности. Собирались у Валентина Кривича, поэта, мемуариста, сына И. Анненского. «В Анненском-Кривиче прочно связались в единое целое хорошие литературные традиции, сокрушительное остроумие, «вечера Случевского» и ранний «Аполлон», — писал об этих вечерах один из регулярных посетителей. — Сохранил он сочность чувств и военную выправку, — опекун рукописных издателей, амфирион литературных чаепитий, кладезь анекдотов и рог сатирического изобилия, энтузиаст русского слова и верный блюститель «заветов милой старины».

На встречах бывали жившие в Царском Ф. Сологуб, Иванов-Разумник, Рождественский, Петров-Водкин, Алексей Толстой, Э. Голлербах». Но салон просуществовал недолго. В один прекрасный день явился агент чека, переписал фамилии всех посетителей и долго со скрытой угрозой допрашивал, зачем и для чего собираются. Салон закрылся. Продолжать было бы слишком большим риском».

Неизвестно, что в эти годы писал Скалдин, но печатал — для заработка — маленькие детские книжки. В 1929 году вышла 14-страничная для детей младшего возраста книжка «Чего было много», в 1930-м «За рулем», в 1931-м «Колдун и ученый». Были, кажется, и другие.

О дальнейшей его судьбе несколько строк находим в книге Иванова-Разумника «Тюрьмы и ссылки»: «Арестованный за народнические симпатии (отец был крестьянин) и за знакомство со мной, Скалдин тщетно доказывал следствию, что никаких симпатий к народничеству не питает, хотя и живет в Детском Селе, в двух шагах от «главного идеолога народничества», но не был у него полтора или два года... Скалдин отправился на пять лет в ссылку в Алма-Ату». В другом месте в той же книге приводится и дата ареста: январь 1933 года. О последнем десятилетии его жизни совсем ничего не известно.

Когда переиздаваемый нами роман приобретет подобающую ему известность и признание — а это непременно случится, — о Скалдине разыщут много новых фактов. Тем более что есть где искать — например, в архивах Г. Иванова и В. Кривича. А пока приходится удовлетвориться этой, весьма краткой, однако самой первой когда-либо написанной биографией выдающегося писателя.

Недавно автору настоящего предисловия довелось испытать приятное чувство, какое мы испытываем, найдя сотоварища или союзника по убеждениям. Эмигрантский писатель Борис Фальков, один из немногих читавших роман Скалдина, сказал о нем в интервью журналу «Стрелец»: «Уверен, что книга эта отмечена гениальностью». Интервью заслуживает того, чтобы процитировать его полнее: «...или вот замечательный писатель Скалдин. Последний, к сожалению, ничего не говорит подавляющему большинству читателей. Собственно, мне тоже лишь повезло: я его узнал благодаря чистой случайности. Его книжку я обнаружил в библиотеке племянницы Аскольдова... Ей уже около ста лет. Скалдин принадлежал к кругу петербургских философов, частенько заходил в дом Аскольдова. И он, и Флоренский, кажется, отзывались о Скалдине с большим пиететом. Аскольдов однажды выразился про Скалдина: большая голова. Мое мнение: из романа, попавшегося мне, следует то же... По-моему, его следует переиздать».

«Стрелец»: А где и когда он был опубликован?

Фальков: В Петрограде, в феврале (???), кажется, 1917 года. Уверен, что книга эта отмечена гениальностью. Там много сделано впервые. Например, абсурдистские принципы,

вошедшие в обиход в Европе куда позже. Затем перенесение в прозу драматических методов, в частности отсутствие мотиваций... Психология и поступки его типажей абсолютно лишены архаики девятнадцатого столетия... Скалдин был действительно голова, и я пытался многому у него научиться».

Отсутствие мотиваций, о которой говорится в цитате, — кажущееся. Роман многослойный, и многое зависит от того, на каком уровне мы его читаем. Для всеобъемлющего чтения нужен ключ. Но книга построена так, чтобы читатель сам дал название этому ключу: «Как бы назвать этот ключ? — подумал Никодим, но не подыскал названия, хотя оно и вертелось у него на языке».

Тема романа — превращение человека в беса. Каждая следующая глава соответствует определенной стадии мистериш. Главный герой живет в мире многократно отраженных двойников. «Никодим Старший» с захватывающим интересом может быть прочитан и без проникновения в разветвленную символику этой книги. При таком чтении, конечно, будет утрачен ряд подробностей, но занимательность сюжета, необычность характеров, выуклость изображения — все это остается с нами. А сверх того — ладный, добротный, искусный русский язык, на каком уже давно никто не пишет.

Если же мы хотим понять символизм ситуаций и подробностей (ведь здесь даже имена символичны), нам нужно проникнуть во второй план этого повествования, ибо оно ведется на двух планах: бытовом и мистическом. Творческий метод автора — мистический реализм, отчасти родственный русским символистам. Многие символисты лишь догадывались о том, что Скалдин знал. На втором плане мотивировка персонажей — натурфилософская и мифологическая, а не психологическая и социальная, как это бывает обычно. В основе приключений лежит мысль Никодима, что убить человека, в сущности, легко. Мысль кажется ему безобидной тем более, что сам он человек незлобивый, немстительный и воспитанный. Но эта мысль является семенем, из которого развивается характер, а характер и наследственность Никодима, как магнит, привлекают к нему особенную судьбу. Мысль Скалдина заключается в том, что человеку в конце концов дается то, что он поистине любит. Никодим полюбил исчадие темных сил, и путь к предмету любви становится равным судьбе.

Внимательный читатель отметит определенное сходство «Никодима Старшего» с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, памятуя, что Булгаков взялся за роман позднее и, наверное, будучи знакомым с произведением Скалдина. Но у Скалдина, в отличие от Булгакова, отсутствует типичная для русской литературы социальная критика. Зато другая типичная у нас — историософская тема — намечена очень тонкой прерывистой линией. Герой романа Скалдина добивается всего, к чему тайно или явно стремился. В достижении своей цели он обязан своей судьбе, но также и замыслам тех темных сил, которые боролись за него до конца, чтобы заполнить образовавшуюся в их рядах брешь. Только на последней странице мы узнаем, кто главный дьявол в этой дьяволиаде. И только на последней странице мы понимаем смысл предсказания о «надвигающихся событиях», при которых уже не только Никодим, но и целая страна станет иглащем бесовских сил. М. Булгаков в своем романе проникновенно интерпретировал уже случившееся в его стране. Скалдин же в одном из подтекстов своего романа показал сущность надвигающейся российской катастрофы.

Вадим КРЕЙД

Старый ипатьевский дом, где обычно весною и летом жила их семья, стоял среди лесов и полей на горе, на берегу широкого озера, часах в десяти езды по железной дороге от Петербурга. Густой запущенный лес укрывал дом и расположенные близ него службы; только к озеру светлело небольшое чистое пространство, да само озеро уходило широкой гладью, такою широкою, что другого берега его не было видно — как море.

Лес этот, древний и непроходимый, тянулся на большие пространства, но, подходя к озеру, прорезался пашнями и сенокосными полянами, становился все живописнее и живописнее и особенно был красив на крутых озерных берегах.

Имение устраивали деды понемногу, а дом усадебный был воздвигнут славным зодчим времен Александра Благословенного. Из прадедовских, впоследствии разломанных, хором перевезли в новый разную мебель, и доселе она заполняла комнаты, рядом с более поздними вещами, поставленными сменявшимися поколениями.

Дом состоял из двухэтажной башни с большими окнами в первом этаже и малыми во втором и двух крыльев с колоннами; крылья охватывали вершину холма с цветником — будто огромная птица села на крутизне берега и глядела неподвижно за озеро. По вечерам ее грудь и крылья загорались рубинами; в окнах отражалось пламя заката.

Весною, к которой относится начало моего повествования, в доме переменили старые полустгнившие рамы и не успели еще окрасить новые. Поэтому большая часть портьер и занавесей была снята, а свежее сосновое дерево распространило в комнатах сильный запах под горячими солнечными лучами, проникавшими в дом сквозь курчавые верхушки сосен и топившими по каплям смолу из рамы.

Мебель и украшения в доме воскрешали времена всех царей и цариц, начиная с Петра Великого и кончая Николаем Павловичем, в одной комнате радовала глаз и удивляла вдруг обивка чудесной материи, в рисунке которой забытые люди вложили очарование не нашего времени; в другой неизменно звучали куранты, из года в год, уже более столетия, торжественно и повелительно, навсегда подчинив дом своему порядку; в вестибюле два бронзовых гения перед широкой мраморной лестницей взмахнули некогда длинными крыльями, затрубили в узкие длиннорылые трубы и, затрубив, так и застыли на восьмиугольных каменных постамах...

Тяжелые занавеси синего бархата висели на окнах столовой — того синего цвета, который так близок к цвету неба в ясный и жаркий полдень; из-под них выступали на половине окна другие легкие занавески пенными волнами белого шелка.

В обширном зале издавна, по обычаю рода, плотный шелк наглухо закрывал окна и днем и ночью, чтобы солнце туда не проникало. Днем там горела одинокая лампа в углу и выступали в полутьме черные и лиловые полосы убранства зала — на мебели, на портьерах и на стенах; вечером, иногда, загорались многочисленные свечи в огромных люстрах из черной и светлой бронзы; эти необыкновенные люстры были гордостью рода: бронзовые чеканные кони обносили кругом их тяжкие колесницы, факелоносцы из колесниц пригибали долу факелы, и бронзовый дым из них клубился и стлался в причудливых завитках; виноградные гроздья, перевязанные лентами, свисали из-под широких разрезных листьев; кудрявые головы резвых эллинских мальчиков чередовались с переплетающимися парами змей, а на них сверху взирали глаза Горгоны и струили свет звезды; зевесов же орел,

когтя нетерпеливыми лапами черный камень, венчал все, напряженный, как бы готовящийся улететь.

Вечером, при огнях, выступали в зале углы и выбегали оттуда тени и перебегали с места на место, будто стремясь от предмета к предмету...

В доме было много комнат: их трудно перечислить и невозможно описать все. Однако, нельзя забыть две комнаты Никодима: он жил во втором этаже башни; из вестибюля туда вели две легкие лестницы, а из комнат была дверь на крышу дома, куда Никодим выходил по вечерам часто и видел оттуда то, чего другие снизу видеть не могли.

Окна его кабинета были обращены к западу, на озеро, а окна спальни на восток. В кабинете возвышался ряд полок с книгами; серебристо-серая материя, с пылающими по ней меж венками из роз факелами, показывала из-под своих складок разноцветные корешки книг; за столом, перед окнами и в задних углах комнаты стояли четыре больших, в рост человека, подсвечника и в каждом из них было по семи свечей желтого воску.

В спальне кровать на львиных лапах прикрывалась царским пурпурным покрывалом, а на окнах висел только сквозной шитый тюль, чтобы утреннее солнце могло будить Никодима на восходе.

От цветника перед домом каменные обломанные ступени уводили на желтый прибрежный песок, и по весне кудрявые кусты черемухи сыпали свои белые цветы на каменный путь.

На башне с ранней весны до поздней осени развевался флаг из двух фиолетовых полос, заключавших между собою третью — белую. На зиму его свертывали и убирали: обыкновенно, и то и другое делал сам хозяин.

Герб же рода был такой: на серебряном поле французского щита пурпуровый столб, а на нем в верхней части остановившаяся золотая пятиконечная звезда, бросающая свой свет снопом к подножию столба, где три геральдические золотые лилии образуют треугольник; шлем с пятью решетинами, простая дворянская корона, с двумя черными крылами, выходящими из нее; намет акантовый, тоже пурпуровый, подложенный золотом, и девиз, гласящий: «Терпение и верность».

Из обитателей дома старшею была мать: отец не жил с семьей уже несколько лет. Между ним и матерью легло что-то очень тяжелое, но что именно — дети не знали. Изредка он писал детям, но скупое, немногословное, видимо, вполне довольный своим полумонастырским одиночеством.

Строгие сухие черты лица Евгении Александровны, ее черное шелковое платье, тихая речь, почти постоянное компанье платка в руках, гладко зачесанные волосы под широкополой шляпой, глаза, чаще всего глядящие в землю, узкая рука в старинных кольцах — все вместе создавало впечатление, что видишь очень родовитую барыню. Но внимательный взгляд открывал в ней что-то цыганское: действительно, бабушка Евгении Александровны родилась от цыганки и только на воспитание была принята дворянской семьей.

Никодим унаследовал от матери высокую стройную фигуру, тихую спокойную речь и узкую руку.

В лице у него цыганского не было: прозрачное, розовое, хотя и с черными глазами, оно напоминало скорее лицо англичанки.

Старшая в семье дочь — Евлалия — девушка лет двадцати трех, с большой темно-русой косой, сероглазая, пышнотелая очень походила на отца и обликом и движениями...

У нее были свои маленькие тайны. Если бы кто мог прочесть ее дневники — узнал, как ревниво относится она к этим тайнам.

Волнение было ей не к лицу, и лицо даже иногда

намеренно старалось выразить большое спокойствие: Евлалия носила особую прическу — будто венцом венчала ее лоб волнистые пряди темно-русых волос.

Вторая сестра, Алевтина, подросток, болезненная от рождения, черноволосая, казалась на первый взгляд будто подслеповатой, но была на редкость зорким человеком: то, мимо чего проходили десятки людей, не замечая, не могло ускользнуть от ее взгляда: постоянно находила она что-нибудь в траве, в кустах, в камнях, в прибрежном песке. Она любила зверей, букашек и постоянно нянчилась с ними.

Городской жизни она не переносила, но в лесу вдруг расцветала, без видимой радости, как простенький цветочек в поле, и жила ровно, спокойно, благодарная своей жизни.

Второй сын Евгении Александровны — Валентин, сильный, коренастый юноша лет двадцати, работал без усталости, вел простой образ жизни хорошего сельского хозяина: вставал с петухами и уходил в лес, на покос, на пашню, а иногда оставался там и на ночь, греясь около костерка, разведенного где-нибудь под сосной, на опавшей скользкой хвое, или под камнем на песчаном бугре. Постоянно носил он ружье за плечами, но не для охоты (хотя иногда он настреливал дичи), и собака Трубадур, обыкновенно, сопровождала его.

Любя уединение, Валентин вместе с тем был и мастером повеселиться, пел сильным голосом деревенские песни и старинные романсы, плясал с задором в кругу своих же рабочих, пил вместе с ними водку, после чего становился совсем мягким и приветливым.

Третий сын — тоже Никодим, мальчик лет десяти, выросший без старших детей отдельно, без игр, без дружбы, был изнежен, хрупок, бездеятелен и с трудом одолевал учение. С младенчества его считали нежизнеспособным, а Никодим-старший даже сказал о нем однажды, что он, в сущности, не сын Евгении Александровны, а племянник и лишь по ошибке родился от нее, а не от тетушки Александры Александровны и потому лишь его смогли назвать также Никодимом.

Никодим-старший сказал это в шутку, разумеется, но однако кличка «племянник» осталась за Никодимом-младшим навсегда.

ГЛАВА I

Французская новелла. — Подслушанные слова.

Евгения Александровна и Евлалия были уже в столовой, когда Никодим-старший вошел туда поутру. Мать в задумчивости побрякивала ложечкой в стакане, а Евлалия, склонившись над пальцами, быстро работала иглой. На сестре было легкое утреннее платье апельсинового цвета с широкими разрезными рукавами, спадавшими с рук; круглые ямочки, на сгибах полных обнаженных рук ее, привлекли внимание Никодима. Но, конечно, не о руках сестры думал он — они только напомнили ему другие, похожие руки и нежное имя: Ирина. Мысли его вдруг приняли довольно шаловливый оттенок, Ирина предстала перед ним еще яснее, но, поймав себя на своей шаловливости, он решительно застыдился, густо покраснел и отвернулся от сестры.

— А знаешь, мам, — вдруг прервала общее молчание Евлалия, — я сегодня во сне видела двух негров: они проехали мимо нашего дома в автомобиле и раскланялись с нами.

Евгения Александровна улыбнулся и переспросила: «Негров?»

В столовую с шумом вбежали Алевтина и младший Никодим, и сон остался неразгаданным. Однако, Никодим не забыл о сне и решил напомнить о нем

Евлалии, когда все разойдутся. Но Евлалия вышла из столовой, против своего обыкновения, первая. Никодим тотчас же направился за нею следом. Он нашел сестру уже в ее комнате, сидящую на диване у столика, в напряженной задумчивости. На столике в высокой и узкой вазе зеленого стекла стояла раскидистая ветка цветущей черемухи. Белые гроздья цветов повисали и сыпались белые лепестки на полированную зеркальность стола, отражавшую стеклянный блеск вазы, и на диван, и на пол, и на темные волосы Евлалии, и на ее яркое платье. Растение разветвлялось натрое и все три ветви, разной длины, изгибались причудливо, глядя ввысь и поднимая пышные гроздья — будто три руки простерлись разбросать цветы, но медлили, а цвет не ждал и сыпался сам от избытка... Горький запах растения чувствовался в комнате остро и щекотал горло.

Евлалия сразу поняла, зачем пришел Никодим, и поведя медленно взглядом, сказала:

— Как я тебя знаю! Как я хорошо тебя знаю! Но успокойся: рассказывать нечего — подробностей я не помню почти никаких. С неграми в автомобиле была еще дама в черном и только. И дама и негры появились из французской новеллы. Вот!

Она протянула ему раскрытую книжку французского журнала.

— Я прочитала ее на ночь. Смотри.

Он взял книгу и пробежал новеллу глазами.

В ней рассказывалась история любовного похищения дамы — романтической Адриен, носившей черные платья и волновавшей всех окружающих своей загадочностью. Как и все в новелле — похищение было обставлено необыкновенными действиями: Адриен перед полуночью дремала у себя на террасе в широком спокойном кресле, закутавшись теплою шалью, а два негра, одетые по-европейски, подъехали к цветнику в автомобиле и бесшумно проскользнули ко входу; один из них появился на террасе, другой остался снаружи.

— Madam, — сказал негр негромко, — извольте следовать за мною.

После того между ними тянулся длинный разговор: она противилась и говорила, что не поедет; приехавший был невозмутим и настаивал на своем. Наконец, ожидавшему у входа показалось, что разговор слишком затягивается; ухватившись за парапет террасы цепкими крючковатыми пальцами, он приподнялся на руках настолько, чтобы заглянуть на террасу, причем глаза его сверкнули белками — все это автор старался подчеркнуть — и сказал негромко, но решительно: «Если сопротивляется — возьмите силой». Первый подхватил женщину на руки и быстро вынес ее, уже потерявшую сознание от испуга. Приезжавших никто не заметил: они исчезли со своей добычей осторожно, как кошки.

Пока Никодим читал, Евлалия старалась что-то вспомнить. «Я в своей жизни видела однажды двух негров сразу, — сказала она, когда он кончил чтение. — Мне почему-то кажется, что это было в Духов день... да... мы жили, помнишь, в городе, над озером, и мне было лет десять. Я не знаю, что случилось со мною тогда — будто праздник какой для меня, я надела светлое платье, новые чулки и туфли, которые мне так нравились, и пошла, совсем не зная куда и зачем. Просто пошла, как гулять: сначала по городу, потом мимо дач и к лесу. Мне было очень весело, я подпрыгивала на ходу, я пела и хотела танцевать. И вдруг вспомнила, что уже поздний час и я опоздала к обеду, что мама будет искать меня и беспокоиться, а я зашла очень далеко. И повернулась, чтобы бежать домой... И вижу, что на углу у забора стоят два негра и смотрят на меня. Я страшно перепугалась и просто ног под собой не чувствовала, пока бежала обратно».

— Ну что же такое... негры, — укоризненно заметил Никодим.

— Да, конечно, это было глупо. Но я не люблю негров, — заметила Евлалия.

Никодим постоял еще немного в раздумье и нерешительности и, сказав: «Я пойду», — вышел. Но в голове у него осталось воспоминание о романтической «даме в черном», а новелла ему показалась глупой и неприятной. Именем «черной дамы» он привык называть для себя свою мать, иногда в шутку, но чаще вполне серьезно, вкладывая в это горький, одному ему понятный смысл.

Боковой дверью коридора Никодим вышел из дому и пошел по направлению к огороду, совершенно занятый своими мыслями. Между гряд он почти наткнулся на свою мать, но Евгения Александровна не заметила сына. Наклонившись над грядкой, она выщипывала редкую весеннюю травку и шептала что-то быстро и страстно. Никодим, как вор, подавшись всем корпусом вперед и стараясь не шуметь, прислушался.

Она говорила: «Я понимаю, что мне нужно уйти... я понимаю... Я уйду... Все равно я уже ушла...»

Никодим отшатнулся в испуге и изумлении и неслышно за кустами орешника, через калитку, вышел из огорода в поле.

Он совершенно не знал, что думать о словах матери и как понимать их.

ГЛАВА II

Беспокойство Трубадура. — Тени над полями.

Трубадур — любимая собака Валентина, был ирландским сеттером хорошей крови. О замысловатых проделках его существовало в семье много рассказов. И вот этот проникательнейший и умнейший пес все утро перед кофе, затем во время разговоров между Евгенией Александровной, Евлалией и Никодимом и после, когда Никодим уже вышел из огорода и, пораженный до крайности словами матери, пробирался лесом, — проявлял сильное и все возрастающее беспокойство.

Беспокоился он не из-за разговоров. Трубадур сам не понимал, в чем дело, но его нос ощутил вблизи дома необыкновенные запахи; они были то еле заметны, то вдруг усиливались чрезвычайно. Наконец, собака не выдержала и завyla от тоски и неопределенности. Конюх, стоявший в воротах, прикрикнул на нее, но Трубадур только укоризненно взглянул — он вообще презирал этого человека — и, проскочив мимо него, выбежал за ворота. Постояв несколько мгновений среди проезжей дороги, он молча повел носом сначала вправо, потом влево и затем резвой рысцой побежал напрямик от дома к засеянным полям.

Крутую тропинкой взобрался он на ближайший бугор.

Светло-зеленая нежная озимь чуть-чуть волновалась от ветра. Тропинка ложилась по краю бугра, мимо ржи.

По ней бежал Трубадур, к молодому липняку, что поднимался густой нестройной купой рядом с тропинкой, там, где она поворачивала влево.

Здесь, между двух засеянных полей, пересекая бугор, оставалась неширокая полоса, когда-то паханной, но потом заброшенной земли. И кто-то совсем недавно прошел по ней плугом, взрезав дерн, развернувшийся свежими сочными пластами. Сначала, едва касаясь земли лезвием плуга, рука повела его наверх, по направлению к круглому камню, возвышавшемуся в конце полосы; чем дальше шел плуг, тем шире становился поднимаемый пласт, но у середины пути

рука высвободила лезвие — оно едва прочертило землю на расстоянии нескольких сажен — и, не доходя до камня, плуг круто повернули обратно. Новый пласт, такой же, как и первый, сначала узкий и торчащий на ребре, потом уширивающийся и вновь суживающийся, протянулся книзу; выйдя на тропинку, пахарь еще раз повернул и, поднявшись опять к камню, откинул третий пласт в сторону от первых двух и, обогнув круглый камень, позади которого росли цепкие колючие кусты шиповника, спустился по тропинке уже другою стороною.

На эти борозды и свернул Трубадур, пробежал вдоль их, все время фыркая и вскидывая тонкими ушами, остановился у камня, поднял нос кверху и опять взвыл. Видимо, след пропадал, будто уходил в воздух. Недовольный, медленным шагом направился Трубадур домой.

Никодим вскоре вернулся из лесу и, пообедав торопливо, опять ушел. Когда он возвращался вторично, вечером, Трубадур лежал подле курятника, вытянув передние лапы и положив на них голову. Потягиваясь, собака поднялась навстречу хозяину и ленивым шагом подошла к Никодиму; тот ласково погладил ее, но она не выказала радости. Никодим пошел к себе, наверх — Трубадур за ним. Когда они поднимались по винтовой лестнице и в уровень с лицом Никодима оказался незадернутый занавесью верх башенного окна, Никодим увидел озеро, солнце, близкое к горизонту, гладкий песчаный берег, а на берегу высокого человека в рейтузах, охотничьей куртке и шляпе с пером. Человек тот, заложив руки в карманы куртки и держа голову вперед, видимо, что-то наблюдая, большими шагами преодолевал пространство. Никодиму случайный гость показался и занимательным и будто знакомым; тогда он поспешил к себе в кабинет, чтобы посмотреть, куда пойдет незнакомец и что он будет делать; Трубадур, потягивая, тоже прибавил шагу. Но когда Никодим, отодвинув занавеску, распахнул окно — незнакомца на берегу уже не было. Это скорое исчезновение показалось Никодиму странным (на берегу не виднелось кустов или камней, за которыми мог бы укрыться прохожий), он постоял в нерешительности, потом прошел через кабинет и вместе с Трубадуром вышел на крышу дома. С крыши далеко и многое было видно: между бугром, по которому днем бегал Трубадур, и другими, далекими, тоже распаханными буграми, темнели лощины, заросшие густым сосновым лесом, но сверху, с крыши дома, стоявшего на холме, то был не лес, а казалось, что темно-зеленые с синью клубящиеся облака — тучи выходили из расщелин земли — только кудрявые верхушки — и синеватый, едва заметный, дымок струился от них на поля и к озеру. Солнце красными лучами сияло на зелени, и где дымок пронизывался лучом — он становился багровым.

Никодим долго и сосредоточенно глядел на эти синеватые тучи: глазу становилось спокойно от них и радостно. Потом взор его медленно перешел от лощины к бугру, от леса к засеянному полю и уловил на нем медленно проходящие полосы, слева направо, — неясные тени. Вглядываясь, он заметил, что тени эти доходили сначала только до той полосы, которая оставалась среди бугра нераспаханной, вернее, до тех борозд, что прорезал на ней плуг. Здесь тени надламывались у круглого камня, обросшего шиповником, верхняя часть их исчезала, будто уходя ввысь, и вся тень как бы пропадала в земле, тонула в ней. Через четверть минуты, однако, она возникала вновь, и откатываясь, уходила за склон. И новые тени возникали слева, в строгой последовательности: одна, другая, третья... одна, другая, третья... и снова — на зелени поля будто проходящие ряды волн.

Трубадур вытянулся в струнку и, стоя на самом

краю крыши, напряженно смотрел туда же.

Вдруг Никодиму припомнилось, что подобные тени он уже видел. Только не здесь, а в маленьком городке, где они жилали иногда по зимам и о котором сегодня вспоминала Евлалия: пожалуй, когда ему было лет семь-восемь. Выздоровливая после долгой болезни, лежал он днем в своей постели, а рядом в комнате, где стояла рождественская елка, разговаривали отец с матерью: слова еле доносились и разобрать их было нельзя. Возле Никодима сидела Евлалия и разбирала игрушки; он же глядел в потолок иссиня-белый — от дневного ли зимнего неба или от снега, запорошившего в ночь торговую площадь перед домом. А по потолку проходили непонятные тени, полосами — одна, другая, третья. Через минуту снова. Он сначала подумал: что это за тени? Откуда? А потом, смеясь, стал называть их человеческими именами и сказал Евлалии: «посмотри». Она тоже вскинула глаза к потолку и как-то по догадке соглашаясь с Никодимом, заявила «это люди». После еще не раз они с Евлалией смотрели на эти дневные тени, играя в ту же игру, то есть превращая их в людей...

«Ну, что, Трубадур, — вопросительно обратился к нему Никодим, — не пора ли тебе отправляться спать?» Собака вильнула хвостом. «Ну иди, иди». Трубадур подошел к двери и остановился, дожидаясь, чтобы ему отворили ее. Никодим отворил дверь, вошел вслед за собакой в кабинет и усмехнулся, глядя, с какой неохотой Трубадур стал спускаться по лестнице, виляя задом.

Когда же Никодим вторично вышел на крышу и взглянул опять на поле — он не увидел там теней. Солнце уже подошло тогда вплотную к дневной черте и своим горячим краем задевало воду, а вода, тихая и прозрачная, загоралась от горизонта.

Из низин выползали заволакивающие туманы. И в деревенском покое, в отдаленье, погромыхивала крестьянская тележка.

ГЛАВА III

О двух афонских монахах и о трех тысячах чудовищ.

Никодим почти не спал по ночам. Сон являлся к нему под утро, а до утра Никодим или работал, или ходил из комнаты в комнату, от окна к окну и научился быть тише мышей. Никого не беспокоя, возникал он в комнатах тенью и, как тень, исчезал.

Но в эту ночь, вернувшись к себе через полчаса после захода солнца, он, против обыкновения, лег рано и спал до утра крепко и спокойно. Проснулся же, услышав чужие шаги на лестнице к себе, наверх. Еще не придя в себя после прерванного сна, он увидел, что кто-то пытается отворить дверь в спальню. Она растворилась порывисто, и в комнату вошел монах, хлопнув створки за собой, но они сейчас же отскочили, как будто на пружине, и вслед за первым монахом в спальне появился второй. Первый был чернобородый, а второй очень светловолосый.

Что он знал обоих монахов и не раз встречал их где-то — Никодим припомнил сразу, но от неожиданности и после сна никак не мог дать себе отчета, когда и где их видел. Он хотел припомнить их имена, но тщетно.

В недоумении Никодим сел на кровати. Монахи же, войдя, сразу попали в полосу солнечного света, и Никодим мог разглядеть их хорошо. Чернобородый был силен, с крупным телом и резко очерченными линиями лица. Движения его были спокойны: он, видимо, знал свою силу и чувствовал ее. Второй — высокий, худой и даже костлявый, с клинообразной бородкой, редкой и раздерганной, с глазами бледными, совсем выцветшими, — был из числа тех, кого люди обыкновенно не замечают и кто даже при близком знакомстве

с ними плохо остается в памяти — лишь когда он стоит перед вами, можете составить себе понятие об его фигуре, цвете волос и глаз, о движениях.

Недоумение Никодима и молчание продолжались недолго: первый монах, осенив себя широким крестом и постукивая подкованными сапогами, подошел к Никодимовой кровати, откашлянул и заговорил тяжелым, но ласковым басом:

— Здравствуйте, Никодим Михайлович, — сказал он, — мы потому осмелились зайти к вам в неурочное время, что знали ваш обычай не спать по ночам. Вы на нас частенько из окошечка поглядывали.

Только тогда Никодим припомнил, какие это монахи и что они действительно не раз проходили по утрам перед домом.

— Как вас зовут, братья? — спросил Никодим вместо ответа.

— Меня зовут Арсением, — ответил черноробый, — а брата моего любезного Мисаилом. С Афона мы оба. Только изгнаны оттуда за правду, имени Христова ради. Блаженны есте, егда поносят вам...

Второй слабым голосом из-за спины первого отозвался: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. И не даждь мне вознести хулу на врага...»

— Так зачем же вы, братие, пожаловали? — спросил их Никодим.

— С просьбой к вам, Никодим Михайлович. Разрешите, когда понадобится, переночевать у вас в рабочей избе: она ведь все равно пустая стоит.

И с этими словами Арсений подошел к Никодимовой кровати и присел на краешек, не прося позволения, а Мисаил стал в изголовье.

Никодим почувствовал себя оттого очень неудобно: он знал их братское правило спать не раздеваясь, — сам же лежал без рубашки, только прикрывшись простыней. Поспешно натянул он простыню на себя и обернулся ею, отодвинувшись вместе с тем к стенке, подальше от монахов. Но тот, не обращая на все это ни малейшего внимания, положил Никодиму на грудь свою загорелую коричневую руку и продолжал говорить ласково и увещательно:

— Жалко мне, Никодим Михайлович, вас. Томитесь вы все по ночам и большой вам оттого душевный ущерб. Вы лучше молились бы. Спать-то, конечно, человеку немного надо. От распушенности душевной люди по десяти часов спят, но мучиться не спавши тоже нехорошо. Если уж не спишь, то молись.

— Будто маятник какой ходите, — добавил Мисаил голосом еще более слабым, чем в первый раз.

Но Никодим на их слова в глубине души обиделся и, покачав головою, возразил:

— Я знаю, что нужно. Но не хочется молиться. Все думаешь, думаешь без конца. И хочется только перестать думать.

— Умереть то есть? Да вы не обижайтесь, Никодим Михайлович, — попросил Арсений с кротостью.

— Нет, я не обижаюсь, — снова качая головою, ответил Никодим. — Избой же пользуйтесь, когда вам понадобится, и делайте в ней, что хотите.

Арсений помолчал с минуту, как бы раздумывая о чем-то, а потом сказав: «Спасибо. Вы спите спокойно и простите, что вас побеспокоили и сон ваш прервали», — направился к выходу. Мисаил пошел за ним следом, опустив глаза долу.

Сон вернулся к Никодиму мгновенно, и он даже не слышал, как монахи сошли вниз.

Проснулся Никодим поздно — было не менее одиннадцати часов утра. Первая мысль его была о монахах. Прямо с постели он подскочил к окну, чтобы посмотреть на рабочую избу. День стоял жаркий, ярко солнечный, двери и окна в избе были растворены настежь так, что всю ее можно было видеть насквозь, но монахов там, по-видимому, не было.

За день он еще раз вспомнил их, но потом забыл совсем...

Мимо дома с западной стороны пролежала проезжая дорога, а рядом с нею бежала тропинка, то приближаясь почти вплотную к дороге, то уходя за кусты и деревья в лес; она раздваивалась там и тут, чтобы обогнуть кусты малины и ольхи, и вновь сходилась где-нибудь под сосной, на опавших сосновых иглах. По ней ходили немного, и она, оставаясь незатоптанной, выглядела не человеческой, а звериной осторожной тропой...

В одиннадцать часов ночи того же дня, стоя у открытого окна своей спальни, Никодим на этой тропинке увидел несколько странных человеческих фигур. Было темно, и они мелькнули сперва теньями, но зрение его вдруг обострилось необычно, и он не только мог хорошо их рассмотреть, но и увидел, что из лесу за ними идут десятки и сотни во всем им подобных.

Он сразу назвал их чудовищами и мысленно определил их число. Сосчитать, разумеется, точно нельзя было, но определенно и настойчиво кто-то подсказывал ему, что их три тысячи.

Собственно, они не были чудовищами или уродами. Все члены их тела казались обыкновенными, человеческими и обращали на себя внимание только будто нарочно подчеркнутые грубость форм и неслитость их: и нос, и уши, и голова, и ноги, и руки словно не сросшены были, а сложены и склеены только; казалось, возьми нос или руку у одного из них и обмени с другим — никто этого не заметит и ничего оттого ни в одном не изменится.

Утром, на солнечном восходе, они прошли обратно. И тогда Никодим уже совсем хорошо рассмотрел их, и первое впечатление от появившихся у него осталось. Он только заметил еще, что у двоих, шедших впереди, были отметки на лицах, в виде черных пятен почти во всю правую щеку — и эти-то отметки действительно уродовали их до жути. Более всего, однако, они походили на фабричных рабочих.

Появление их было совершенно для него необъяснимо. Можно было, конечно, выйти к ним и спросить их, куда они идут, но из гордости Никодим не сделал этого, сказав себе: «Какое мне дело спрашивать? Пусть идут, куда хотят и зачем хотят».

И они стали проходить каждую ночь и каждое утро. Ночью шли, разговаривая шепотком, иногда чуть слышно подхихикивая, с неприятными ужимками; обратно — сосредоточенно, молчливо, не глядя друг на друга, и в этом молчаливом прохождении (потому ли, что солнце, обыкновенно, по утрам проглядывало сквозь деревья) было похожее на то, как после ночного дождя по утреннему лазурному небу ветер, не ощутимый внизу, угоняет вдаль отставшие обрывки туч.

Никодим всматривался и наблюдал за ними. Несколько раз с часами в руках пропускал он их мимо себя и всегда выходило на это около часу.

Однажды, спустя, пожалуй, три недели после ночного посещения монахов, утром Никодим увидел, что следом за чудовищами в отдалении не больше тридцати шагов появились те же два монаха. Он постучал им в окно, но они, делая знаки не шуметь, внимательно и осторожно прошли за чудовищами.

ГЛАВА IV

Головы монахов. — Тревожный день.

Но и на этот раз он забыл о монахах. Однако смутное чувство необходимости что-то припомнить осталось в душе Никодима. Целый день он томился своим чувством. Уже наступила ночь, запахла в саду

сильнее кусты жасмина и сирени, потянуло в раскрытые окна влажным разогретым воздухом; вот показались и прошли чудовища, как вчера, как третьего и четвертого дня; вот проиграла куранты полночь, и скоро первый час нового дня скатился; дальше побежали минуты, и ночное тепло сменилось уже утренней прохладой от остывших лугов и полей, — а Никодим все стоял в спальне перед окном и старался припомнить...

Потом медленно сошел вниз, в гостиную, и там на диване увидел мать. Сначала он не понял, зачем Евгения Александровна очутилась в гостиной в это неурочное время, но сейчас же заметил, что она спит полулежа и не раздвигаясь. Ее последнее время тоже мучила бессонница, и дремота только что пришла к ней.

Никодим остановился перед диваном и сосредоточенно принялся рассматривать черты лица Евгении Александровны — такие знакомые и такие чужие вместе (как он это разделение почувствовал в ту минуту!).

Губы ее, узкие, причудливо очерченные, были плотно сжаты, но в них затаилась как бы темная усмешка; тонкие ноздри даже и во сне оставались напряженными, а приподнятые брови, похожие на то, как писали их на древних русско-византийских иконах, придавали всему лицу вопросительное выражение. Но странно: лицо и руки, на фоне темного платья, настойчиво отделялись от их обладательницы, и от упорного рассматривания их все заколебалось в глазах Никодима и, заколебавшись, стало разделяться на вещи и вещи: платье Евгении Александровны, ее ботинки, диван, картина над диваном, два бра по сторонам картины, близстоящее кресло — смешиваясь беспорядочно, поплыли в сторону, в открывшийся провал, а лицо и руки матери стали приближаться, приближаться... Чтобы вывести себя из этого состояния, Никодим закрыл глаза рукой.

Когда через полминуты он открыл их — равновесие окружающего уже восстановилось, и Никодим принялся мерить шагами комнату из угла в угол, без счету раз, бесшумно, плавно. Так расхаживая, обратился он бессознательно в сторону окон, задернутых занавесками. На одном из них, посередине, синий кусок материи, плохо припиленный, оторвался с угла и повис, пропуская в комнату солнечные лучи и открывая, вместе с частью проезжей дороги и тропинки, по которой ходили чудовища, вид на рабочий дом.

Дом был с мезонином, но, по причуде строителя, ход на мезонин был устроен не изнутри, а снаружи, по лестнице, для устойчивости прислоненной к старой, корявой, засохшей и с полуобрубленными сучьями сосне, торчавшей рядом с домом. В мезонине было только одно оконце.

Евгения Александровна проснулась от резкого и отрывистого крика Никодима, крика, полного ужаса. Приподнявшись на диване, она, испуганная и недоумевающая, принялась спрашивать Никодима: «Что? что?» — но Никодим не отвечал и, полуотшатнувшись от окна, упорно глядел за стекло, на рабочую избу.

Там, на лестнице, на ступеньке, приходившейся посередине, стояла голова отца Арсения, отрезанная от туловища, видимо, с одного удара; губы ее были плотно сжаты, а глаза зажмурены. Окно мезонина было растворено, и на подоконнике лежала голова отца Мисаила: у ней глаза были закачены, а от шеи свешивался кусок кожи, содранный углом с груди.

Евгения Александровна, подбежав к окну, тоже вскрикнула, но не потому, что увидела мертвые головы, — нет! Из-за куста, на повороте тропинки, показался первый из возвращающихся чудовищ.

По обыкновению, первый из них нес на своем лице странный и вместе простой знак — кусочек черного английского пластыря, наклеенный на нос, и казалось,

что нос его был поражен дурной болезнью — такой маленький, приплюснутый и смешной. На крик Евгении Александровны этот первый поднял глаза и посмотрел на нее упорно пустым и насквозь проходящим взглядом. Никодим заметил его взгляд сразу, и сердце Никодимово вдруг сжалось от боли так, что он невольно ухватился рукой за грудь.

Но поднявший глаза опустил их и прошел мимо, вместе с другими. В комнате же появились разбуженные криками Евлалия и Валентин, и вместе с ними прислуга и еще несколько человек гостей, случайно оставшихся ночевать в имении. Странный и необычный вид проходящих захватил и их; вместе с Никодимом и Евгенией Александровной стали они перед окном и смотрели неподвижно и долго (ведь на прохождение трех тысяч требовалось времени около часу).

Лишь когда прошли последние и необъяснимое впечатление от них стало рассеиваться, прибежавшие увидели головы монахов. Кой-кто вскрикнул тоже, но сейчас же побежали на улицу — кто из простого любопытства, а кто затем, чтобы сделать нужное в таких случаях. Следователь Адольф Густавович Раух, приехавший через час, маленький, живой человек, направляясь к письменному столу в конторе имения, на ходу столкнулся с Никодимом и снизу вверх заглянул в его помутившиеся глаза, будто стараясь поймать в них что-то. Никодим ответил взглядом безразличным: его томили дурные предчувствия, и он думал о матери. Того, как посмотрел на нее первый из проходивших, он никак не мог забыть. И движения и смех матери стали раздражать его до крайности. С Евгенией же Александровной будто что-то случилось: смех ее в тот день стал звучать моложе, щеки вспыхивали девичьим румянцем. Два раза на глазах Никодима она резво сбегала в цветник по лестнице террасы, подхватывая свое черное шелковое платье милью, тоже совсем девическим движением руки. Он, раздраженный и злой, чуть не сказал ей при этом: «Да оставьте же, мама! Я не могу видеть вас, когда вы себя так ведете!» — но, конечно, не сказал, а только отошел в сторону, чтобы не смотреть на нее.

Проволновавшись весь день и ночь и пропустив мимо себя возвращавшихся опять поутру чудовищ, Никодим, наконец, заснул. Разбудила его довольно поздно Евлалия стуком в дверь и, заглядывая к нему, взволнованным, дрожащим голосом спросила: «Ты не знаешь, куда могла уехать мама?»

— Уехать? Разве она уехала?

— Я не знаю, уехала ли. Но ее нет нигде.

Никодим привскочил на кровати. То, как он изменился вдруг в лице и побледнел, испугало Евлалию больше, чем внезапное исчезновение матери.

— Что с тобой! — воскликнула она, но он, овладев собою, ответил уже спокойно, хотя и деревянным голосом:

— Уйди, пожалуйста, я встану и оденусь.

ГЛАВА V

Качель над обрывом. — Коляска незнакомца.

Он вышел в столовую с твердым намерением не предполагать ничего дурного в происшедшем, но растерянный вид домашних сразу вернул его к действительности.

От прислуги не могли добиться ничего: за истекшую ночь никто не слышал ни шума, ни разговоров. Никодим даже рассердился на бестолковость лакеев и горничных и, после кофе, злой и еще более встревоженный, вышел спешно в сад. Никаких предположений не складывалось в его голове. Незаметно для себя вышел он из сада и, когда это увидел, то решительно

направился прочь, подальше от дома. Быстро, в глубоком раздумьи, дошел он до ближайшей деревни (версты четыре от дома), свернул в лес и околным путем вышел к озеру. Постав на берегу, он решил, что нужно все-таки пойти домой, но не захотел возвращаться прежней пыльной дорогой, а направился берегом озера.

День был, как и накануне, солнечный, яркий. Ходьба по солнцепеку, утомляя, успокаивала Никодима. Постепенно стала крепнуть в нем уверенность, что ничего дурного с матерью случиться не могло — ему припомнились ее слова, услышанные им на огороде: очевидно, она уехала, но даст же знать о себе детям; верно, ей все-таки трудно было оставаться в том доме, где она жила со своим мужем и с их отцом и откуда он ушел против ее желания, несмотря на все ее униженные просьбы и мольбы.

— Может быть, она поехала к папе?

Так рассуждая, совсем успокоенный, вернулся Никодим домой и сообщил свои мысли Евлалии и Валентину. Но на них они не действовали благотворно. Евлалия даже сказала: «Я не думаю». «Как хотите», — ответил Никодим.

За столом они не разговаривали, и Никодима злили и смешили их растерянные лица. Вставая из-за стола, он заявил им: «Да погодите убиваться: я же завтра поеду искать. Что вас беспокоит? — неприличие самого исчезновения, что ли?» Евлалия укоризненно взглянула на него и ответила: «Да». Валентин ничего не сказал.

Но спокойствие совершенно исчезло у Никодима к вечеру, минутами ему казалось даже, что оно непристойно. Оставшись один, он несколько раз выбралил себя. Когда же ночью вновь появились чудовища, волнение и слабость охватили Никодима: тихонько забрался он к себе наверх, стараясь не глядеть из окна, достал Библию и раскрыл ее наугад. Первым попавшимся на глаза было изречение: «Я сказал вам, что это Я; итак если Меня ищите, оставьте их, пусть идут, — да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты мне дал, Я не погубил никого».

Никодим перечитал все опять и опять. Ему хотелось видеть тайный в них смысл, говорящий только ему...

И крадучись, будто боясь, чтобы никто не заметил, стал на колени и хотел помолиться. Но не молилось, слова путались и обрывались. Тогда он поднялся и произнес в пространство:

«Друг Никодим, сложи это оружие — Бог хочет иногда, чтобы человек был отвергнут от лица Его и испытывал свои силы сам за себя. Будет труд необычный и страшный — а если он против Бога — разве ты знаешь?»

И тут же устыдился приподнятости своих слов (все-таки комната была их свидетелем) и потому поспешно сошел опять в сад.

Весенняя ночь становилась все глубже и тише. В лунном свете тени старых сосен вырисовывались все ярче и ярче. За кустами на скамье присел Никодим и стал глядеть на дорогу, но с дороги его не было видно.

Трубадур, услышав, что Никодим в саду, тихонько пробрался к нему сквозь кусты и лег под скамьей. Никодим его не заметил.

И ночь ушла, сначала тихая на ходу, потом стремительная. Чудовища вернулись с солнечным восходом, по-обычному, ни в чем не изменяя своим привычкам. Тою же гурьбой прошли они перед Никодимом. Когда последние из них исчезли за кустами, он хлопнул себя по лбу с вопросом: «А почему же ни Евлалия, ни Валентин, ни прислуга не подумали о них и не разузнали ничего?»

Этот вопрос в тот же миг сменился другим: «А почему же я не подумал и не разузнал?» — и сейчас же

у Никодима явилось решение выследить чудовищ и разузнать, где и что они делают.

Перескочив через решетку сада, Никодим отправился следом за ними. Трубадур же не отставал от хозяина. Вскоре перед Никодимом в кустах замелькали спины чудовищ; он их нагнал.

Дорога (Никодим хорошо ее знал) вела в глухие места, подальше от деревни, к оврагам и лесным покосам, и кончалась в лесу тутником. «Куда же они идут?» — удивился Никодим.

На последнем повороте тропы задние ряды чудовищ вдруг замешкались, сгудились, и Никодим, не желая, чтобы они его увидели, обежал их за деревьями. За поворотом, под крутым склоном, открывалось тихое утреннее озеро, а там, где тропа спускалась под кручу каменной лестницей, по сторонам ее росли две полузасохшие сосны, очень схожие между собой, и от обеих в сторону тропы торчало по сухому узловатому суку. Сучья эти скрещивались, и на них, на толстой веревке, неведомо кем была подвешена качель — самая обыкновенная. Висела она там давно, но не знали, чтобы кто на ней качался.

Здесь на тропинке и на поляне по сторонам ее оставалось чудовищ уже не три тысячи, а, быть может, сотни две. Они стояли толпой, и из-за спин их Никодим увидел, как передние, по одному, подбегали к качели, легко вскакивали на доску и, делая по ней два шага, прыгивали под склон. Один, другой, третий... И снова: один, другой, третий...

Их перескочило еще не более тридцати, когда Никодим вдруг заметил, что из двухсот чудовищ, увиденных им сначала на повороте, осталось не более полутора десятков. От неожиданности Никодим подался вперед и обнаружил чудовищам свое присутствие.

Как осенние листья под ветром — тем самым легким танцующим движением, — бросились они тогда прочь от него, в сторону леса, перелетая, а не перепрыгивая, через канавку, прорытую справа от тропинки, и побежали в кусты вниз по склону. Никодим побежал вслед, и за Никодимом Трубадур, с тихим заглушенным потягиванием.

Первую минуту бега чудовища были у Никодима перед глазами, мелькая сквозь кусты, но затем, необыкновенно быстрые и ловкие в беге, исчезли в зелени; несколько мгновений он слышал еще удары их ног о попадавшиеся камни и шум с силой раскидываемых в стороны ветвей и по этим звукам следовал за ними. Высокая крапива больно обжигала ему руки, росистые кусты обрызгивали с ног до головы, жирная земля налипала к подошвам; камень, подвернувшийся наконец под ногу, прекратил состязание: Никодим споткнулся и покатился вниз, за камнем, больно ударился головой о дерево и на миг потерял ясность представления. Холодный нос Трубадура привел его в чувство.

Поднявшись на ноги, Никодим все-таки еще осмотрел окружающие кусты и кособок, но нашел только следы своих собственных ног да лап Трубадура. Берегом озера, по тропинке под обрывом, отправился он домой и, когда уже был недалеко от дома, услышал шум от быстро катящегося экипажа. Шум шел сверху, где над обрывом, по самому его краю, пролегал проселочная дорога. Через минуту и сам экипаж, нагоняя Никодима, показался из-за кустов. В нем сидели мужчина и женщина под легким черным зонтиком с кружевным воланом. Мужчина, сидевший с той стороны, которая приходилась к обрыву, обернулся к Никодиму и, увидев его, что-то сказал кучеру. Кучер подхлестнул лошадей — экипаж стал быстро удаляться, но Никодим все же успел рассмотреть лицо незнакомца — его горбоносый профиль, черную бороду и упорно глядящие глаза. Даму же он не мог рассмотреть из-за ее спутника и увидел только линии ее спины и приподнятый локоть.



Всех проживающих в округе Никодим знал, знал и коляски их, но этот господин был положительно ему неизвестен. Дама же, хотя он и не увидел ее лица, показалась ему знакомой. Минуту спустя, постояв, он вдруг понял, что, собственно, было ему в ней знакомо. Быстро взобрался он наверх по крутому обрыву и бросился вслед удаляющемуся экипажу, но путники отъехали так далеко, что догнать их пешком было невозможно. Пробежав шагов двести, он понял бесполезность своих усилий и остановился.

Раздосадованный, усталый, выпачканный землей и со следами ожогов от крапивы на руках, вернулся Никодим домой, без Трубадура; собака не могла взобраться за ним по отвесному обрыву на дорогу.

Не отвечая на обращенные к нему вопросы прислуги, Никодим прошел к себе наверх и лег спать.

ГЛАВА VI Романтический плащ.

За обедом Евлалия спросила Никодима:

- А ведь ты собирався сегодня ехать куда-то?
- Зачем?
- Ты сказал, что будешь искать маму.
- Я видел ее сегодня утром.

Евлалия с изумлением взглянула на Никодима, но он не поднял глаз от тарелки и, пережевывая кусок мяса, подумал: «А может быть, я и ошибся — нельзя же судить по одной спине и по локтю», — но Евлалии ответил:

- Я скажу потом. Ты не беспокойся.

Евлалия проводила его недоумевающими глазами, когда он вышел из столовой. Валентин же только усмехнулся.

Погода к вечеру резко изменилась. По временам с юго-запада задувал сильный ветер и, набегая порывами, пригибал со свистом кусты к земле, заворачивая листья, и вид кустов менялся: из зеленых они становились серыми и белыми. Обрывки проходивших туч то и дело сеяли дождем.

Никодим, сидя у себя наверху, свертывал и развертывал свой непромокаемый плащ и примерял новую широкополую кожаную шляпу. Лицо Никодима было хмуро, он поджимал губы и по временам хрустел пальцами.

Когда стемнело и пришло время показаться чудови-

щам, Никодим накинул плащ и тихо спустился вниз. Он стал в кустах за калиткой — Трубадур присел около него.

Чудовища появились и прошли в урочное время. Выждав терпеливо время их прохождения, Никодим отпустил их вперед шагов на двести и пошел следом за ними. Трубадур побрел сзади, понунив голову.

Дорогу, избранную чудовищами, он опять знал: она вела к фабрике, отстоявшей от усадьбы верстах в восьми. Кому принадлежала эта фабрика — Никодиму, однако, не было известно: хозяин ее не жил при ней и никогда в тех местах не появлялся.

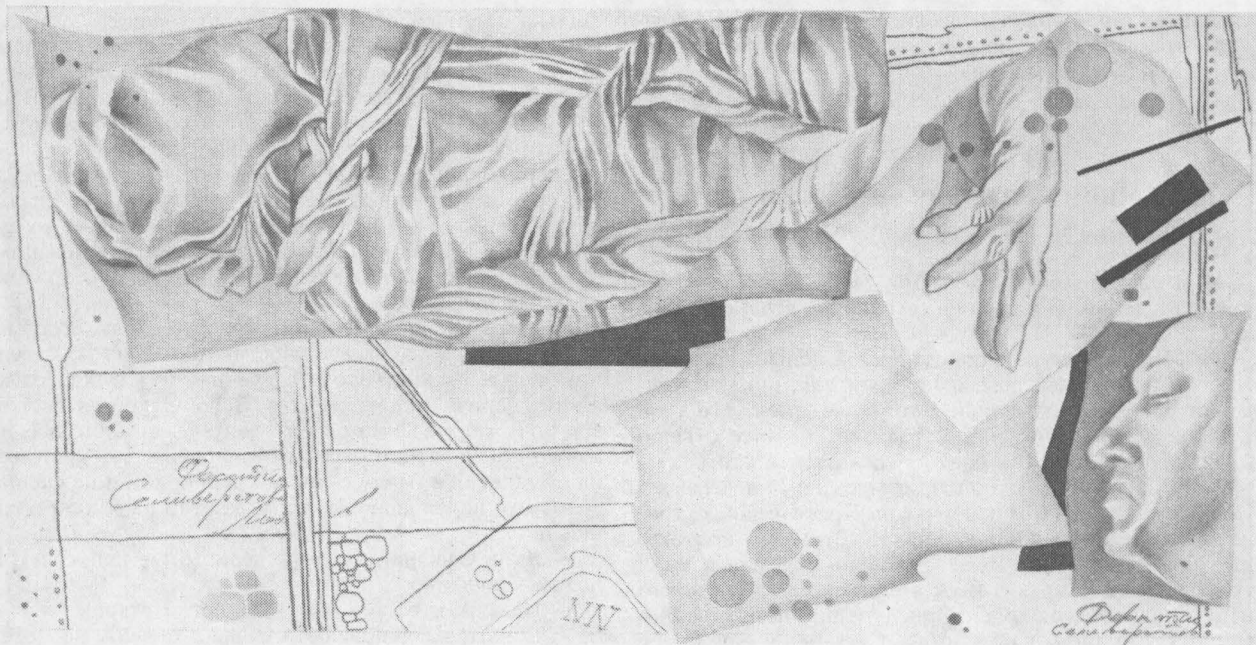
По пути должна была встретиться большая сырая луговина, прорезанная канавами для осушки, поле, засеянное овсом, — все места чистые и удобные для выслеживания. Но темная ночь и постоянно менявшееся, из-за проходивших туч, освещение мешали Никодиму: когда выглядывала луна, он боялся быть обнаруженным и либо отставал, либо прятался в придорожную канавку; если же набегали на луну тучи и вновь и вновь моросил дождик, ему становилось трудно за полторы-две сотни шагов видеть уходивших и следить их направление — шума же от их ходьбы он не слышал и даже заметил сегодня, что, проходя, они не притаптывали травы.

Пройдя первые три версты, Никодим почувствовал, что отстает, что чудовища идут очень быстро. Прибавляя изо всех сил шаг, он, уже у самой луговины, расчищенной и изрытой канавами, увидел, что чудовища свернули со своей дороги на тропинку, шедшую через луговину на кладбище, расположенное в версте от дороги.

Плащ Никодима и его широкополая шляпа были темно-зеленого цвета, но во мраке ночи они казались черными. И лишь полная луна, вышедшая в ту минуту из-за зловещих туч, вернула им подобие их первоначального дневного цвета и самой фигуре Никодима несомненность бытия.

...Уже достигая кладбищенской ограды, Никодим с разочарованием и злостью убедился в том, что перед входом из всех шедших оставалось не более четырех десятков.

Задыхаясь от бега и придерживая рукой пульсы на висках, Никодим перескочил ограду. Он уже не хотел соблюдать осторожности, с треском и шумом спотыкался на могилах; ломал по пути одряхлевшие деревянные кресты и желал только не упустить чудовищ



из виду. Но и они, кажется, на этот раз не обращали на него никакого внимания и мелькали перед ним в просветах деревьев быстро-быстро.

...Вот кладбищу конец, вот снова светло на поляне от лунного света, и уже не четыре десятка Никодим видит перед собой, а может быть, только полтора.

Никодим вскрикнул, как кричат пробудившиеся от страшного сна. Чудовища остановились. Остановился и он. Через мгновение до его слуха долетел их шепот: они о чем-то совещались, он тщательно старался связать отрывистые звуки — человеческих слов не выходило. И вдруг быстро повернувшись в разные стороны, тем же скорым шагом направились они кто куда — вперед, вправо, влево, наискось. Прямо от Никодима, к мелкому молодому леску, росшему за канавой, побежали семеро — Никодим снова за ними. Теперь уже он бежал быстрее и почти настигал их, когда они один за другим попрыгали в канаву, в густой молодой малинник, росший с обеих ее краев и белевший при луне своими мелкими листьями.

Как отводят чары, так провел Никодим рукой перед глазами. Вот наваждение: ведь не на чудовище смотрел он, пока бежал, а на эти белеющие в темной зелени разрезные листья. Вместе с Трубадуром спустился Никодим в канаву и прошел ее из конца в конец, но даже следов человеческих ног на мокрой траве там не было. Луна же в это время опять спряталась за тучи.

Раздосадованный еще более, чем в первый раз, Никодим вернулся домой и так сердился, что когда чудовища утром проходили обратно — он не захотел глядеть на них и отвернулся от окна.

Третий день Никодим провел с большим нетерпением в ожидании ночи. После непогодливого и сумрачного вечера наступила совсем жуткая ночь — бурная, дождливая. Ветер свистел и надрывался; тучи, нагромождаясь, тяжело проплывали по небу, опять то открывая лунный диск, то пряча его. Над землею стлались полосы света и мрака и уходили, уносимые в хаосе, — словно свет не находил места, где ему быть, и тьма не одолевала, но вновь и вновь зарождалась и выползала, колеблясь, из лесу, из оврагов, со стороны озера.

В одиннадцать часов свет с неба усилился и прозрачные облака побежали между темными тучами.

Никодим тогда опять накинул на себя плащ, надел широкополую шляпу и вышел на дорогу.

Пройдя немного, он остановился на холмике, а Трубадур тоскливо прижался к его ногам.

Никодим старался плотно держать края своего плаща, но налетавший ветер не раз с силой вырывал из его рук полы и подбрасывал плащ в воздух, развевая его тяжелыми темными складками и вытягивая прямыми полосами.

Тогда, при меняющемся лунном свете, виднелась на холмике странная фигура Никодима с наклоненной вперед головою (он подбородком придерживал воротник плаща и подставлял ветру верх шляпы, чтобы тот не сорвал ее), а под холмик убежали длинные причудливые тени от человека и собаки.

Но вот наплывший мрак в последний раз скрыл фигуру — будто превратилась она в растение и нельзя уже было отличить ее от соседних кустов, — и впереди Никодима, у тропинки, задвигались черные пятна, как кусты от ветра, но он знал, что это не кусты, а те — чудовища.

Они подошли потоком, и Никодим очутился между ними, будто камень среди набегающих волн: чудовища обтекали его, он ощущал их дыхание и касания развеваемых ветром одежд, но не чувствовал в себе силы пошевелиться или сказать хотя бы слово: язык прилипал к небу. Только простояв уже с полчаса и пропустив мимо себя половину чудовищ, он слабо, чуть слышно, сам не веря своим словам, сказал: «Послушайте».

Никакого ответа! Только подняли на него двое хихикающих свои глаза и проскользнули мимо. Звук человеческой речи прозвучал так жалобно и робко. И Никодиму стало стыдно за эту жалкость и за свою робость. Он высвободил руку из-под плаща и протянул ее к ближайшему, намереваясь схватить чудовище, но чудовище ловко и бесшумно уклонилось на столыко, чтобы нельзя было коснуться его, — и прошло. Никодим к другому — другое то же самое. К третьему — так же. Рука Никодима бессильно опустилась, и Трубадур с жалобным тихим воем облизал ее.

Простояв еще с минуту, Никодим закутался плотнее в плащ, нахлобучил на глаза шляпу и повернулся с намерением идти домой. Тогда подходившие чудовища задержались и дали ему свободно выйти из их рядов.

Вошедши к себе в комнату, Никодим со злобой скинул плащ и, скомкав его, вместе со шляпой швырнул в темный угол. После он зажег все свечи в под-

свечниках и при ярких огнях сидел до утра за письменным столом в задумчивости, иногда порывисто ударяя кулаком по ручке кресла.

ГЛАВА VII

Яков Савельич. — Сон в вагоне.

Утром за кофе Никодим схитрил, сказав Евлалии и Валентину:

— Я еще не узнал, где мама. Но у меня есть кое-какие сведения. И я должен сегодня же вечером ехать в Петербург.

Он собирался туда с определенной целью: повидать Якова Савельича и, как знает читатель, никаких сведений о местопребывании матери не имел. Ехал он к Якову Савельичу, как к гадалке, но ему стыдно было перед сестрой и братом сознаться в этом.

Яков Савельич жил почти безвыездно (с незапамятных времен) в глухом переулке на Крестовском острове, в собственном доме-особняке. Жизнь его протекала одиноко. Был он богат, но очень скромнен и мало требователен к жизни. Всех комнат в его доме никто из его знакомых не знал. Прислуги при нем, обыкновенно, было лишь двое — старая кухарка и еще более старый дворник Вавила. Но по временам в доме появлялись новые люди в большом числе и, пробыв месяц-два, исчезали неожиданно, чтобы уже никогда не возвращаться. Через год, через два это повторялось, но каждый раз в новых лицах.

Яков Савельич и Никодим были знакомы между собою давно, но это знакомство плохо поддерживалось обеими сторонами, и Яков Савельич даже слегка иронически относился к Никодиму. К тому же по своему характеру старик был совсем малообщителен. В его фигуре и движениях как бы сквозило: «Я, мол, не для разговоров живу». А вместе с тем было в нем что-то тайно располагающее к его особе, вызывающее на исключительное доверие — понималось как-то с первой встречи с ним, что в самых важных случаях лучше прибегнуть за советом к нему и тогда он будет вернейшим советчиком.

Сойдя с конки, Никодим свернул в знакомый переулок (а все-таки не был он в нем уже два года) и позвонил у садовой калитки. Вавила показался за решеткой на крыльчке, крикнул «Кто там?» и, поглядев на Никодима из-под ладони, видимо, сразу признал гостя. Сказав «Сейчас», он подошел, отодвинул засов и, приоткрывая калитку, остановился, не спрашивая, но ожидая, чтобы его спросили.

— Яков Савельич дома?

Старик помолчал с таким видом, будто он хотел сказать «Дома или нет — это вас не касается. Если же он вам нужен — так это как я захочу. Захочу, скажу — дома, захочу, скажу — нет», — но однако сказал: — Пожалуйте.

И добавил себе под нос (впрочем, так, что Никодим услышал): «Беспокойство от вас одно; видно, делать-то вам нечего — шляетесь по добрым людям». Никодим промолчал.

Перейдя мосточки и пересчитав ступени высокого крыльца, они вошли в переднюю. Из соседней комнаты с любопытством выглянула старуха с подоткнутым подолом. Блюда установленный Яковым Савельичем этикет, старик сказал ей: «Марфинька, проводила бы ты барина к барину», — на что Марфинька не отозвалась, но, оправив платье и обтерев лицо и руки передником, скрылась.

Минут через пять она вернулась. Предводимый ею Никодим прошел через пять или шесть комнат (тоже знакомых: за два года в них ничего не изменилось). В гостиной с ярко-оранжевым крашеным полом Мар-

финька остановилась перед дверью кабинета и, ткнув пальцем в неопределенном направлении, сказала «Вот», после чего скрылась куда-то. При этом Никодим еще раз подумал об этикете, установленном Яковым Савельичем, и почувствовал, что он сам уже будто бы этому этикету невольно подчиняется.

Дверь в кабинет была неплотно притворена. Постояв перед ней немного, Никодим постучал по ней пальцем и услышал в ответ «Войдите», но вошел не сразу, а просунул сперва в щель голову и осмотрел комнату.

— Да войдите, пожалуйста, — повторил старичок, не глядя на гостя.

Яков Савельич сидел у письменного стола, сгорбившись и сосредоточив все свое внимание на собственном халате — клетчатом, в три цвета: клетка белая, клетка черная, клетка желтая. Левою рукой он оттягивал полу халата, а в правой у него была кисточка, на какую обыкновенно берут гуммиарабик; эту кисточку он обмакивал в банку с синими чернилами и не спеша, деловито, перекрашивал белые клетки на халате в синий цвет.

— Яков Савельич, что вы делаете? — спросил Никодим удивленно.

— Незваных гостей жду, — ответил старик.

— Да нет; я спрашиваю, что вы с халатом делаете?

— Что ж! халату все равно срок вышел: завтра десять лет как его ношу — нужно же что-нибудь с ним сделать. Юбилейное торжество в своем роде и тому подобное... Садитесь — постоите где-нибудь в другом месте, а у меня больше сидят.

И отставил чернила, а кисточку бросил в мусорную корзину.

— Я с делом, Яков Савельич, — сказал Никодим, усаживаясь поудобнее в глубокое полосатое кресло.

— С делом? — удивленно переспросил старик. — С каких же это пор у вас дела завелись? Вот уж не думал не гадал. Какие там могут быть дела? Летал петушок по поднебесью, клевал петушок зернышки: небеса-то голубые, глубокие; зернышки-то жемчужные, грешок у петушка золотой. Не ожидал я от вас этого, Никодим Михайлович, — заключил старик укоризненно.

Никодим сразу пожалел, что обратился к Якову Савельичу: манера старика разговаривать была ему хорошо известна, а все-таки чувство обиды от неожиданной неприятной встречи подсказывало ему встать и уйти под благовидным предлогом.

Но неловкое молчание прервал Яков Савельич:

— Как матушка ваша поживает? — спросил он.

— Никак! — отрезал Никодим.

— То есть почему никак? — с тревогой в голосе переспросил старик.

Глухим голосом Никодим сказал:

— Мама исчезла четыре дня тому назад, ночью. Мы не знаем, куда. Я пришел к вам, Яков Савельич, спросить, что нам делать?

Старик в заметном волнении огладил свои седые волосы и поправил очки. Затем вынул фуляровый платок, провел им ото лба по бритому своему лицу, по отставшей нижней губе и вскинул голову.

— Однако, как же это вышло? — спросил он.

Никодим принялся рассказывать. Сначала рассказ его был сбивчив, но затем он поупокоился и передал Якову Савельичу со всеми подробностями о подслушанных им на огороде словах матери, и о двух убитых монахах, и о чудовищах, и о том, как он, кажется, видел мать над обрывом в коляске незнакомца и как выслеживал чудовищ.

Окончив рассказ, Никодим встал и подошел вплотную к старику, ожидая ответа.

Яков Савельич сидел и думал долго. Потом тоже встал и спросил:

— А зачем вы ходили за этими чудовищами?

— Да как же? Может быть, они знают что-либо о матери? Даже, наверное, знают.

Старик рассердился.

— Глупости! — заявил он решительно. — Зачем им могла понадобиться ваша мать. Вы совсем не подумали, о чем нужно было подумать, и не там искали, где нужно. Вот тоже Шерлок Холмс нашелся.

И, помолчав, добавил:

— Мне самому не под силу сейчас искать — стар стал и болею все. Но дорого я дал бы тому, Никодим Михайлович, кто поискал бы и сумел указать, как и почему все здесь произошло. Дорого. Помнил бы тот старика всю жизнь.

— Дайте совет, Яков Савельич.

— Совет дать трудно. Ключик нужно найти. Конечно, об этом ключике мы могли бы подумать и здесь, не выходя из моего кабинета, да боюсь попасть на ложный путь. Нет уж, лучше поезжайте обратно и дома подумайте. Да вот, кстати: смотрели ли вы переписку вашей матери? порылись ли в ее комнатах?

— Что вы, Яков Савельич! Это же неудобно.

— Какое там неудобно! Если вы сами не смеете — я вам разрешаю и даже приказываю. Я на себя беру ответственность за это.

Никодим посмотрел на него с изумлением, но старик перешел вдруг на мягкий просительный тон:

— Какой вы странный. Ведь вам должны быть лучше известны последние годы жизни вашей матушки. Я не видел ее уже десять лет. А положение такое, что все должно быть использовано без смущения. Поезжайте и ищите. Если ничего не найдете — возвращайтесь, и мы еще посоветуемся.

Думая о том, где мать хранила свои ключи и не унесла ли она их с собою, Никодим пожал на прощанье руку Якова Савельича, и рука его в ту минуту показалась Никодиму особенно теплой и дружеской.

Старик проводил гостя до крылечка, а Вавила даже за калитку, оберегая его от собак, которых у Якова Савельича было много и все злые. После он остановился на мосточках и глядел Никодиму вслед из-под ладони долго, пока гость не скрылся из вида.

...В полупустом вагоне только изредка проплывали тонкие струйки сизого папиросного дыма: соседи по вагону (их было лишь двое) курили. Впереводку жужжали запертые в вагоне три синие большие мухи, которыми совершенно неожиданно для них пришлось совершить такое далекое путешествие из столицы в лесную глушь. Перед глазами надоедливо оставался полосатый чехол дивана. Глаза от жары и духоты слипались. И постепенно, сквозь полужакрытые веки, полосы на чехле стали вытягиваться, красные превращаясь в стволы деревьев, а белые в сквозящее между ними и уходящее в даль воздушное пространство. И вот видит Никодим себя в сосновом лесу: желтая песчаная дорожка пролегает среди высоких, стройных, густо растущих сосен, иногда сквозь красные их стволы проглянет небо, и чисты стволы снизу, как свечи, а где-то высоко-высоко зеленеют верхушки.

На дорожке показывается женская фигура. Да ведь это же его мать: на ней та же самая шаль, в которой он видел ее последний раз, перед исчезновением. Мать смотрит вперед и идет не спеша прямо, но мимо него. «Мама, мама!» — хочет закричать он, но слова остаются в горле. И вдруг она исчезает быстро за поворотом. На дорожке же показывается другая — незнакомая женщина — молодая, высокая, златоволосая, с тончайшими чертами лица и с гордо поднятой головой. Она идет так же медленно, глаза ее опущены — он их не видит. И на ней такая же шаль, как была на матери, а за нею в нескольких шагах бежит девочка, трехлетняя — не более — с распущенными волосами, будто очень похожая на эту женщину и кричит:

«Мама, мама». И удивительно ему, что она кричит те самые слова, которые он хотел крикнуть и не мог. Мгновенный сон уходит. Опять только полосатый чехол на диване и не голубеющий воздух, а синеватый папиросный дым. И уже станция — нужно выходить. Никодим протирает уставшие глаза.

ГЛАВА VIII

Появление отца. — Благородный олень.

Перед самым приходом поезда на станцию проплыла над ней туча и теплый дождь полил землю...

Отъезжая от станции, Никодим увидел рядом с дорогой на прибитой дождем пыльной обочине чью-то знакомую фигуру и через минуту догадался, что это его отец. Должно быть, он приехал с тем же поездом, но Никодим задержался на станции, а старик уже успел отойти от платформы и теперь, глядя в землю, отмеривал неспешные, но споркие шаги, опираясь на свою суковатую палку из вересины. Круглую шляпу он держал в руках, а лысина старика светилась на солнце, и кудреватые волосы его, седые и неподстриженные, слегка развевались по ветру. За плечами он нес дорожную ношу — кожаную суму. Все его обличье было будто бы дальнего Божьего странника.

«Нагони-ка того старичка», — сказал Никодим Семену. Кучер подхлестнул лошадей, и через минуту они поравнялись. «Папа, — воскликнул Никодим, — садись, подвезу — ведь, наверное, к нам!» Старик обернулся, прищурил свои лучистые светло-серые глаза и ответил: «Ах, здравствуй! Да — к вам, собственно, и не к вам. Ну так и быть — подвези». Никодим потеснился, и старик уселся рядом, положив свою ношу в ноги.

Семен не знал старого барина и сначала так и думал, что это Божий странник, а потом от недоумения принялся подхлестывать лошадей. На выбоинах дороги сильно встряхивало, и ободья колес стучали по камням. Поэтому Никодим и Михаил Онуфриевич не начинали разговора. Только Никодима не оставляла мысль, что, если отец ничего не сказал о матери, то значит, у него она не была, как Никодим предполагал раньше, и об исчезновении ее отец не мог знать. Уже подъезжая к дому, Никодим спросил:

— А ты знаешь, что мама исчезла куда-то? Целых пять дней прошло.

— Откуда же мне знать? Я прямо сюда приехал, никого еще не видал, и не писали мне.

С этими словами Михаил Онуфриевич опять взглянул на Никодима, прищуря глаза. Голос его звучал спокойно. Никодиму стало обидно от этого спокойствия — он понял, что отцу исчезновение матери безразлично, и решил больше не говорить о ней. «Даже, пожалуй, ему приятнее, — подумал он. — Теперь он может являться прямо к нам в дом, а не назначать свиданий на стороне, как было, пока мама жила с нами».

Отец не мог не уловить этой обиды и, очевидно желая отвести сына от мысли о ней, спросил:

— Что же, есть у вас теперь грибы?

— Не знаю. Да кажется, рано им еще быть.

— Нет. Когда я уезжал из дому, у нас грибы уже были. Может быть, сходим завтра, посмотрим?

— Сходим. Посмотрим, — согласился Никодим.

Приехав домой, Никодим шепнул Евлалии и Валентину, что он уже спрашивал отца о матери. И ни Евлалия, ни Валентин за весь вечер не обмолвились о ней и словом.

Засыпая той ночью, Никодим решил встать утром часов в пять. Когда он проснулся — часовая стрелка действительно стояла на пяти. Отец был уже на ногах, и Никодим сверху слышал, как он спрашивает у при-

слуги корзинку. Кто-то отправился за корзинкой на погреб.

Живо умывшись и одевшись, Никодим спустился вниз, поздоровался с отцом, и они пошли.

Ночью была сильная и холодная роса. Вода, как от дождя, каплями стекала с деревьев и кустов. После такой росы по низким местам нечего и ждать грибов. Никодим сказал об этом отцу — тот уже согласился было и, повернувшись к дому, остановился, соображая, стоит ли идти или нет. Но Никодим не о грибах думал — у него были другие намерения. «Полно, — возразил он отцу на его раздумье, — если внизу нет, пойдем куда-либо на горку», — и указал при этом вправо: там, в нескольких верстах от берега, высилась гора, покрытая старым лесом, синеющая издали, — где, между прочим, Никодим за все прежние года не удосужился когда-либо побывать.

Они тронулись прямо через кусты и, поколесив порядком, вышли на песчаную тропинку: по их расчетам, тропинка эта должна была вести на гору. Они не ошиблись: место становилось все выше и выше, а лес красивее и красивее. Через час пути они поднялись на самую гору, и чувство восторга вдруг охватило Никодима. И было отчего явиться восторгу: открывшийся ландшафт был редко прекрасен. Старые сосны и осины — могучие, узловатые, — росли там не часто, но необыкновенно величественно... Высокие кусты папоротников на оголенной земле, затеняя ее своими веерами, росли кучами по обеим сторонам тропинки, то приближаясь к ней, то убегая в глубь леса. Влево от тропы древний исчезнувший поток, унесший ныне свои воды неведомо куда, под обнаженными, переплетающимися красноватыми корнями четырехсотлетних сосен промыв в земле отверстие. Земля повисла над ним, удерживаясь на корнях — будто ворота открывались на восток, к солнцу... А воздух в ложине струился смолистый, голубоватый и словно холодный.

Никодим остановился, подавленный открывшимся, неподвижный. На старика все это, видимо, произвело мало впечатления (и должно быть, он бывал в этом месте и раньше): он принялся излагать какие-то свои хозяйские соображения.

Никодим, однако, плохо его слушал и не отвечал ему.

«Лисья нора», — вдруг сказал Михаил Онуфриевич радостным голосом. Никодим обернулся к нему. Старик своею палкой раскапывал подземный ход. «А поискать, так наверное, и другой ход найдется», — добавил он. Никодим сделал два шага по направлению к отцу и, оглядываясь, заметил еще два хода рядом, хорошо укрытые кустами папоротника. «Это не лисья нора», — возразил он, подумав затем: «Палку бы длинную», — и стал искать ее глазами. Но когда глаза его обратились опять к промоине, то он увидел там нечто уже совсем необыкновенное: на выступе промоины, в густой траве лежал мертвый благородный олень, полуопрокинутый на спину — вскинутая пара ног его была согнута в коленях; он, видимо, упал сверху, так как один кудрявый рог его, покрытый бархатистой шерстью, совсем не страшный, а ласковый, зарылся в землю.

Олени в тех краях не водились: это был редчайший гость, никем там не виданный. «Смотри, смотри!» — закричал Никодим отцу, но отец уже сам заметил оленя и пристально рассматривал его из-под руки. Никодим, не думая о том, что делает, живо спустился в промоину, цепляясь руками и ногами, по краю обрыва и быстро-быстро пополз к оленю. Путешествие его продолжалось недолго — один камень поддался под его тяжесть и он сорвался. Упав вниз, Никодим ушибся больно и не мог сразу подняться. Выбраться же назад, вверх, было невозможно; добираться к оленю снова по голому обрыву — тоже. «Ишь ты, — сказал отец,

наклоняясь над обрывом, — погоди, я тебе что-нибудь кину, и выберешься».

Но кинуть было нечего.

«Иди лучше дальше за грибами, — посоветовал Никодим, — а я стороной выйду, все равно у меня нога распухла». Старик постоял немного, но потом послушался и пошел в глубь леса, а Никодим, прихрамывая, стал спускаться по промоине ниже, все раздумывая: «Откуда взялся олень?» — и не находя ответа. Вскоре он выбрался на знакомую дорогу и, подходя к дому, решил завтра или послезавтра, как только опухоль на ноге опадет, непременно добраться к оленю. Этому не суждено было исполниться: на другой день Никодим был вовлечен в длинный ряд событий, о которых подробно рассказывается со следующей главы.

ГЛАВА IX

О десяти шкафах.

На другой день утром, когда Никодим лежал еще в постели, в комнату его полуоткрылась дверь, в щель просунулась рука лакея и положила письмо на столик у входа.

Почерк на конверте был знакомый — одного из лучших друзей Никодима. Жил этот друг на Кавказе, и встречались они редко, но каждое свидание с ним и каждое письмо от него были для Никодима большой радостью.

Почта проштемпелевала конверт в Москве, но где письмо было написано — Никодим не понял. В письме кратко говорилось, что друг Никодимов остановился «здесь» (это и значило, вероятно, Москву) лишь проездом и через два дня будет в Петербурге, очень хочет видеть Никодима, между прочим, по делу, и просит его хотя бы на день приехать в город.

Никодим собрался и поехал в тот же день к ночи (более удобного поезда не было). Дорогой он думал, что, приехав, застанет, вероятно, друга уже на их городской квартире. Однако вместо друга его ждало второе письмо.

В этом письме говорилось, что по непредвиденным обстоятельствам друг его мог пробыть в Петербурге лишь полчаса и то на Николаевском вокзале, от поезда до поезда; теперь же возвращается в Москву, но надеется видеть Никодима скоро — пока же целует заочно и желает всего доброго.

С чувством досады держа прочитанное письмо в руках и думая: «Вот совершенно напрасно проехался», — остановился Никодим в передней. Уже решил он, не теряя времени, выехать в тот же день обратно, но свертывая письмо, заметил, что в конверт вложена еще записочка, вынул ее и прочел. Она была написана также рукою друга, но почему-то осталась неподписанной («по рассеянности», как он подумал). «Милый. Дело, о котором я писал тебе, собираясь просить в нем твоего содействия, я откладываю по тем же непредвиденным обстоятельствам, которые помешали мне остаться в городе нужное время. Но к делу этому я вернусь и твоего содействия в нем еще попрошу, как только буду опять здесь. Пока же прошу тебя о другом: есть у меня в Царском Селе у знакомого (в скобках следовал адрес) на сохранении шкаф — знакомый держать его у себя больше не может — будь любезен взять его к себе теперь же. В шкафике этом ты найдешь наглухо упакованный и перевязанный деревянный ящик — почтовую посылку. Адрес на ящике написан — какой-то московской экспедиторской конторы (не помню какой), отошли посылку по этому адресу, а шкафик подержи у себя».

Никодим взглянул на часы: был пока только девятый час утра; все еще можно было сделать в тот же день и выехать вечером в имение. Но ехать в Царское

самому ему не захотелось, он позвал человека, оставшегося на лето при квартире, растолковал ему все, что было нужно, и отправил его туда. Сам же пошел на острова, побродил там часов до двух, позавтракал в ресторане, посетил в городе знакомых и только к шести часам вернулся домой.

Лакей уже ждал Никодима и встретил его с видом смущенным, как будто собираясь что-то спросить и не решаясь. Никодим это понял и сам спросил его, в чем дело.

— Дело, барин, такое, — ответил лакей, — что вы мне сказали про один шкаф, а их там оказалось целых десять.

— Но ты все-таки их привез?

— Да я уж решился. Нанял двух ломовых и отправил их сюда. Скоро бы должны подъехать.

— Ну, а хозяин-то квартиры что-нибудь сказал?

— Хозяин-то все ворчали что-то и просили забрать их поскорее, мол, всю квартиру загромождали.

— Странно. Ну, подождем ломовиков... А ключи от шкафов у тебя?

— У меня, барин. Вот, извольте. Чудные ключи — все на один замок.

И с этими словами лакей подал связку в десяток ключей. Действительно, это были странные ключи — огромные, ржавые и все до одного совершенно схожие между собой.

Еще не скоро загромыхали на дворе ломовые телеги, и у Никодима было достаточно времени делать разные догадки, но когда извозчики подъехали, он выглянул в окно на двор, и, увидев на двух подводах все десять шкафов, по пяти на каждой телеге — не очень больших, не очень маленьких, старых и ни в чем друг от друга не отличающихся, притом самых обыкновенных, рыночной работы, — он подумал, что друг его что-то перепутал.

Никодим стоял в кабинете, пока извозчики вносили шкафы и представляли их по коридору. Выйдя из кабинета, он увидел скучный и противный их ряд, хотел уже было проскользнуть мимо, чтобы ехать на вокзал, но вспомнил, что друг писал ему о какой-то посылке, и сказал:

— Нужно же эту посылку отыскать.

И открыл первым попавшимся ключом первый шкаф. Открыв его, он увидел, что было в нем три полки, а на каждой полке стояло по три деревянных ящика, действительно упакованных так, как пакуются почтовые посылки.

Он взял в руки один, повертел, взвесил и поставил осторожно на место. Потом проделал то же с другим и с третьим. Все ящики были равной величины и одинакового веса, но адресованы они были разным лицам — часть в Москву, два в Одессу, один в Стокгольм и другие еще куда-то. Все адреса были написаны одним почерком — вытянутым, неестественно длинными буквами; буквы оплывали будто жиромнизу; отправителем посылки на всех ящиках значилось одно и то же лицо — Феоктист Селиверстович Лобачев — Петербург, Надеждинская улица, №№ дома и квартиры.

Сперва имя Лобачева, произнесенное Никодимом вслух, прозвучало в его ушах чуждо, но он в ту же минуту припомнил, что слышал о Лобачеве от того же своего друга: Лобачев вел с ним торговые дела по имению, покупал у него лен, табак и еще что-то.

— Хлам! — сказал лакей, появившись в коридоре.

— Да, хлам, — согласился Никодим и в нерешительности от вопроса, что делать, открыл второй шкаф — ржавый замок опять прозвенел, скрипучие петли еще раз пропели, но увидел он за дверью те же три полки и на каждой из них было три ящика. На ящиках можно было прочесть адреса, написанные все теми же неестественными буквами: «Сидней», «Чикаго» и еще

что-то — с отправителем Феоктистом Селиверстовичем Лобачевым.

Чувство тоски охватило Никодима — будто он хотел уйти куда-то и нужно ему очень, а вот какие-то мелкие и глупые причины приковали его к месту.

Он открывал шкаф за шкафом — третий, четвертый и пятый до последнего; все в них было одинаково — десять шкафов, тридцать полок, девяносто ящиков...

— Нужно телеграфировать другу, что все это значит?

Подобная мысль вспыхнула у Никодима, но и исчезла в то же мгновение: «Лучше поехать к Лобачеву и предложить ему забрать всю эту дрянь. В самом деле, моя квартира ведь не склад и я не экспедитор». С таким решением, справившись еще раз по ящикам об адресе Лобачева, Никодим оделся, вышел и нанял извозчика на Надеждинскую.

По дороге он сообразил, что час уже поздний и лучше было бы позвонить Лобачеву по телефону. «Ах, все равно, — добавил он к своему соображению: — не велик барин г. Лобачев».

На повороте у Невского на Надеждинскую сломалось у пролетки колесо. Падение было благополучным, но Никодим, встав, вслух заявил: «Дурная примета, и вообще всюду чертовщина». Извозчик обиженно принялся возражать, но Никодим сунул ему монету и, нисколько его не слушая, поспешил отыскать нужный дом. Тот был недалеко...

ГЛАВА X

О ведьме и о сером цилиндре.

Перейдя широкий двор и поднявшись в третий этаж, Никодим увидел на дверях квартиры № 7 две медные дощечки: на одной, прибитой напаво, черными жирными буквами стояло «Феоктист Селиверстович Лобачев» — дощечку эту кто-то принимался отвинчивать и вывернул уже из четырех винтов два. На другой дощечке, изящной, небольшой, опытный резец красивыми, но мало заметными буквами начертал: NN — имя и фамилию дамы. Я ставлю NN потому, что даму эту, и сейчас проживающую здесь, многие знают — называть ее считаю неудобным, а выдумывать другое условное имя взамен ее, прекраснейшего и незаменимого, не хочу.

Необычное сочетание разнородных иностранного имени и фамилии госпожи NN — заставило Никодима задать себе вопрос — французенка она или англичанка? И раздумывая об этом, он простоял перед дверью минут пять, пока не вспомнил, зачем собственно пришел и что следует позвонить.

На звонок Никодима дверь отворилась сразу — будто звонка его там ждали. Отворила дверь высокая дама, молодая, стройная, светловолосая (сама госпожа NN, как Никодим догадался). В первом приветствии ее человеку совершенно незнакомому, в легком изгибе и быстром, но плавном склонении фигуры — было столько очаровательного, что Никодим не удержался и в восхищении воскликнул «ах!». Она лукаво и строго, но едва заметно улыбнулась с видом не обратившей и малейшего внимания на его неуместное восклицание. Он же чувствовал себя крайне неловко и, в смущении, вместо того, чтобы спросить о Лобачеве, ждал первый вопроса от нее. Она помолчала, но не выдержала, наконец, и сказала: что же вам нужно?»

— Феоктист Селиверстович Лобачев дома? — отвечал Никодим вопросительно.

— Нет. Феоктист Селиверстович на днях отсюда выехал.

Голос ее звучал мягко, ласково, но с какой-то грустью. Говорила она по-русски весьма хорошо, и с тем

же неуловимым очарованием, с каким приветствовала Никодима. Лишь едва заметные оттенки произношения, некоторая мягкость согласных изобличали в ней иностранку.

Все мысли и чувства Никодима устремились вдруг к ней. О Лобачеве он уже не думал и сразу почувствовал, что путается, когда начал было о нем: «Позвольте вас спросить...»

Она вывела Никодима из затруднения, уяснив себе, в чем дело, и быстро сказав: «Вам нужен его адрес? Обождите, пожалуйста: он у меня записан — я сейчас пойду и скажу».

И отвернувшись, движением руки показав, что он должен следовать за ней. Никодим вошел в переднюю.

Он сразу обратил внимание на две вещи в той комнате: на обыкновенную керосиновую лампу в двадцать линий, стоящую на столике перед зеркалом, и на необыкновенный мужской цилиндр: очень высокий, светло-серый и к тому же мохнатый, помещавшийся на стуле рядом со столиком.

Лампа горела, хотя освещение в квартире было электрическое, абажура на ней не было. На цилиндре же сверху была надета дамская шляпа со страусовыми перьями, но г-жа NN эту шляпу мимоходом сняла. «На что ей лампа?» — удивился Никодим. Но она не дала ему времени подыскать ответа, вдруг резко повернувшись и резко сказав: «Собственно, что вам нужно? Адрес господина Лобачева вы можете узнать у дворника или швейцара. Оставьте мою квартиру, прошу вас».

Она была недовольна чувствами Никодима, а не его поведением: Никодим вел себя скромно и с достоинством.

Чувства Никодима ей было нетрудно угадать. Но он уже и сам понял, что влюблен в нее, и не повиновался ее приказанию. Ей же стало вдруг жалко, что резко своею она обидела его.

Опираясь обеими руками о край столика, на котором горела керосиновая лампа, она стояла и глядела на Никодима — пристально, совсем по-иному, чем первый и второй раз: в глазах ее светилась уже не любовь, а ненависть с плохо скрытой любовью. И эта двойственность выражения еще больше шла к ней, чем любовь, — ко всему, что сквозило в ней, изливалось из нее, к самому облику ее, к цвету волос и даже к прическе и платью.

Никодим сделал еще два-три шага и только столик остался преградой между ними.

— Ведьма, — сказал Никодим вслух.

— Ведьма, — утвердительно повторила она за ним.

Он схватил ее с силой за правую руку, повыше кисти. Она рванулась в сторону, но вдруг стихла и спокойно сняла свободной рукой стекло с горячей лампы, совсем не боясь обжечься. Прежде чем Никодим успел что-либо сообразить, она этим стеклом неожиданно ловко ударила его по лицу. Он почувствовал острую боль и будто электрический разряд в себе, вместе с противным запахом обожженной кожи. В нем сейчас же вспыхнула жгучая злоба, закрипев зубами от боли, в первый миг он выпустил было ее правую руку, но тут же ухватился обеими руками за левую, пригibasя противницу к столу.

Она тоже сжала зубы от боли, так как пальцы Никодима были цепки и давили все круче и крепче. Пытаясь освободиться, она рванулась в сторону, но только кости ее хрустнули.

Тогда она перехватила стекло правой рукой — Никодим вцепился в правую руку: у него был один страх, что она опять ударит его стеклом.

— Оставьте, — сказала она повелительно, — уйдите.

— Я не уйду! — ответил он твердо.

— Не уходите, но отпустите руки.

— Положите стекло, тогда я отпущу руки.

Она злобно засмеялась и снова рванулась, стремясь ударить его еще раз. Он инстинктивно откинул голову назад, отпустил ее левую руку и, со словами «Вот я выжгу вам глаза», схватил со стола горящую лампу.

Они еще метались по комнате с полминуты; раз или два она опять изловчилась ударить его по щеке; он же не сумел привести свое намерение в исполнение: каждый раз она угадывала его движения и ловко увертывалась; наконец, быстрым движением вышибла лампу из его руки — свет погас, а фарфоровые черепки со звоном разлетелись по полу.

В наступившем полумраке Никодим вдруг почувствовал, что госпожа NN слабеет, но то длилось меньше мига. Когда ему показалось, что победа совсем на его стороне, что она упадет измученная, а он уйдет свободным — острая режущая боль еще раз прожгла все его существо, и он, изгибаемая в судорогах, упал на ковер к ее ногам. Она отскочила в сторону, но судороги быстро прекратились.

— Цилиндр, цилиндр, — сказал Никодим слабым голосом. И действительно, с цилиндром творилось необыкновенное: еще во время борьбы он начал вести себя странно: подпрыгивал, качаясь из стороны в сторону, то вырастал, то умаялся; когда же Никодим упал на ковер — цилиндр подпрыгнул выше прежнего, вытянулся почти до потолка и затем с пружинным звоном прилепнулся в лепешку.

Г-жа NN в ответ на последние Никодимовы слова подошла к нему, погладила его по голове и, при слабом свете, падавшем откуда-то из коридора, заглянула ему прямо в глаза — добрым-добрым, материнским взглядом, но он оттого только метнулся в страхе и протянул руки к цилиндру, намереваясь схватить его. Тогда столик вместе с цилиндром отшатнулся в сторону и, перевернувшись в воздухе колесом, полетел в раскрывшуюся пропасть. За ним последовала сама г-жа NN и все остальные предметы, бывшие в комнате.

ГЛАВА XI

Вынужденное решение. — Записка господина W

Когда Никодим пролежал неподвижно уже несколько минут, госпожа NN попробовала приподнять его, чтобы перенести на диван или на кровать, но это оказалось ей не под силу. Помедлив немного, она принесла из своей спальни подушку и подложила ее под голову Никодима, оправив ему волосы и отерев лицо платком.

Так прошел час и другой, и время давно уже перешло за полночь, а Никодим все лежал; дыхание его оставалось еле заметным; лицо осунулось сразу, побледнело; холодный пот выступил на лбу; рот был полуоткрыт, а зубы крепко стиснуты.

...До утра два или три раза она, полуодетая, выходила из спальни, становилась на колени около Никодима, заботливо отирала холодный пот с его лба, согревала ему руки и дышала на веки, но он не приходил в сознание.

Утром, довольно рано, госпожа NN подошла к телефону, позвонила, назвала номер, но когда оттуда ответили, она быстро повесила трубку, вернулась к Никодиму, села около него на пол и, склонив свою голову к его лицу, сидела так весьма долго.

В течение дня пыталась она позвонить еще два или три, но, отказываясь каждый раз от своего намерения, возвращалась к Никодиму, опять склонялась над ним и говорила ему на ухо ласковые слова; иногда она сдерживала рыдания, поводя плечами.

Наконец, она решилась, вызвала кого-то по телефону и заговорила. Не называя своего собеседника по имени, она стала спрашивать, не знает ли тот, кто

такой ее случайный посетитель и просила взять Никодима из ее квартиры.

Через полчаса после разговора в ее квартире появились четверо молодых людей: трое так себе, в котелках, а четвертый в лощеном цилиндре, смуглый и с постоянной на почти негритянском лице улыбкой, от которой сверкали его белые крепкие зубы. Вежливо поклонившись госпоже NN, они подняли Никодима и осторожно вынесли его. А еще через полчаса к дому на Надеждинской подъехал в автомобиле господин восточного типа, крепкий, жилистый, и прошел в квартиру госпожи NN. Схватив ее за руку довольно неучтиво, он прошел с ней в будуар и начал какое-то объяснение. Говорил он громко, резко — она отвечала спокойно и настойчиво. Через четверть часа он покинул ее квартиру явно раздосадованный.

Никодим же не слышал, как его вынесли из квартиры госпожи NN и как привезли домой.

Он пришел в сознание спустя очень много времени после описанного события.

Очнувшись он на своей городской квартире. Глаза его открылись вдруг, и, лежа в широкой постели, он перед собою на серой стене, окаймленной золотым бордюром, первым увидел бледное световое пятно — разделенное на четырехугольники тенью от переплета окна — отражение солнца.

В комнате было тихо-тихо, и Никодиму показалось, что в квартире он только один. И еще долго, пока он думал в неподвижности, даже и малейший звук не нарушил тишины.

Думая, он старался припомнить, что случилось с ним после его отъезда из дома в лесу. История с десятью шкафами и то, как он появился в квартире госпожи NN, — вспомнились ему легко и просто, со всеми подробностями. Но о последующем остались весьма смутные воспоминания и даже скорее не воспоминания, а лишь ощущение чего-то происшедшего и оставшегося для него закрытым. Из смутного вдруг начинало выделяться лицо отца, склоненное над Никодимом, но не из комнаты, а из пустоты, и лицо госпожи NN, тоже над ним — одно и рядом с лицом отца; потом еще лица незнакомые, с шевелящимися без звуков губами. Кроме того, столик около кровати и на нем, по временам, серый мохнатый цилиндр и прислоненная к столику отцовская суковатая палка. Затем собственные Никодимовы слова: «Я хочу такой серый цилиндр. Купите мне, пожалуйста, или закажите у Вотье». Кто-то отвечал ему согласием — кажется, госпожа NN.

Но что же еще было? Было что-то несомненно. Будто не все он лежал в постели, а вставал уже, что-то делал, куда-то торопился.

Волнуясь от бессилия вспомнить хотя бы малую часть происшедшего, он приподнялся в кровати и обвел комнату медленным взглядом. В числе прочих вещей, занимавших свои знакомые места, он увидел новое: отцовскую вересовую палку у подоконника. «Значит, отец находится действительно здесь, — подумал Никодим, — и мои представления меня не обманывают». Едва он это подумал, как в комнату на цыпочках вошел отец и, увидев Никодима сидящим, вдруг бросился к нему стремительно. Стремительность движения к отцу совсем не шла, что Никодим особенно остро подметил тогда. Говорить отец ничего не мог от волнения, лицо его выражало тревогу (столь необыкновенное для него выражение) и похудело.

Никодим заговорил первым. Он спросил отца: «А серый цилиндр уже готов?»

Отец удивленно приподнял брови и даже испугался: ему показалось, что сын сошел с ума.

— Серый цилиндр?

— Ну да, серый цилиндр, который обещала купить мне госпожа NN.

В голосе Никодима прозвучала детская обида.

— Госпожа NN?!

— Ну да. Госпожа NN. Разве она здесь не была или ты ее не знаешь?

— Нет, я ее знаю. Она была здесь... Один раз...

— А где же она теперь?

— Она уехала куда-то.

— А куда уехала?

— Этого я не знаю. Да ты ляг, успокойся... я узнаю, куда она уехала, — сказал отец очень ласково и принялся укладывать Никодима обратно в постель.

Значит, не все в его воспоминаниях было правдой — серый цилиндр здесь, на столике около кровати, никогда не стоял? И, смущенный этим сомнением, Никодим прекратил разговор.

На другой день Никодим оправился настолько, что уже мог встать с постели. Входя в столовую, он столкнулся с отцом, и первым вопросом, обращенным к отцу, у Никодима было:

— Ну, папа, узнал ты, куда уехала госпожа NN?

Отец виновато взглянул на сына и сказал:

— Я забыл об этом.

— Так я сам узнаю, — ответил Никодим и направился было к выходу. Но отец остановил его словами: «Тебе еще нельзя на улицу», — и, взяв Никодима под руку, отвел его обратно в спальню.

Никодим не стал спорить и даже сказал: «Мне бы в деревню теперь хорошо, я там отдохну».

На другой день они выехали в имение. Всю дорогу Михаил Онуфриевич бережно смотрел за сыном, а когда тот заговаривал о своей болезни, старался отвести Никодима от такого разговора. Никодим же не замечал, что теряет нити и разговора и своих мыслей.

Лето подходило к концу. Уже много желтых листьев лежало на луговинах и дорожках; косили созревший овес и ходили в лес за грибами с большими корзинами.

Никодим больше сидел дома в спокойном кресле, за книгами; иногда с террасы, откинувшись в кресле назад, глядел подолгу в лес или за озеро. Отец почти все время находился при нем; в Михаиле Онуфриевиче многое сильно изменилось за последнее время: одевался он теперь по-иному — английский костюм, легкие ботинки, черная шляпа, круглая и мягкая, а по временам цилиндр, и трость, также черная, с золотом, при молчаливой фигуре, спокойной складке рта и похудевшем лице — таким представлялся его облик в те дни.

Никодим, тоже молчаливый и ушедший в себя, вспоминал все время только одно — госпожу NN. По временам он задавал себе вопрос о матери, но спросить о ней было не у кого: он знал, что с отцом не следовало даже пытаться заговорить об этом, а Евлалия и Валентин оставались в Петербурге, и на письмо Никодима об Евгении Александровне Евлалия ответила, что ей по-прежнему ничего не известно.

По временам выезжал старичок-доктор, говорил с Никодимом по несколько минут, ощупывал его пульс, заглядывал осторожно в глаза и со словами «Ничего, ничего! Скоро все пройдет — опять будете молодцом; это лишь последствия нервной горячки», — переходил в кабинет к Михаилу Онуфриевичу играть в шахматы. Никодим старался быть любезным с доктором, никогда ему не возражал и безразлично отпускал его.

Как-то наскучив самому себе своим вынужденным бездействием, Никодим вспомнил совет Якова Савельича разобраться в письмах матери. Одну минуту он колебался — ему все же казалось, что Яков Савельич не подумал, на какое неприятное дело он посылал тогда Никодима. Однако мысль, что в настоящее время только и можно питать надежду найти нужные следы в переписке матери — превозмогла, и Никодим, встав, направился в ее комнату.

Комната Евгении Александровны оставалась неприкосновенной с того самого времени, как исчезла сама Евгения Александровна. Даже пыль там редко убиралась. Полупущенные шторы позволяли проникать в нее слабому свету. Когда Никодим вошел туда, он явственно ощутил дуновение забытости и заброшенности, будто даже тления.

Откинув крышку бюро, за которым обыкновенно Евгения Александровна сидела с книгой или над письмом, Никодим попытался выдвинуть ящички, полагая, что свою переписку мать должна была хранить в них, но ящички оказались запертыми на ключ. Поискав ключи на бюро и не найдя их там, он зажег в комнате свет и принялся осматривать полочки, столики, этажерки и все те предметы, на которых ключи могли бы лежать или висеть. Наконец он нашел их между книгами на книжной полке и, подойдя к бюро, принялся открывать ящички.

Писем в ящиках было много; большая часть их, перевязанная шнурочками и ленточками, лежала в порядке, и Никодим, несмотря на принятое только что решение исполнить совет Якова Савельича, так и не посмел коснуться их; он лишь посмотрел каждую пачку сверху, по конвертам, и узнал несколько знакомых почерков: отца, тетушки Александры Александровны, покойной бабушки, детские письма свои, Евлалии и Валентина. Оказались, однако, между знакомыми письмами и незнакомые: особенно много было пачек, надписанных почерком с удлинненными буквами, вид которых напомнил Никодиму, что-то уже встречавшееся ему, — но что, он не мог восстановить в своей памяти. Подержав эти пачки в руках дольше, чем другие, он положил и их на прежнее место.

Только в самом крайнем ящичке, внизу, лежали неразобранные еще письма и с ними лежала небольшая книжечка, переплетенная в красный сафьян с золотой рамкой и буквой «Е» на переплете. Вероятно, это был дневник, или книга для записок, но Никодим не посмотрел и ее — он лишь раскрыл эту книгу там, где она была заложена листочком бумаги, и прочел на четвертой странице: «Иначе и быть не может: я давно должна бы понять это. Я должна, раз я решила так еще десять лет назад. И стоит ли думать, сомневаться?»

Это было написано матерью. Лоскуток же бумаги, служивший закладкой, оказался сложенной вчетверо запиской. И записка говорила следующее:

«Я вчера ждал Вас напрасно целых три часа. Не подумайте, что я хочу жаловаться Вам на неприятности столь долгого ожидания. Но, ради Бога, решайте вопрос скорее. К тому, что сказано, я могу прибавить лишь одно: *** знает Вашу историю, конечно, не в том виде и не с теми подробностями, с какими знаю я. Но для нее вопрос о моем друге решен окончательно, она упряма, когда принимает какое-либо решение. Итак, я жду Вас сегодня в 12 ночи над обрывом, у качели. Любовь к *** меня мучит, и, если Вы сегодня не будете — я застрелюсь. Это не шутка и не угроза — к сожалению, это необходимость. W».

Из записки Никодим ничего не понял. Но там, где я дважды ставлю три звездочки, он прочел имя госпожи NN, а прочитанное в книге напомнило ему сразу, то, что он подслушал от матери когда-то на огороде.

ГЛАВА XII

Предмет достойный удивления. —

Два господина в окне третьего этажа.

Мысли Никодима сразу приобрели особую прямолинейность. «Несомненно, — заключил он, — госпожа NN знает и господина, написавшего эту записку, и местопребывание мамы. Я должен поехать к ней

и поговорить. И затем пора сказать прямо, что я люблю госпожу NN».

В тот же день вечером Никодим заявил отцу, что собирается ехать в Петербург. Михаил Онуфриевич ответил: «Да, поезжай», — но все же спросил втихомолку доктора, захавшего на другой день, как тот думает. Доктор наморщил лоб, вторично прошел к Никодиму и, пощупав еще раз у него пульс, сказал отцу, что ничего — можно и даже полезно проехаться, чтобы освежить голову.

Еще садясь в вагон, Никодим припомнил тот самый серый цилиндр, что он видел в передней у госпожи NN, быстро подумал: «Без такого цилиндра к ней являться нельзя», — и тут же решил, по приезде в город, немедленно купить или заказать себе у Вотье подобную вещь...

В магазине такого цилиндра, какой Никодиму хотелось, не нашлось. Однако продавец любезно заявил, что подобный они возьмутся сделать на заказ, и, получив согласие Никодима, снял мерку, уже записал размер в книгу, и только тогда спросил: «А какой же вышины прикажете изготовить? И не пожелаете ли шапо-кляк?»

Никодим, склонившись над прилавком, ответил полупешотом: «Двенадцать вершков и, пожалуйста, шапо-кляк. Затем мне необходимо, чтобы пружина звенела в нем как можно явственнее».

Продавец сначала только отодвинулся, но затем вежливо и убедительно стал доказывать, что подобных уборов никто не носит и что невозможны они сами по себе. «Подумайте, говорил он: в вас росту и так не менее девяти вершков, если же прибавить еще двенадцать, то будет уже три аршина пять вершков». — Никодим настаивал на своем. Наконец, минут через десять, они сошлись на шести вершках, и Никодим, очень довольный, направился домой. Продавец же, проводив его до двери и посмотрев ему вслед, еще долго потом примеривал, прикидывал и покачивал головой.

По дороге, на Невском проспекте Никодим купил себе еще серое пальто и серые же перчатки, под цвет цилиндру.

Два дня прошли в томительном ожидании: Никодим никак не хотел идти на Надеждинскую без нового цилиндра. Лишь на третий день он подумал, что сперва можно сходить туда и запросто, чтобы узнать, здесь ли госпожа NN, если нет, то где она теперь может находиться. Младший дворник у ворот заявил ему, что госпожа NN уехала уже давно, но не мог сказать, когда и куда. Никодим прошел к старшему дворнику.

Тот, степенный сибиряк и, по-видимому, старовер (в дворницкой сильно пахло ладаном), достал из-за печки книгу и начал ее перелистывать. Никодим, смотря тоже в нее через дворниково плечо, первый нашел запись о госпоже NN: в книге стояло, что 20 июля госпожа NN выехала, не дав сведений.

— Выехали, значит, — сказал и дворник, — однако, если бы вы, господин, пожелали знать, куда, — добавил он, — то вернее всего вам обратиться к господину Лобачеву.

— А где этот господин Лобачев проживает? — спросил Никодим.

— Это нам неизвестно. Они, обыкновенно, в автомобиле приезжают. Однако, если вы адресок ваш оставите, то мы вам при первой возможности от Феоктиста Селиверстовича узнаем и сообщим. Они здесь, обыкновенно, по пятницам бывают, за квартирой присматривают. Хотя у нас все в порядке.

— Ну, что же делать, — сказал Никодим, — обождем вашего Феоктиста Селиверстовича.

С этими словами он записал дворнику на клочке бумаги свой адрес и поехал домой.

Был пока только четверг. Он решил обождать, все равно цилиндр еще не был готов. Но ни в пятницу, ни в субботу никто с Надеждинской не пришел, и Никодим в воскресенье утром сам собрался съездить туда опять. В то время, когда он одевался в передней, вошел отец. Расцеловавшись со стариком, Никодим сказал ему, что должен уехать по делу. Михаил Онуфриевич в ответ заявил, что он тоже не прочь поехать с ним, если не помешает, и хотя Никодим сначала подумал, что совсем ни к чему посвящать старика в это дело, все же сказал ему: «Поедем, я буду очень рад побыть с тобой».

При выходе из подъезда они столкнулись с дюжим молодцом, по виду подручным дворника. Никодим сперва не признал его. Тот тоже смотрел на Никодима, что-то соображая. В руках у молодца была записочка. Наконец, он снял шапку и спросил Никодима:

— Не вы ли будете, барин, Никодим Михайлович? Кажись, я не обознался.

— Да, это я.

— Мы младшие с Надеждинской будем. Так господин Лобачев приказали вам сообщить, что адрес барыни NN вы сегодня можете узнать у их управляющего.

— А где же этого управляющего найти и как его зовут?

— Не могу знать.

— Так за каким же шутком ты пришел сюда?

— А мы так, значит, полагали... что вам самим это ведомо.

— Вот тот-то и есть, что полагали.

Никодим обозлился. Дворник почесал в затылке.

— Может быть, старший ваш знает? — спросил Никодим.

Дворник молчал.

— Ну что же? — спросил Никодим.

— Уж вы простите меня, барин, — сказал наконец дворник, — а ежели хотите его отыскать, так поезжайте на Семеновскую площадь: они там сейчас в третьем этаже в растворенном окне чай с каким-то человеком пьют. Дома-то я номер не помню, а только вы управляющего сразу признаете: чернявый такой и с виду от других отметный.

— Послушай, — сказал Никодим, — ты дурака валяешь. Тебе известно, и кто управляющий и где он живет — я знаю. Просто тебя кто-то научил пороть эту чушь.

Но дворник принялся божиться, что никто его не учил, но что он сегодня ходил с управляющим по делу и оставил его на Семеновской площади. Что оставалось Никодиму? Он велел кучеру ехать на Семеновскую в надежде отыскать лобачевского управляющего.

По случаю праздничного дня на площади был утренний базар. Пахло луком и разными другими овощами, мясом; в воздухе стоял нестерпимый, раздражающий галдеж; мелькали разноцветные кофты баб и рубахи торговцев. Всюду ожесточенно спорили, торговались; дети пищали, куры под плетенками кудахтали, а тощие петухи пытались петь.

Оставив кучера с лошадьми у водопойной будки, Никодим и Михаил Онуфриевич среди этого гама обошли базарную половину площади, заглядывая в растворенные окна третьих этажей; но ничего подобного указанному дворником, то есть ни чернявого человека в компании с другим, ни вообще пьющих чай не увидели. Обойдя полукруг площади еще два раза, они через мост перешли на другую сторону. Здесь было растворено очень много окон во всех этажах и в окна смотрели люди по одному, и по двое, и по трое. Но все это было не то. Уже в раздражении Никодим забегал по дорожкам сквера, среди прогуливающих степенных людей и ребят, занятых играми, под надзором нянюшек и без надзора; уже старик без прежней покорности следовал за Никодимом и, дивясь

на сына и немного браня его, когда к ним подошли два господина. Один из них был довольно неопределенных свойств и носил котелок, а другой смуглый, почти негритянского типа, с приветливой улыбкой, не сходящей с толстых красных губ, одетый изысканно, имел на голове лохочный цилиндр.

Они появились действительно из окна третьего этажа. До прихода Никодима и Михаила Онуфриевича там сидели они с утра и пили чай, причем смуглый все время зорко посматривал на площадь, и было просто удивительно, как Никодим и Михаил Онуфриевич их не заметили. Взглянув на площадь раз, другой и третий, смуглый сказал своему собеседнику:

— Вот, кажется, те два господина, которые нас ищут.

Спустившись молча сию же минуту на площадь, они и направились к пришедшим. Смуглый, приподняв цилиндр, обратился к Никодиму:

— Осмеливаюсь вас спросить, не через господина ли Лобачева направлены вы сюда и не управляющего ли Феоктиста Селиверстовича изволите отыскивать?

— Да, через господина Лобачева.

Никодим припомнил, что управляющий должен был, по словам дворника, быть чернявым и спросил в свою очередь:

— Так это вы, кого я ищу?

— Имею честь быть тем, кого вы ищете.

Они помолчали.

— И вы можете мне сообщить адрес госпожи NN? — вновь спросил Никодим с заметной радостью в голосе.

— Да, могу. Госпожа NN в июле выехала в Исакогорку и живет там до сего времени. Исакогорка — это около Архангельска.

— А господина Лобачева адрес могу я узнать от вас?

— Нет! Адреса господина Лобачева я не имею возможности вам сообщить, — отрезал управляющий и притом так твердо, что переспрашивать об этом Никодиму не захотелось. Да и не понравился Никодиму его собеседник.

— Благодарю вас, — сказал Никодим напоследок и, кивнув головой, отвернулся, как бы давая тем понять, что разговаривать больше не о чем.

Но лобачевский управляющий снял цилиндр и ответил вслед Никодиму почтительный поклон.

Михаил Онуфриевич, пока шел разговор, стоял в стороне с озабоченным лицом и, видимо, не слышал, о чем говорили.

(Продолжение следует.)

БЛИЦ - ИНТЕРВЬЮ

Начиная с этой публикации «Юность» вводит новую рубрику «БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ».

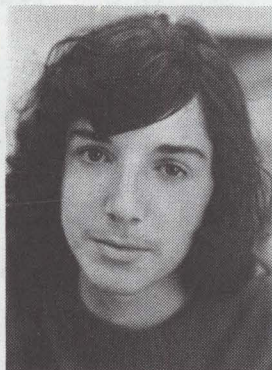
Итак, один вопрос перед публикацией к четырнадцатилетнему Арсению Замостьянову: ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС СТИХОСЛОЖЕНИЕ?

— Каждое человеческое действие непременно нарушает тишину. При этом вовсе не нужно считать последнюю незаслуженно обиженной такими действиями. То есть все мы — нарушители тишины. И каждый нарушает ее своим способом. У многих срываются голоса, многие фальшивят, некоторые связывают руки и затыкают рты другим, не давая им нарушить тишину. Но суд тишины неподкупен, и от него нельзя уклониться. Именно тишиной измеряется звук, именно от тишины произошло стихосложение. Но время движется, не ведая о тишине. И вновь, как и вчера, как и завтра, за окнами страшное, роковое время. И порой даже более страшное, чем роковое. Конечно, можно воспринимать и это как совершенно обычное, всегдашнее явление, но, смиряясь с течением времени, человек полностью теряет возможность нарушать тишину, а вместе с ней — и возможность действовать. Человек перестает быть соучастником современной ему исторической игры — будь она драмой со счастливым концом или трагедией с грудой трупов в финале.

С некоторых пор стихи помогают мне, как и многим другим людям, добросовестно нарушать тишину, внося в нее каждый раз что-то свое, оригинальное.

И все-таки тишина представляет нам возможность выразиться, прибавить к нулю нечто существенное, создать что-либо.

Так давайте же спешить нарушать тишину!



Арсений
ЗАМОСТЬЯНОВ

14 лет

Дебют в
«ЮНОСТИ»

Атлантида

Я хочу водолазом спуститься под черную воду.
На воде ничего не построишь, на ней — пустота.
И найти под водой останки былой Атлантиды,
Этой цивилизации древних, чей вымер народ.

Я пройду по уснувшим проспектам погибших народов
И в засохший фонтан современный свой брошу пятак.
Это было когда-нибудь или не было вовсе?
Как сей город зовется? Зовется он Санктъ-Петербургъ.

Здесь за окнами дома подводного любит Онегин,
И по улицам темным Раскольников бледный идет.
А в саду, у мольберта, на Пушкина смотрит Кипренский.
Хоть и умерло все, но мне дьявольски хочется жить!

Здесь и Гоголь сжигает журнал со своею поэмой.
И Суворов под знаменем гордым построил солдат.
Император на фоне дворца с голубыми глазами
Улыбаясь стоит, он так любит свой славный народ.

А Москва отвечает царю своим ласковым звоном.
Утонули глаза в золотых куполах, их — моря.
И караты безлюдные мчатся по Питерской к Яру,
И стоит у реки храм победы в великой войне.

Чьи веденья походкой летучей скользят по Арбату?
На Тверской же Толстой отдыхает — еще не в лаптях.
И глядит Ломоносов с холма и дивится пространству.
До чего же держава прекрасна, обильна, сильна!

Господа, до чего же хорошие люди родились!
Господа, до чего же прекрасно созвездье церковей!
Господа, до чего же мудра православная вера!
Господа, до чего же нас любит Господь и хранит.

Но пора уходить, но пора возвращаться на землю.
Это все утонуло или было утоплено все?
Это было утоплено. С камнем, привязанным к шее.
Это было предательски сброшено за борт, увы.

Это было безжалостно стерто и адской рукою!
Это было забыто нудами в нимбах святых.
Это не сберегли наши деды, простим их за это.
Это было утоплено в их же невинной крови.

Музыка Дебюсси

Где-то на границе тьмы и света,
Где песок и струны паутин.
Съеден черствый хлеб и песня спета.
Есть дорога, только нет пути.
Свет мой, луч мой, долети до смерти.
Смерть и небо, видимо, одно.
Этот свет, как будто привкус меди,
Брошенный в старинное вино.
Это рифмы бесконечных звуков.
Это неизбежно тороплив,
Как судьба — как радость, или разлука,
Чувств океанический наплыв.
Свет мой, луч мой, долети до края.
Край, за которым — ... тишина.
Верьте, если Музыка играет —
Жизнь еще не выпита до дна.

Жизнь еще не выпита до дна!

Княжество кровавое

1. Рюрик

Я — варяг, суровый Рюрик.
Утварь вот из серебра,
Вот изба стоит на курьих
Ножках, ветха и добра.
Усмиритель непокорных, пред Перуном не дрожа.
Слышишь, затрубили горны. Зреет радость грабежа.

Проливая реки крови,
Руки выкрасил в зарю.
Резче, яростней, суровей,
Я горю, горю, горю.

И, с тобою не увидясь, выбираю наугад.
Кто ты, Рюрик, гордый витязь,
мудрый князь, лихой пират?

2. Владимир

Познал я истинного Бога,
Недомолвившийся Перуну.
Меня вы не судите строго,
Я прошлое с ладони сдуну.

Познал я истинного Бога,
Его коснулся там, в купели.
Как целомудренно, глубоко
В соборе византийском пели.

Я сдунул прошлое с ладони.

Пора простить, пора проститься.
Сия купель, увы, бездонней,
Чем наших идолов глазницы.

☆☆☆

Сто лет назад еще была Россия.
Под Рождество след санный по Тверской
И бойкая торговля керосином,
Городовой в фуражке, со свистком.
И кутерьма московских улиц в праздник.
Стихи и пенье, хохот, мордобой.
Не разделен на белых и на красных,
Народ гудит веселою толпой.
Стремилась Русь сорвать с себя порфиру,
Ножи точили дюжие мослы...
О время! Сквозь века фотографируй
Мгновение рождественской Москвы.
И вот, под этот снег, не потревожив
Родился, никого и ничего,
И Осип Мандельштам — посланник Божий.
Сто лет назад, почти
под Рождество.

☆☆☆

Ночь наступила, я слышу дыхание Господне.
Слышу, как Завтра незримо выплывает в Сегодня.
И в вышине зажигается света зеленого конус.
Кажется, это исчезнет, как только я тихо дотронусь
Белой рукой до пространства, послушного безднам.
Но незаметно становится все бестелесным.
В тихой молитве деревья стоят на коленях.
Мало шагов остается, но, ночью окутан,
Я остаюсь на съеденье часам и минутам.
Много шагов остается, но пройдено больше.
Ночь наступила, я слышу дыхание Божье.
Время быстрее улетает на бешеной тройке,
Падает снег на истекшие буквы и строки.

☆☆☆

Я устал, как сгорбленный мулла —
Старый, после долгого моления,
Как копыта загнанного мула.
Что стекает со щеки? Смола?
Плачущий древесный орган зренья.
Или же свечу мою задудло?
И теперь стекает воск по ней?
Или это слезы по усопшим
В церкви Всех Скорбящих? Или лед
Тает? Или сотни голых пней
От лесов остались и от общин?
Деревянный плач смолистый лет
Сирота-природа. Серость буден
Смерть несет на крыльях цвета хаки,
Я стою, усталый, на распутье,
Как на бранном поле после драки.

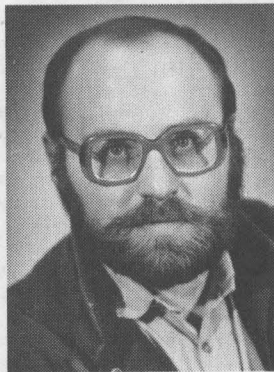
☆☆☆

Все, что много лет росло и крепло,
Все, на что молились я и ты,
Стало незаметной горсткой пепла,
Незаметной в царстве темноты.

Стало пеплом завтрашнего утра,
Стало пеплом зыбкого письма.
Вот свеча негромкая задута.
Тьма грядет, и побеждает тьма:

На столе трагический кофейник.
Я смотрю в пространство и молчу.
Ведь из пепла воскресает Феникс.
Есть надежда, зажигай свечу!

г. Москва



☆☆☆

Игорь
МЕЛАМЕД

В эту полночь, в эту вьюгу долго, долго снится мне,
как по замкнутому кругу бродят стрелки в тишине.

Как из плоского бутона две безумные пчелы
тяжело и монотонно время пить обречены.

Собирать с минуты влажной смертоносный свой нектар.
И накапливать протяжный, изнурительный удар.

☆☆☆

...И опять принимаю я к ней ненасытно.
Это музыки теплая, спелая мякоть.
Когда слушаю Шуберта — плакать не стыдно.
Когда слушаю Моцарта — стыдно не плакать.
В этой сказке, в ее тридевятиом модарстве,
позабыв о своем непробудном мытарстве,
моя бедная мама идет молодою,
и сидят мотыльки у нее на ладони.
Ты куда их несешь, моя бедная мама?
Ты сейчас пропадешь за наплывом тумана.
Эта музыка, словно пыльца мотылька,
упорхнувшего в недостижимые страны.
Твоя ноша для Моцарта слишком легка,
а для прочих — она непосильна и странна.
И опять ненасытно я к ней принимаю.
И она принимает ко мне ненасытно...
Остается стакан полутеплого чаю
в полутемном вагоне, где плакать не стыдно...

☆☆☆

Жизнь против стрелки часовой
к небытию стремится.
Там рыбы с крыльями со мной
и с плавниками птицы.
А я все младше под конец.
И в дождевом накрапе
так страшно молод мой отец
в нелепой черной шляпе.
По темным водам Стикса вплавь
вернется гость из рая,
во снах, опередивших явь,
подарки раздавая.
И наступают времена,
похожие на грезы,
где несмышленого меня
целуют прямо в слезы.
Все так туманно, мир так пуст.
И все потусторонней
прикосновенья чьих-то уст,
дыханий и ладоней...

☆☆☆

Что же мне делать, ангел мой уходящий,
крылья клонящий, сутки подряд не спящий?

Руки в крыла, в короткой ночи с тобою
были одно, теперь остаемся двое.

Ночь наступает долгая и чужая,
сея безумье, память уничтожая.

Плачу и знаю — в райских садах у Бога
ангелов милых равных тебе немного...

Плачу — не знаю, ангел ли в самом деле —
Пара лишь крыл усталых на смертном теле...

В тот день, двадцать два года назад, я Левитина спровоцировал, сказав, что он так лучезарно светится, что будет выглядеть в журнале провинциальным пай-мальчиком. Миша показал мне кулак. Тут-то наш фотокорр и щелкнул его, и этот снимок и пошел в журнал к моему интервью с Левитиным, в заголовок которого я ввел его слова: «Спектакль — монолог режиссера».

Этот кулак на страницах «Юности» дорого обошелся 22-летнему дипломнику ГИТИСа, пылкому одесситу, с первой попытки, казалось бы, овладевшему театральной Москвой, впечатлив ее жестокими играми сатиров на черном дворе, — так он определил для себя жанр спектакля «О том, как господин Мокинькотт от своих злосчастий избавился», поставленного им по пьесе Петера Вайса в Театре на Таганке. Но тогдашние педагоги ГИТИСа и иные ревнители театральной благопристойности затеяли долгий разбор — кому же этот юнец, каким-то образом ухвативший за хвост Удачу, кулак показывает?

И потянулись годы других жестоких игр, которые велись на театральном дворе и в которых обретал себя — от спектакля к спектаклю на различных сценах Москвы и Ленинграда — наш новоявленный дворовый Христос. Я решаюсь на подобное сравнение, вспомнив, как в былом интервью Левитин говорил мне: «Мокинькотт — уже незаурядная личность, раз в нем столько веры, наивности. Нет, я не хотел, чтобы Мокинькотт выглядел в спектакле идиотом. Он скорее дворовый Христос, которого бьют даже костыли, когда он пытается на них опереться». И тогда же,

отвечая на мой вопрос, с чего начинается режиссер, он говорил: «С умения драться за свой театр. До безумия. До конца».

И в этой безумной драке он победил — был в конце концов утвержден, хотя вступить в партию и не подумал, главным режиссером Московского театра «Эрмитаж». И постепенно собрал в этом театре актеров-единомышленников.

В похвальном слове обэриутам, которым пронизана предлагаемая публикация Михаила Левитина, есть и такая оценка: «С аристократическим достоинством презрели они происходящее рядом с ними». Собственно, так всегда стремился существовать и сам Левитин. И еще не столь давно это озадачивало не только чиновных монстров. Сказал же ему однажды в сердцах Юрий Петрович Любимов: «Вы не политик, Миша! Вы балетмейстер!» Ну а сегодня? В программке «Вечера в сумасшедшем доме» декларируется, что театр не намерен делать вид, что ему понятны изгаги истории, не намерен впрямь заигрывать с современностью и пророчествовать. И слова Даниила Хармса — как девиз театральных обэриутов из «Эрмитажа»: «Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет: больше не нужно ничего, сюда входит все настоящее».

Так будем ходить в «Эрмитаж», если хотим жить. Не спорю, есть, очевидно, в нашей реальности и не менее волшебные рецепты выживания, но, как говорили древние, каждому — свое.

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Часть I. Происхождение жанра

Есть что-то парализующее родное в сходстве судеб.

Ты спрашиваешь о происхождении жанра, мой друг Зерчанинов? И ждешь ответа. Два листа дал ты мне на происхождение жанра. Два листа на жанр, на театр, на жизнь.

Я хочу написать про попытку немногих мыслить и жить искусством.

И дом забыл, и улицу. Город помню — Москва. Душно, плоско, бело. Июль. К кому-то пришел, куда-то ввели, скептическим взглядом окинула в прихожей хозяйка квартиры — достоин ли? Не достоин. Посвящен? Нет, не посвящен.

Стекались медленно и как-то неохотно, тогда любое собрание становилось разговором. Этого и хотели, и страшились. Каждый мог оказаться если не явным, то потенциальным cogladiatorем.

Будет сделано сообщение... Что за сообщение? Научное. Тема? Хармс.

Ах, темы, темы, ах, стены непричастные квартир. Ждали итальянца. Какой разговор без иностранного эмиссара, все должны знать, что российская духовность не умерла, есть еще люди, у которых хватает смелости — подумать только! — читать вслух Даниила Хармса!

Все было так томно, что хотелось сбежать, над ухом жужжала то ли муха, то ли любопытство. Итальянец пришел. Им оказался профессор из Вероны Марио Марцадури. Он сел за маленький столик в центре комнаты рядом с докладчиком, фактически оккупировав и центр, и внимание. Сел, по-римски возложив голову на руку, как на подставку.

Я помню голову профессора Марцадури. Ужасно легкомысленная голова на подставке руки между докладчиком и нами, профессор был похож на коммивояжера, он был в порядке. Думал ли я, что последним в его жизни письмом будет письмо ко мне? В нем он выразит сожаление, что не может приехать на фестиваль «Обэриу в «Эрмитаж», пришлет мне книгу о человеке, так плотно занявшем наше с ним воображение, — Игоре Терентьеве.

Кто все-таки меня привел? Или это была дань уважения к собирателю хармсовских текстов, докладчику? Кажется, так.

Делом занимались важным. Делом важным с видом многозначительным. Причашенные. А в углу, как всегда, стараясь остаться незамеченным, сидел замечательный ученый Гаспаров. И всегда он сидит незаметно, и всегда с надеждой услышать что-то новое и стоящее. И страшно смущается, когда его преподносят обществу.

Это было бесконечно скучно, скучно навсегда. Летом, в переполненной разговорщиками комнате, созерцая сидящего посередине, полудреmlющего итальянца, слушать муру про обэриутов, да еще произнесенную тихо-тихо, то ли из уважения к теме, то ли по слабости связок. Таинственный лепет, тоска. Простите меня, милый докладчик, так нельзя, невыносимо шептать в духоте наукообразное и вообще невыносимо.

А главное было уже написано, лежало где-то недоступное, прикрытое идиотскими впереди исследованиями.

Почему я не нарушил, не сказал? Я просто ушел через час, провозжаемый завистливыми взглядами. Не учен, не умен.

Собрание помню как собрание худых и толстых, хозяйка с таинственным видом, все-таки она была явной осведомительницей, эта хозяйка, да и мы тоже ужасно хотели разоблачить эту тоску и разбежаться.

Покая не дает мне монах. Как возникло твоё предложение, Зерчанинов, возник вместе с ним и монах. Монах как монах. Подумаешь, монах в белых штанах! Веселый, молодой, на территории монастыря стоял его велосипед, он лихо вскакивал на него и уезжал. Ну и что? Монах, поступивший не по-божески, отогнавший собаку от монастырских ворот. Ну и что?

А монах, прячущий с оглядкой камень под рясу, не драгоценный, самый обыкновенный камень, от которого он ждет чего-то, обтирает рясой, мой монах, обэриутянина. Такого бы встретить. А он находился рядом, разворачивал камень, насмотревшись, заворачивал, оборачивался — не подглядывают ли?

Чудеса безнадежно разменены на пустяки, газеты, митинги.

Тишина, одиночество отданы на поругание. Нельзя заставить врасплох море, оно почти всегда в плену у людей, нельзя идти по дороге вдоль моря одному, чтобы со страхом не ждать какой-нибудь случайной встречи.

Человек рождается, чтобы побыть с миром наедине. И ему это не удается. Вот в чем беда.

А театр — светливое развлечение души, он уж совсем к тишине непричастен. Дзэк, дзэк, тук, тук, грр, грр, вот и вся музыка.

Если хочешь знать, мой друг, инспирировавший этот поток, я слово дал себе о театре не писать. Мне думать о нем неинтересно. Он просто мост на другую сторону жизни, идешь по мосту быстро-быстро, не останавливаясь, не оглядываясь. Сколько можно восторгаться и совершенствовать конструкцию моста? Просто доска поперек огромной лужи — и все.

Было у меня желание нарушить? Всегда, постоянно. Осуществилось ли? Нет. Слишком робок и осторожен, слишком благополучен.

Жажда разрушения — творческая жажда, так хотелось в разгар бала, на котором не бывал, чинного богатого ужина сдернуть скатерть со всеми тарелками, бокалами, чтобы она взлетела и лопнула звоном уже где-то внизу на мраморном полу. Чтобы глупость воплотилась, осуществилась бессмыслица. Театр — это осуществление бессмыслицы, право бессмыслицы считается искусством.

Но боишься тумачков, ударов, сдерживаешь себя, и на безрасудство не хватает времени, убирают посуду, снимают и, как неосуществленную, уносят скатерть.

Моя мама не знает, что она уже давно обэриутка. Жалуетсь мне по телефону, что тянет правую ногу и несколько раз на дно падает и бьется.

— Мама, возьми палку.

— Ты с ума сошел, хочешь меня старухой сделать раньше времени.

ИМГА, НАП САНАЯ Лих. ВТОРОПАХ Левитин

Она привыкла держать голову высоко, смотреть поверх улицы, опираясь на отца, но он умер, а она продолжает держать голову высоко и падает, падает. В ней живет уверенность, что он не даст ей упасть. Обэриутская уверенность.

— Значит, ты теперь русский? — спрашивает она меня растерянно, узнав, что крестился.

Да, мама, я — русский, а ты — обэриутка. Только нас не спасет это от любви друг к другу.

Ты дал мне идею написать о поисках жанра, мой друг Зерчанинов?

Жанр — это когда открываешь в знойный день все окна и двери комнаты, молишь о сквозняке, пусть залетит, что залетит, неожиданных гостей не бывает, природа ищет тебя так же, как и ты ее. Хватаю газету, швыряю, бью, гоняюсь за шмелем, он толстый и добродушный, зачем гнать его в форточку?

У нас в театре жил сверчок. В темноте, под лестницей. Единственное богатство наше тогда. Мы гордились сверчком. Казалось, он живет в темноте под лестницей со времен прежних хозяев «Эрмитажа» Станиславского, Эйзенштейна, Марджанова — что знаем мы о возрасте сверчков?

Он пел, и то ли в силу доверия, то ли действительно пение как-то действовало, хотелось думать, что выбрал он нас не случайно, мы успокаивались. Я всегда делал какую-то странную манипуляцию рукой в сторону сверчка — приветствовал?

Мы дома, — поет сверчок, — мы дома.

Но однажды я стоял с глупым человеком, не обэриутом, просто директором театра, до начала спектакля, до пуска зрителя, а он, глупый, не директор — сверчок — выполз. И с криком: я давно его ищу! — опустил директор ботинок на некрасивую натруженную спину сверчка. Так вот почему сверчок предпочитает петь в темноте — боится отпугнуть своей некрасивостью.

Я не успел удержать директора, не разгадал идиотичного желания, сказал только: «Разве вы не понимаете, что это конец?»

Мы прогнали его из нашего театра, он никогда не догадается, что причина была не в его типичном для номенклатурного придурка поступке, а в смерти сверчка. И не актеры наказали, а природа.

Театр существует порывами, догадками. Театр должен быть недопустимо безумен.

Итак, мы смотрим вокруг себя.

Что мы видим? Мир.

Итак, мы смотрим на сцену.

Что мы видим? Актера.

И все? А куда делся мир? Реальный — с его травой, водой, небом?

Неужели в этом непригодном для жизни помещении я увижу только фанерных человечков, произносящих слова, слова, слова? Ответьте — куда делся мир?

Актер должен заменить нам мир. Стать травой, водой,

небом. Если он на это решится. Ужасно жены мешают, непосвященные, они разъясят дома по вечерам, какой глупостью мы занимались днем. Поэтому главное — изолировать домашних.

Методично, каждую репетицию мы сводим друг друга с ума. Не приобретаем новых знаний, торопимся потерять старые. Мы должны знать, как пятью хлебами накормить целый народ, суметь преломить хлеба.

Актер уже побывал и лицедеем, и интеллектуалом, и низкопробным шутком, и просто интеллигентом, и животным, и существом, и самим собой.

Каким именем эпохе приходит блажь называться, такое и дает она актеру.

А он всего лишь отражение. Он отражает того, кто в него смотрит. О, эта целая история! Если ты уйдешь в себя, твои актеры исчезают. Поднимаешь глаза — их нет. Они отражают тебя, твоё детство, книги хорошие и плохие, страсти, встречи; они отражают жадность и благородство. В них смотрится все. Но чаще всего ты. Кто же ты? Принадлежишь ли ты миру? Способен стать частью его, всего лишь частью, принести в жертву твоё исключительно важное для тебя когда-то мокрого «Я»?

Потому что ты должен на огромной скорости терять и ловить в воздухе самого себя, менять обличья, не задумываясь, обстоятельства предлагаясь, как облака, небо, трава, повороты, повороты, движение, движение, и тогда актеры отражат твою реальность, а ей благодаря бесконечной творческой жизни удастся иногда стать реальностью мира. Ах, какую чушь наплел и не удастся доказать никому, что не чушь это вовсе, что пока ты сам не стал порывом, ничего вокруг тебя не изменится. Детство нужно, чтобы передать другим, любовь, чтобы другим, впечатление — другим. Я окрашиваю ваш мир моим и свожу вас с ума, простите.

Карнавал — это гибель, карнавал — это цель. Я стремлюсь к карнавалу, но его не настигаю, я не знаю, как это делается. Любое событие воплощается в карнавал, уверяю вас, великолепие возможно, скудная трапеза нищего — великолепие, а спящий бомж на набережной Сены, а встреча с призраком отца, а письма Пастернака, а «Белая овца» Хармса?

Гуляла белая овца
Блуждала белая овца.

Ах ты, Боже ж ты мой, вот и налетел на меня вихрь восторга, по словам Пушкина, не заменяющий вдохновения. Театр — это потоки хаоса, текущие по направлению к счастью, карнавальная лава, лава счастья, в которой мы уцелем навеки.

Я встретил на телеграфе Бирман, сбылась мечта, я встретил Бирман и сумел поздороваться с ней, я вложил в это всю силу признательности и души. Она узнала во мне своего.

— Слушайте, — сказала, — это возмутительно, я только что ехала из Подмоскovie в одном купе с драматургом Р.,

и не успела я отлучиться на минутку, как из моего чемоданчика пропали двадцать пять рублей. Чего еще ждать от этих юных гениев, пишущих о писюшках в коротких юбчонках, отдающихся всяким там ужасным физикам с чудовищными именами: Электрон, Протон. Мы, женщины, пережившие войну... — уже яростно и настойчиво кричала она в зале главного телеграфа, и люди откладывали бланки срочных и простых телеграмм, поворачивались, узнавали, принимали за Раневскую, поток проклятий на голову бездарным вороватым драматургам нарастал, я был оттеснен толпой женщин, переживших войну, и, уходя, оставил за собой митинг протеста, новую Жакерию, рожденную моим сердечным и почтительным «здравствуйте, как вы поживаете?».

Это обзериутство, это уже обзериутский театр.

В толстой вонючей книге о Беломорканале есть главка о концерте ансамбля песни и пляски Краснознаменного, данного для вождей и Вождя вождей. После особо старательных виртуозных фигур одного из танцоров вождь нахмурился, а когда повторилось, просто встал и ушел.

Расстроенный ансамбль собрался после концерта вокруг Ворошилова, и он объяснил загадочное поведение вождя: есть шутники и есть чудаки. Шутник — человек всем понятный, веселый, хочет пошутить, чтобы всем было весело, свой парень, а вот чудак... Этот фортеля выкидывает, чтобы только непохоже, только чтобы выпендриться.

Мне неизвестна судьба солиста ансамбля, но смысл ворошиловских слов таков.

Чудаки были обречены, восторгествовали веселые, понятные, дай им Бог преуспевания.

Но я создатель ансамбля чудаков, тех, кто не собирается поступать «хорошо», развлекать политиков, мы хотим жить по законам, нами самими над собой установленным.

Я смеюсь на похоронах. Чудовищно! На похоронах собственного деда, в первом ряду за гробом рядом с его дочкой, моей мамой-обзериуткой. Я давлюсь смехом, потому что труба неистово фальшивит, его труба все превращает в фальшь, нельзя идти с опущенной головой за гробом под звуки фальши. И я смеюсь, и я грешу, и в памяти всех людей без слуха навсегда останусь черствым равнодушным мальчиком, не любящим своего деда.

Это обзериутство. Неожиданное для самого субъекта проявление вышедшей из-под контроля воли.

Я готовлю актеров к незапланированному поступку. Их поведение нелогично, но увлекательно. Что их ведет? Причуды моей фантазии? Нет, судьба, неожиданно ловко вспоровшая брюхо обстоятельств. Человек до смешного не принадлежит себе. До трагичного не принадлежит.

Летит над нами Бог зимы,
Но кто же — мы?

Обзериуты видели смерть в конце тоннеля. Возможно, даже и свою собственную насильственную смерть, затевали игры с ней на все сокращающемся расстоянии, очень уж ерничали, погибая. У обзериутов люди умирают и воскресают, будто их выключили и включили. Смерть — факт неожиданный. Поэтому нелепый и смешной.

Могла ведь и не умереть, а умерла. Значит, так же внезапно может и воскреснуть. Все, не поддающееся объяснению, способно повториться.

Заболоцкий, тот вообще учился смирению у природы, считал участь человека не такой уж плохой, заручался дружбой камней, деревьев.

Обзериуты вообще не возмущались окружающим миром. Он их интересовал только как картинки. Каждое утро почти одни и те же, с небольшими изменениями к худшему, что подтверждало их реальность. Обзериуты иногда описывали эту картинку протокольно, без эмоций, как описывают в справочнике двигатель. Вникали они только в собственный внутренний мир. Он был им бесконечно интересен. В конце концов человеку доверены только его тело и душа, если он о ней догадывается.

Роза жила в моем доме, Витька — напротив. Розе было 25 лет, Витьке 12. Он подглядывал за ее приготовлением ко сну в бинокль.

— Боже, какое у нее тело, — рассказывал он мне. — Она ходит по комнате и любит себя собой.

Роза — вдова, ее мужа, портового грузчика, раздавил многопудовый тюк со стрелы экскаватора.

Я встречаю Розу каждый день, стараясь приветливо улыбаться, мне стыдно знаний, полученных от Витьки, я не могу смотреть на нее, а она ласкова, хочет знать о моих делах все, передает привет моей маме, обзериутке.

Витька продолжает смотреть в бинокль, моя мама-обзериутка, сообщает мне, что Роза очень-очень больна, у нее рак крови. Я встречаю Розу каждое утро, теперь я знаю от Витьки, что она прекрасна, от мамы, что у нее рак крови. Это знания обзериутские. Бесполезные знания. Их нельзя применить нигде, кроме театра.

Знаешь, Зерчанинов, почему обзериуты написали мало? Потому что написать мало и хорошо еще возможно, а вот хорошо и много...

Мы лежали рядом с монастырским пляжем в Одессе, как вдруг один из нас крикнул: смотри, монахи! Я поднял голову и увидел его, бегущего вибрирующе в гору по фуникулерной дорожке, ведущей к монастырю. Может быть, он напевал, пока бежал, подхватывая яреу. Но то, что он только что был здесь на пляже рядом с нами и остался незамеченным, удивляло. Я так и не увидел тела его под солнцем. Каким-то разрешенным бездельем казалось нам тогда монашество. «У-у, битюги здоровые», — говорили о монахах местные.

Монастырь на горе, цветы, благодать, ограда.

Перенос значения с основного на второстепенное — любимое обзериутское дело. Когда незначущее становится главным. Я все хочу доказать, что обзериутство не рождено обзериутами, оно в крови.

Сидел высоко на стремянке Юрский в спектакле «Беспокойная старость», долго ходили по его комнате матросы, делали обыск, не пошевелился профессор, сидел на стремянке, смотрел в одну точку, отвернувшись, долго-долго, но, когда они двинулись к двери, со страшной силой закричал: «Карандаш! Не смейте брать карандаш! Мне нужно работать!» Слетел со стремянки и с силой вытолкнул уже уходящих за дверь. Матросы были ошеломлены эксцентризмом.

Можно организовать пространство так, чтобы вошедший человек сразу почувствовал себя побежденным. Это делал эксцентрик Наполеон.

Отодвинул на большое расстояние от стола в глубь огромной комнаты какую-то мебель и предложил пришедшим на переговоры противникам туда сесть. Кажется, мебель еще и низенькой была.

Пространство может унижить. Все живо мыслью и страстью создателя. Говорят: какое эксцентрическое желание!

Значит, непредвиденное. Значит, его удовлетворить либо невозможно, либо необязательно. Посоветую тихонечко — удовлетворите. Позвольте себе сделать шаг в сторону. Там не тупик, а продолжение жизни.

Ну когда, когда найдется чудак, способный записать азбуку эксцентризма? Это будет азбука нашего с вами повседневного существования.

В пересказе любая жизнь нелепа, любая смерть. Можно было предотвратить... надо было поступить... мог бы не умереть, окажись рядом... Это очень-очень самонадеянно. Настоящие обзериуты смотрят на жизнь как на данность. Из реальных кусочков складывают своеобразнейшую мозаику, в реальное верят, им манипулируют.

Я назвал бы обзериутов людьми без воображения, ненавидящими научную фантастику, так называемый прогресс.

Прогресс в том, чтобы не менять удобное, не мешать Богу. Кожаный диван, слава Богу, уцелел — уже прогресс, на пианино поиграть — прогресс, а чтобы еще и женщина тебя любила — это уже полный безнадежный прогресс. Глядеть, как развешивается над тобой и летит тобой же запущенный в пространство змей искусства, — вот смысл. Они газет не читали, да вникните же — никогда газет не читали!

Согласны ли актеры вести такой опасный образ жизни? Не все и не сразу. Но посвященные согласны, обзериутство продлевает жизнь, ты начинаешь понимать, что у человека тысяча характеров, они сменяют друг друга, как маски.

Каждый из нас отличается своей тайной. Не стоит ее раскрывать, пусть тайной и останется. В спектакле мы создаем присутствие тайны в каждом, это и есть обзериутство. Интрига не в интриге — в самом человеке. Чего от него ждать, что дальше с таким будет?

Лучший театр на свете: раскрыть занавес, а там человек сидит и молчит про свое, так, какое-то одно легкое произвольное движение и сразу — закрыть занавес.

Мы начинаем спектакль с белого листа, даже имея пьесу, мы забываем ее. Тогда нас ждет увлекательное путешествие.

Я вынимаю сачком рыбок из аквариума, вуалехвосток золотых, переносу в другой, меняю воду, запускаю снова, корм

даю, самое рискованное — этот вот момент пересаживания, потеря среды, это я стараюсь делать ловко.

Ах, пусть несерьезно, только бы несерьезно, оставьте все эти склепы Монтекки и Капулетти, отношение к театру как к истории. Все великие пьесы — это просто роли, написанные для лжецов и комедиантов, но для любимых автором лжецов и потому — по заказу сердца. И тогда второе, инерционное сознание шевельнется в нас. Перестанем заглядывать в метрики и анкеты персонажей, городить всю эту чушь сплетен и исследований, а легонько постучим, и из заброшенного колодца к нам донесется обратный стук.

Все слишком серьезно, безнадежно серьезно. Вот Оффенбах, чем-то разгневанный, мелочами театральными, кассой, проносится в кабинет, а за ним врывается актер. «Жак, это невозможно, мне нечего петь, дай мне что-нибудь. Дай рондо».— «Рондо вам всем? — крипит Оффенбах. — Рондо захотелось? — И тут же к роялю, не теряя гнева, не теряя вдохновения. — Вот тебе рондо! Доволен? Возьми».

Так, на репетиции «Парижской жизни» мы разматывали существование, не забывая, что пьесы пишутся быстро, сильные впечатления воплощаются мгновенно, правда, в них можно долго-долго не верить, держать взаперти в столе.

Больница — гениальный полигон эксцентризма. Больница помогает разглядеть человека, об этом уже миллион раз написано, но как-то опять же со слишком серьезным отношением к себе и к жизни. Можно ли с этим что-то поделать? Не знаю.

А не надо ничего делать, главное — преждевременно не расставаться с жизнью.

Вот лежит твоё тело, и над ним проделывают всякие рискованные штуки, наблюдаешь, воображаешь себя кем хочешь — ты ведь себе не принадлежишь, а что же ты для другого, вот узнать бы. Какой-то китаец с чемоданчиком тыкал в меня зонд, хотел быстренько распознать, откуда, не переставая, хлещет кровь, но я не давался, извиваясь, как неуклюже пойманная рыба, а через два дня добровольно заглотнул гигантский шланг только потому, что меня страшно занимало полное невнимание ко мне, даже презрение похожего на белогвардейского кинематографического офицера профессора Сотникова. Не глядя, разговаривая с кем-то, он брезгливо и настойчиво проталкивал шланг в мое горло, в мою душу, и стало ясно, откуда идет кровь. Обзирательское мышление спасло меня, ни на секунду не потерял я из виду профессора. Его поведение не соответствовало трагизму ситуации, оно было занимательно. Эксцентрика — это резкий внезапный свет, сбивающий с ног всякую глупость.

Пушкин, Гоголь — эксцентрики, Чаплин. Эксцентрична дуэль у Черной речки маленького великого с высоким недостойным, эксцентрично поведение после дуэли тех, кто еще размышлял о правоте Дантеса. Вы скажете — неэксцентрично — подло, но разве это оценки, когда история уже косила на них взглядом, хрипела, готовилась переохать. Заблуждение, роковая ошибка — один из любимейших материалов эксцентризма.

После «Мокинопотта» на Таганке мне долго не давали работать и в Институте Курчатова предложили организовать студию. Студию буффонады. Хотелось продлить то реальное лицедейство, найденное в «Мокинопотте»! Идея первого спектакля придумывалась недолго.

Ремарк. «На западном фронте без перемен». Что может быть буффонней попытки вести человеческую обиденную жизнь в нечеловеческих условиях, делать вид, что ничего не происходит, например, олады печь в окопе под огнем? Ремарк ничего не придумал — что еще делать, как не спастись обзирательством?

Я гляжу в огромный телескоп эксцентризма на маленькие предметы, такой взгляд важен, чтобы очевидной стала непреходящая людская глупость.

Эксцентрика выявляет потенциальные возможности человека и уж наверняка его личную смелость. Появилась на моих занятиях маленькая женщина в спортивной форме. Она и старше всех была, и касательства к курчатовскому институту не имела — Мариэтта Чудакова, отчаянно смелый человек нашего литературоведения, вероятно, решила научиться у меня эксцентрическому мышлению, не догадываясь, что меня учили этому ее учителя!

Вечер памяти Маяковского, 64-й год, Октябрьский зал. 11 старух и я. В программе — Шкловский. До него все официально, скучно, торжественно. И вдруг — прыжок на сцену,

и лысый пожилой боксер, неудовлетворенный местоположением трибуны, вцепился в нее и с грохотом перетащил тяжеленную с одного края сцены на другой, справа налево, но почему-то, не удовлетворившись сделанным, на трибуну не взошел, а снял с себя часы, положил на нее, сам остался рядом с ней, задыхаясь, начал: «Я буду говорить о весне, я буду говорить о том, что сегодня умер Асеев».

Одиннадцать старух, я — и этот великий апологет эксцентризма. Фразы сталкивались, как бильярдные шары, и некоторые из них попадали в лузу. Схватка с жизнью, схватка с мыслью, успеть, успеть. Клоун всегда огорчен. Собственными возможностями. Они, как башмак, малы. Клоун терзается недоступным. Он лежит, как Енгибаров, лицом вниз, на опилках разбросавшись, обнимает мир с надеждой, что его заметит Бог сверху, и Бог замечает, и тогда он вскакивает и, благодарно приседая, весь в аплодисментах мчится за кулисы, растягивая трупы в разные стороны, как юбочку.

Ты не удовлетворен, мой друг Зерцанов? Тебе хотелось бы более сумасшедших свидетельств эксцентризма. Еще раз попасть впросак, как тогда, двадцать лет назад, после мистификации Рейна? Тебе ужасно хотелось верить его рассказу о том, что авангардисты устроили выставку в залах морга клиники Склифосовского, тогда всего можно было ожидать от сумасшедших попыток осуществиться несмотря ни на что, тебе очень хотелось верить Рейну, и ты потащил меня летом по Садовому кольцу, чтобы всю дорогу смеяться над собой, постучать в обитую жестью дверь, быть не впущенным первый раз и наконец обозленным служителем впущенным, чтобы ты мог удовлетворить свое любопытство, убедиться, что там за выставка. Это было очень смешно и грустно, нам так не хватало чудес.

Эксцентризм не участь болванов и сумасшедших, не психонство, а способ жить. Попытка выделиться есть болезнь самолюбия, удивлять постоянно — все равно что жаловаться на хроническое недомогание; настоящий эксцентризм — это песня. Прощай, эксцентрик, где ты — там спасение.

Когда меня ввели в бокс реанимации без всякой надежды, врач спросила (мне пожалось, лукаво): куда вас положить, направо или налево, — я воспринял это как грустную шутку и сказал: налево...

— Правильно! — воскликнула она облегченно. — На этой койке Марсель Марсо лежал, нам его прямо из Театра эстрады с вашей болезнью привезли...

Все стало ясно, я не умру, я не умру, пока буду лежать на койке Бипа.

Эксцентричен ли человек? О, он очень мил, затейливо претензионен. Занимается тысячей никому не нужных дел, в общем-то, переводя на клоунский язык, старается сохранить равновесие. А как важен, до чего важен!

Эксцентризм начинается с высоко над бездной натянутого каната. Но прочертить на земле черту и двигаться по ней, как по канату, тоже очень-очень трудно.

Я стараюсь выбить из-под актера все известные ему подпорки. Если он выйдет из положения, то вместе с ним и мы. Он делает шаг первым. Актер-эксцентрик соглашается на неизвестное, на шаг в темноту.

Формула эксцентризма проста, как глобус: переход из света во тьму, с твердого в топкое, взлет — провал, провал — взлет. Ничего между раем и адом, никаких ступенек, временное парение. Не надо обольщаться собственным опытом, он уже изжеван, не нужен. Но копить мастерство для парения стоит. Я Мартинсона помню. Вот эксцентрик! Настоящий обзиратель. С легкостью создавал ситуации. Говорили: «Мартинсон не мыслитель, не мыслитель!»

Ну не мыслитель Мартинсон!

Мне удалось подглядеть, как это делается. Прохожу по московскому двору в сумерках. Из подъезда почтенная дама с собачкой, за ними — Мартинсон. Вдруг как свистнет, собачка как залает, дама как вскрикнет, а он, старенький, сделал шаг в воздухе, перелетел через собачку буквально, и сам себе удовлетворенно: дура какая!

Ах, игра, игра, веселая игра нестарющей души.

Плятт в Москве, на паперти, молодой, знаменитый, мило-стынно просит. Завадскому сообщили. Мой учитель эксцентриком не был, представляю, как он, стораю от стыда, всем видом демонстрируя непричастность, прошел мимо Плятта, яростно шепча: «Слава, за мной, Слава, за мной». Плятт встал и виновато поплелся следом. Эксцентризмом — не выдумка, он — хлеб души.

Хочу пересказать своими словами стихотворение Заболоцкого, тогда станет ясно, что меня в обзирателях увлекает.

Лежит человек в траве, читает книгу, над ним мир цветов, растений. Он читает книгу о природе и размышляет о ней. А в это время происходит событие, которое краем глаза удастся ему разглядеть. Чертеж растения, рисунок в книге и то же самое растение, но живое, заметили друг друга и начали разглядывать. И пока человек лежал притихший, распятое в книге растение так потянулось к живому, что сердце человека потянулось навстречу ему. Это стихотворение о сострадании. Оно замешено на обэриутстве Заболоцкого, я лишаю это стихотворение музыки, той самой, что отличает живой цветок от изображения, я делаю это нарочно, чтобы сердце мое навсегда ушло от пересказа к музыке, я поступаю напряженно эксцентрично, я препарирую момент вдохновения и убеждаюсь: его нельзя убить, оно брызжет из-под пальцев тебе в лицо, оно делится собой.

— Да заходите, заходите, — говорил с украинским акцентом круглолицый, прижимая книгу к груди, — да что тут интересного, что тут для вас может быть интересного?

— А патриарх сюда отдыхать приезжает?

— Сюда. Но сейчас его нет. Он в Москве. Может, к кладбищу вас провести?

Мы были в то время не выше розовых кустов, растущих вдоль аллеи. Где мой монах-обэриутин? Я напрасно оглядывался, и камней под ногами достаточно, я напрасно оглядывался в поисках чуда.

— Что вы читаете?

— Это английский, — ответил он. — Мне в пятницу сдавать.

— А книг здесь много?

— Книг много, библиотека хорошая. Без книг, знаете, скучно, — вдруг, как-то глупо улыбаясь, сказал монах.

Так не хочется расставаться с миром, с его тайнами. Пусть они навсегда останутся тайнами, пусть, я хочу игры — не знаний, я хочу счастья игры.

А ты говоришь — «жанр», мой друг Зерчанинов. Оперетка — обэриу, просто обэриу в пяти частях. Как назвать? Жизнь в пяти частях, жизнь в двух? Спасительно слово «обэриу», в нем и сдвиг, и объем. А сдвиг и объем — это уже театр.

Я не настоящий обэриут, мой друг Зерчанинов, сознаюсь тебе. Разница между мной и обэриутами, как между Одессой и Петербургом. В Одессе салыные губы презрительно вытирают рукавом, в Петербурге стараются губ не засаливать. В Одессе не выдерживают и убивают сразу, в Петербурге, как известно, измучивая душу, готовятся к убийству. Здесь божки сидят по углам, как божки в грязных забегаловках, и сосредоточенно смотрят на тех, кто ест. Здесь затевается тишина и все из нее истекающее. Одесса же с ором выражается на улице, преследуя тишину.

Петербург — город, умудренный опытом безумия. Одесса же сошла с ума от возможностей и веселья. В Петербурге сумасшедшие сошлись, Одесса же обезумела от счастья. Главное желание Петербурга — чтобы его оставили в покое, отсюда ослепшие окна домов, могучие щекотки на дверях, порывы сырости из переулков; Одесса жаждет общения. Ее сумасшедшие назойливы и болтливы, не отличить от здоровых.

Но почему же столько лет петербургская литература определяет жизнь, когда одесская всего лишь экзотика? Может быть, человеку свойственно прежде всего жалеть себя?

Надо обзавестись привычками на случай, когда уже совсем нечего будет есть. Привычки — надежное прикрытие. Гимназист Олеша возвращался, не доходя до гимназии, если сбивался с волшебного счета — у каждого есть свой волшебный, все определяющий счет, — и попадал ногой не на ту клетку тротуара. Ничто не заставило бы его идти дальше. Это обэриутство.

Я всегда насильственно привожу число подсчитываемых в слове букв к четному, отбиваю счет ладонью, пальцами-утолщением, пальцами-утоплением, так обэриутство придает случайному форму, навязывает хаосу форму.

Обэриуты делятся привычками, как охотники трофеями, у каждого свой участок леса, они коллекционируют разное. Шахматная лихорадка, собирание марок — это тоже обэриутство, попытка систематизировать жизнь, придать ей смысл.

Алиса Порет, подруга Хармса, говорила мне, что он крестиками отмечал против фамилий в книжечке остроумие и неостроумие своих друзей, тех, кто неловким ответом разочаровал его.

Возможно, в Петербурге такая тоска, что обэриутство как форма жизни неизбежно. Обреченно встаешь, обреченно

идешь на работу, обреченно живешь. Ритуальный город, необходимо сверхдостоинство, чтобы терпеть и жить по-живому. Разница между Петербургом и Одессой, как между одетым и голым.

Осмыслить мир, осмыслить себя как мир. У меня нет личной любви к Хармсу, я не мог бы прикоснуться к нему, поцеловать, как Олешу, изображение его на фотографиях непостижимо, в родственники к нему не набиваюсь. Все-таки он был прежде всего рыцарь бедный, послушник, монах, но способный в перерывах между служением Прекрасной Даме на такие экстравагантные штучки, что диву даешься.

Порет говорила, что был преступлен. До конца жизни ясновидящая Алиса, подруга Хармса, считала его немножечко преступником: «Он ужасно возмутил меня, завел в подъезд, попросил стоять тихо, в руках какая-то нитка. Видим, старик идет, заметил что-то, наклонился поднять, оказалось — спичечный коробок, а нитка-то в руках Хармса, он и дернул, старик потерял равновесие, упал, Даниил Иванович рассмеялся. Я ужасно рассердилась: «Зачем вы это делаете, это же мальчишество!» Он вспыхнул весь: «Мне очень жаль, что вы оказались неспособны понять». Но больше таких штук при мне не проделывал. А спектакль в Доме книги, когда он всю детскую редакцию вызвал в зал с прозрачным потолком и заставил гадать, что это за пятна по стеклу расплзаются, все путались, высказывали предположения, пока Хармс не воскликнул возмущенно: «Боже мой! Неужели это Александр Иванович Введенский в доме, где создают стихи и сказки для детей, позволил себе заниматься любовью? Ну, да, конечно же, это он!»

Конечно, безобразие, толчки сознания, неудержимое желание сделать недозволенное, маленькие бунты каждый день, и с высоты цепкий взгляд Хармса на зрителей, взгляд, не упускающий мелочей. Он изучал человека в непредвиденных обстоятельствах.

Это еще одна из художественных привилегий обэриутов — написать человека, застигнутого врасплох. Настоящий театр. Как существуют публично люди, застигнутые врасплох. Или наедине с собой. Этим я готов заниматься всю жизнь.

Бессмысленно наблюдать, как люди играют в общепитие, притворяются. Жизнь бесконечно формальна, лжива, человек, как он есть, только наедине с собой, но надо быть вещью или Богом, чтобы наблюдать за ним. Мейерхольд вызывал в кабинет, прятался за штору, долго не выходил, с удовлетворением из-за шторы наблюдая, как осваивался гость, постепенно начинал недоумевать, заждавшись, ерзать, внутренне возмущаться, забывая цель прихода, и наконец становился собой.

Конечно, в этом есть что-то от естествоиспытателя, наблюдающего за кончиной бабочки, потерявшей последнюю пыльцу. Но в искусстве такая безжалостная пристальность возможна. Потом, художественно преломленная, она начинает способствовать состраданию, мы видим одиночество и беспомощность человека.

«Зимы холодное и ясное начало сегодня в дверь мою три раза постучало...»

И дальше видит Заболоцкий постепенное умирание ледяной реки, ее беспомощную попытку остановить смерть, протянутые к нему в немой мольбе руки, свою невозможность помочь, и, уже повернувшись спиной к трагедии, он чувствует, что «речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу». Здесь важнее всего слово «вероятно». И опять цитирую без музыки, в тоске о ней.

Почему обэриутов ставить легко и выгодно?

Мне позвонила одна эстрадная дива и по старой дружбе попросила:

— Слушай, сделай мне индивидуальность. Сапоги я уже купила.

Обэриуты — такие сапоги. Поставить сегодня обэриутов — это восполнить недостающую странность, а многим почему-то странность кажется признаком творческой личности. Но я, воспевающий странность, отвечаю вам: это необязательно и даже... опасно.

Классическое ясное мышление, не поколебленное ни временем, ни людьми, необходимо всегда, наивная романтика — всегда, ну, в силу каждого, кто как может, а то приезжает ко мне на своей машине один известный обэриутовед, а на крыше машины в корыте сад разбит, не деревья, но цветы растут. Это как удостоверение обэриутской личности. Смешные попытки исправить дело покупкой сапог.

Обэриуты писали в стол, не вербовали сторонников, никого не сводили с ума.

Да, научить эксцентрике могут, понять улицу способствуют, но заменить отсутствующий твой собственный мир — никогда. А сейчас обэриуты в моде, их как шлягеры ставят, ведь странно, странно же и на все сразу похоже. Абсурд.

Вот оно, вытягивающее из меня жилы слово, понятие философское, литературоведческое, только не театральное.

Блестящие пьесы, выпестованные в пробирках души, колдовские забавы, копошение во тьме, причем здесь яркий свет обэриутства, направленный прямо к нам в лицо? Фиксация действительности и измышления интеллекта. Зачем путаем? Обэриуты могли возникнуть только на нашей почве.

Отечественный кошмар облагораживаем западной философией? Мы же, в конце концов, не студенты Сорбонны, а люди улиц, где уже давно идет мусорная война.

Мы огрызаемся, огрызаемся, а они общаются, пусть острыми осколками фраз, но все же общаются, пусть демонстрируя не-ком-му-ни-ка-тив-ность, но общаются. В пьесах они из людей превращаются в носорогов, а мы остаемся, к сожалению, все теми же людьми, нас ничто не изменит. Метафора чужда обэриутам, метафора — тромб воображения, это сегодня уже ясно. Ею можно воспитывать в детских садах, где дети вообще не видят красок мира, учить метафору, как рисованию.

А обэриуты — это пустое пространство, текущее между пальцами. Это наша с вами улица, где один человек боится встретить другого.

Обэриутский момент: по Ярославскому шоссе весной, в наше небокадное время, между направленно мчащимися машинами толкает человек перед собой больничную койку на колесиках в сторону кладбища, на ней — в белом саване покойник.

Для Хармса в этом ничего предосудительного, больше шансов на воскрешение. Как привез к кладбищу мертвого, так может увезти домой живого. Главное — не придавать слишком большого значения. Но это для Хармса, а Введенский посадил Смерть на грудь, как большую куклу, и уговаривает не торопиться, у него какой-то роман со Смертью. Пытается покорить ее, как женщину. Введенский вообще бабник и мистик. Хотя какая тут мистика, просто отношение к смерти, как к женщине, удалось бы уговорить здесь, на земле, побаловаться, там уже возможно ничего не будет. Веселая тоска Введенского.

Как создавался «Вечер в сумасшедшем доме», не помню. Отказы играть, истерики, что образы не живые, тексты научные. Актеру нужен влажный текст, чтобы можно было его сосать, как губку, удовлетворить жажду, хотя бы губы смочить, а тут сухая, бедная, звонкая строка. Но насыщающая смыслом! Это начинали понимать уже позже. Когда появился зритель и стало ясно, что ему это нужно, он тайно хотел, но боялся про это самое главное говорить.

Люди все достойны уважения, потому что объединены одной общей участью. Понимая, что внезапно смертны, живут, и это смешно, и это трогательно, тут надо убедить актеров, чтобы, играя обэриутов, не старались быть странными, воспринимали обстоятельства как абсолютно реальные. Успокоить реальностью и одновременно взволновать тем, что реальность-то такая!

Никаких разговоров об абсурде, оставим их французам и импотентам. Жизнь, жизнь, жизнь. Причем наша, отечественная, крутая, неотвратимая, бестолковая, наши леса дремучие, потемки, поиски света.

Вот сюжет нашей жизни. В реальности невыносимо, в искусстве интересно. Их даже и убили-то последними, обэриутов. Кто они для убийц? Какие-то не переодетшиеся после представления клоуны.

Отношение улицы к шутовству презрительное. Толпа несерьезных людей не любит. А у обэриутов было пушкинское отношение к толпе. Их участь — быть в толпе убитыми или задушенными.

Я сильно толкаю их сейчас в сторону быта, жизни, будто совсем не было литературы, но литература в питерских миражах давно уже стала частью жизни, очень литературный город Петербург. Гной и статуи, кости на погосте и мрамор. Лязгающая зубами столица-блудница. Но как она озаряется днем улыбкой чахоточной, улыбкой человека, которому показалось, что он не умрет. Тень петербургской литературы лежит на нашей жизни, и ее не перешибет солнце одесской, потому что мы склонны верить мраку. Обэриутство — это

попытка мрака вышутить самого себя. Наконец-то заняться пустяками. А пустяки-то по морде, по морде! Нигде я не читал у обэриутов осуждения советской действительности, они не устаивали происходящее оценки. Иногда крестьянский сын Заболоцкий славил открывателей природы, иначе жить ему было неуютно. Но с аристократическим достоинством презрели они происходящее рядом с ними — от рождения своего до пули. Тут важнее было, что Пушкин жил, Гоголь, где бродили, по каким камушкам, в каких лавках сидели. Тоже ведь не сладко, а жили.

Известны анекдоты Хармса о Пушкине и Гоголе. Гоголя и Пушкина надо было придумать. Пока их не придумала толпа. Гоголь и Пушкин становились даунами, полудурками, так спасают свое, родное, выдавая за убогое.

Самый простой способ спастись — самоуничтожение. Подсовывая цензуре десять лет назад «Школу клоунов», первую композицию по Хармсу и, как говорили тогда, первое собрание Хармса в нашей стране, я над каждым текстом с тупой старательностью вывел: клоунада 1, клоунада 2. Так проще. Дуракам все можно, а если еще spectacle для детей... Я обещал поставить для детей. И вот вышел Хармс, спасибо детям, и были счастливы взрослые, и ничего не могло поделаться управление культуры с этим воплем счастья, вырвавшегося из груди маленького несчастливца театра.

Мы играли Хармса без тени его судьбы, нельзя проецировать задним числом уже тебе исторически известное на живое творчество, он ведь писал и оставлял исправлять на завтра, он не мог постоянно думать, каким будет это завтра, идиотское занятие для мужчин. Мы слишком много философствуем. Все, что написано, написано живыми. Я вообще был против тени судьбы на творчестве поэта, мало ли что нам стало известно после его смерти, но он-то сам о такой смерти не подозревал, жил все равно так полнокровно, дай Бог каждому. А мы мрачны и насуплены, хороним поэзию вместе с поэтом. Она рождалась в минуты жизни, и так репетировался Хармс.

Жить, как литераторы, — достойно, дружно, рассуждая о жизни при свечах, по-старинному, быть отмеченными даром дружбы, жить достойно.

А тайная-явная жизнь Введенского, а преступные наклонности Хармса скоро станут нам интересны не больше, чем пушкинские и гоголевские безобразия. Склоненная голова Хармса над Петербургом, как над шахматной доской...

Они писали в стол, сознательно, безнадежно, надолго. Хватало бы смелости театру ставить «в стол», не рассчитывая на успех, поросшая мхом театральная моя мысль, — все равно в порыве вспомнишь о зрителе, сожмется эффектное сердце, разглядишь возможности впечатления и начнешь его создавать. А высшее обэриутство — самозабвенно играть перед пустым залом. Наши лучшие спектакли были рассчитаны на нас самих, мы должны были насытиться ими сами, а то, что к столу подседело еще несколько человек, — их дело.

Геннадий Рождественский сказал мне о спектакле: «Не расстраивайтесь, что уходят, а если бы я один остался смотреть, вы что, считали бы, что сделали спектакль напрасно?»

Мало? Но это клиентов бывает мало, а так и одного, настоящего, достаточно.

У обэриутов полное отсутствие тоски по читателю. С равнодушием природы относятся они к славе. Вот так бы и нам. Тогда может возникнуть новая «Елка у Ивановых», «Елизавета Бам», «Старуха».

Из-под земли, с неба, с любой стороны все равно будут услышаны их голоса, не претендующие на признание. Страх, что забудут, — вот что такое тяга к славе, страх смерти.

Люди говорят мне, что я чего-то стою. Ну и что? А кто сказал людям, что они имеют право оценивать? Если только желание как-то ободрить.

Одно сплошное обэриу над миром, мой друг Зерчанинов, но если для душевного равновесия, то, конечно, еще что-то, еще что-то.

(Окончание следует)

Николай ФЕДОРЕНКО,

академик Итальянской академии
искусств (Флоренция)

МИР САЛЬВАДОРА ДАЛИ

Старинная поговорка гласит: всему начало — случай. Так и здесь — случай положил начало нашему знакомству.

В памяти всплывает Нью-Йорк шестидесятых годов.

— В приемной — гость. Желает видеть советского посла, — дежурно произнес секретарь по протокольным обязанностям.

— Как он представился?

— Бросил лишь, что Сальвадор Дали...

— Маэстро? Вы уверены? По какому поводу?

— Сказал, что имеет в виду объясниться лично с послом.

В приемной я увидел мужчину, сидевшего в кресле. Его невозможно было не узнать. Едва ли не каждый день мелькало лицо художника, смотревшего на вас со страниц журналов и газет. Экстравагантные, нафиксатуренные усы, вздернутые вверх закрученными концами. Сорочка — самой изысканной белизны. Галстук-бабочка, особенно раздражавший аборигенов дикого Запада. Отливающий лаком стек из красного дерева в правой руке.

— Добрый вечер, маэстро, рад вас видеть, но, право, теряюсь в догадках о мотивах, вынудивших вас... — начал я разговор, стараясь быть учтивым и приветливым, понимая, что порой надо быть важным, хотя намного важнее быть приятным. Кому-то принадлежит меткое наблюдение: шанс стучится лишь однажды, соблазны же звучат, как звонки на входной двери. Случается, что через всю жизнь человек проходит мимо себя самого.

— Мне не пришлось искать причины, чтобы обеспокоить вас столь неожиданным образом. Во мне безумствует мечта посетить Советский Союз и познакомиться с моим творчеством любителей живописи в вашей стране, — сказал Дали со смущенным извинением на гладком английском с легким испанским акцентом. И мне подумалось, что человек нередко носит в себе неизбывную тоску, как чей-то далекий голос.

— Интересная у вас идея... Она заслуживает внимания. Но дело в том, что в прерогативы постоянного представителя Советского Союза в ООН не входят вопросы двусторонних отношений с США, в том числе консульские обязанности. Это компетенция нашего посольства в Вашингтоне.

— Извините, я, собственно, не по поводу паспортных дел. Меня привело к вам желание посоветоваться. Тут не только мое личное желание. Моя супруга Галина Дмитриевна, русская по происхождению, живет в затворничестве. Жизнь у нее — одни серые будни. Лишь иногда грешит, включая живые телепередачи из зала заседания Совета Безопасности ООН. Это, так сказать, ее окно в большой мир.

— Она занимается международной политикой? Дипломатией?

В моем собеседнике вдруг проявилось некое умиление во зроре, смешанное с жалостливостью.

— Нет, нет, ее привлекает русский язык, на котором произносят речи советские дипломаты. Ей импонирует акцентировка, сам стиль, словом, лингвистические тонкости. Галина Дмитриевна положительно неумолима в своей настойчивости — посоветоваться в связи с нашей затеей именно с вами. Знаете, мудрые идеи приходят ко всем, но многие даже не замечают, что встречались с ними.

— Вы очень комплиментарны. Но ведь разговариваем мы

с вами не по-русски, а по-английски, у которого своя артикуляция...

Нетрудно было заметить изменившееся выражение лица собеседника, в котором были снисходительность и вызов.

— Верно говорят: одни опасаются худшего, другие — ожидают лучшего, — сказал он с экстравагантным оптимизмом.

Нет, Сальвадор Дали не тот человек, который дом начинает строить с крыши. Маэстро скорее напоминал ладью, которая получила пробоину и нуждается в ее заделке. И у него свое представление о человеческих взаимоотношениях.

— Мне хотелось бы больше узнать о ваших творческих принципах, поскольку до сих пор приходилось лишь читать в прессе...

— Пресса, пожалуй, не самый чистый источник. Она помешана на сенсационных слухах о Сальвадоре Дали, который как бы давно уже скучает по усмирительной рубашке. Быть может, и я здесь небезгрешен, не стану отрицать, мне порой нравится разыгрывать некоего шута, чтобы позабавить людей. И все же я должен сказать вам, что я не тот, что меня малюет пресса, я другой.

Верно человеку этому приходилось нередко попадать в «горячую воду». И он не хочет резать курицу, которая несет ему золотые яйца.

— Кстати, в одном сообщении говорится, что Сальвадор Дали в беседе с французскими журналистами заявил, будто все лето в Испании он будет занят фотографированием Бога...

— Причем, — подхватил собеседник, — поручение это я получил от одного американского музея, который готов заплатить художнику 150 тысяч долларов за фотографию Бога и картину размером пятнадцать ярдов. Правда, пришлось уклониться от названия музея, просто потому, что такого музея в природе нет, сказав, что фотографирование Бога является только вопросом умственного развития. Бог изобрел человека, а человек изобрел метрическую систему. В этой точке произошла их встреча. Таким образом, чтобы получить изображение Бога, нужно лишь сфотографировать совершенного человека с точным метром...

Нетрудно было понять, что Сальвадор Дали очень ловко вел игру. Не без причины один из журналистов назвал его «гением саморекламы».

Выступая однажды в Лондоне с лекцией, маэстро облачился не в профессорскую черную мантию и причудливый головной убор, а в скафандр водолаза. Гуляя как-то по улицам Нью-Йорка, водил на привязи муравьеда. К изумлению всех прикатил в Парижский университет на самом дорогом автомобиле «Роллс-ройс», салон которого был завален кочанами цветной капусты.

— На опыте я убедился, что люди признательны, когда их считают за дураков, — с удовольствием признавался мэтр.

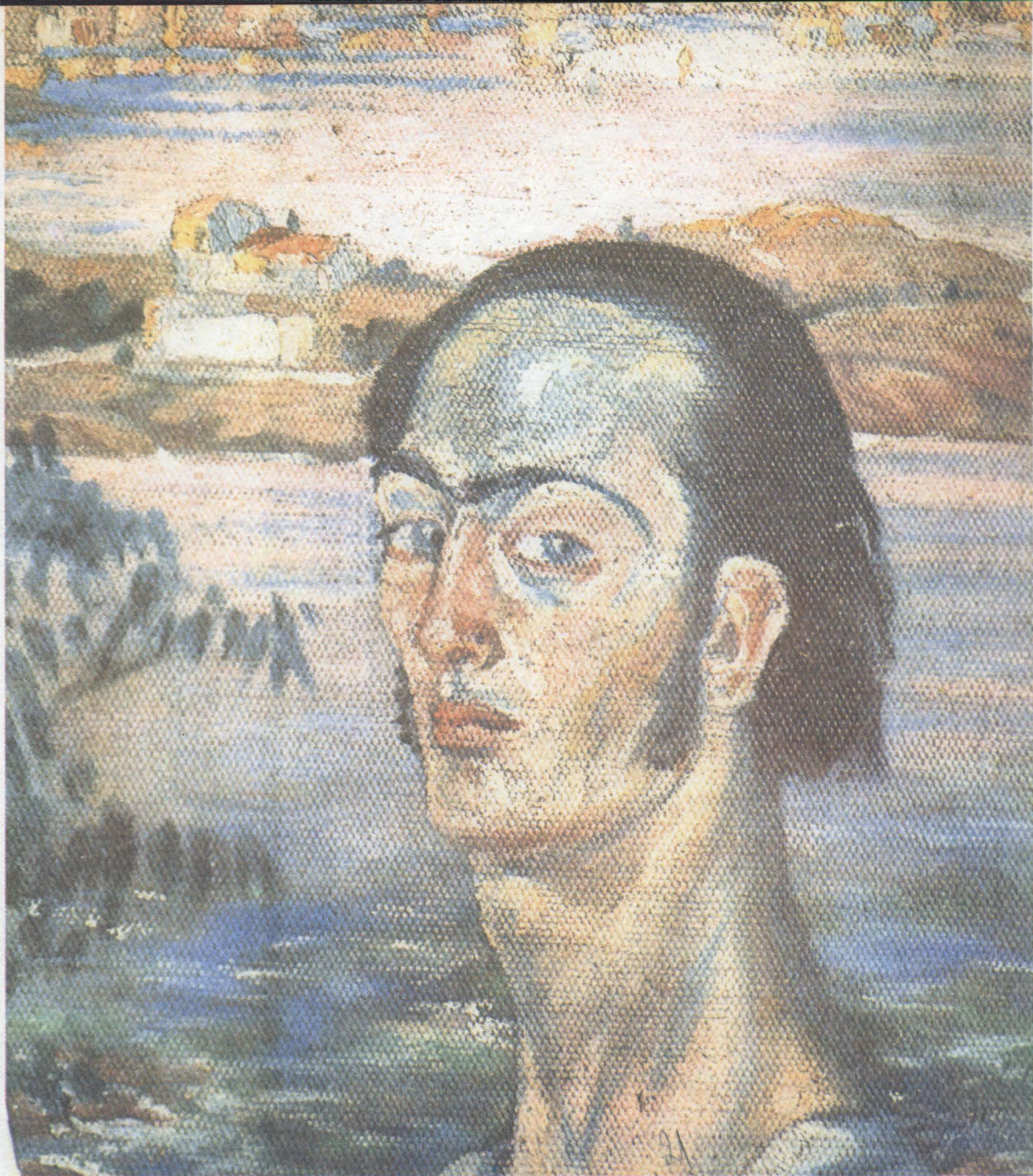
Дали часто выходил за пределы мыслимого. А главное, он не стеснялся открыто говорить о себе уничижительно и нелепительно, что бывает не так уж часто в жизни. «Я — шут, гистрион. Заметив, что мои идеи производят эффект, я их индустриализую», — довольно цинично вещал кумир поклонников современного скоморошества. Но не означало ли это, при всем том, что Дали высмеивал окружавшую его реальность — и великое, и ничтожное в людях, в общественной их жизни.

— Искусствоведы и критики, насколько могу судить, считают вас представителем, если не главой сюрреализма...

— Лишь в какой-то мере это соответствует действительности. Скорее, это можно отнести к прошлым моим, ранним увлечениям, когда я рассматривал сюрреализм как состояние ума, как философию. Это со мной случалось. Тут — интересы к подсознанию. Сюрреализм — это, в известной степени, сумма идей, мыслей, человеческих радостей и трагедий. Ведь каждый из нас — клетка, былинка огромного и непознанного мира.

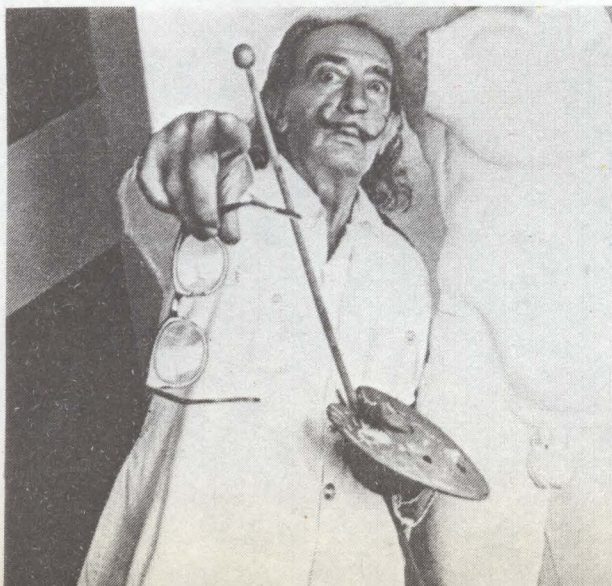
— Но ведь на сюрреалистических полотнах и изображают-ся полулюди, полуживотные, уроды, чудища...

— Известно, мне приходилось заявлять, что сюрреализм — это я сам. Даже в своем имени «Сальвадор», означающем «спаситель», как мне казалось, я пытался усмотреть свою миссию спасителя современного искусства. И свою живопись я рассматривал как вершину собственного сознания. Что касается мотивов абсурда и параноидальных выходов, то любая фантазия, ирреальные, волшебные видения не выходят за пределы существующего, того, что есть в действительности. Ничего сверх того, что есть или создано нашим воображением. Все это — общечеловеческие сны,



«Автопортрет с шеей Рафаэля». Холст, масло, 1923 г.

**Сальвадор
ДАЛИ**
1904—1989 гг.





«Девушка со спины, смотрящая в окно». Холст, масло. 1925 г.
«Ловля тунца». Холст, масло. 1967 г.



«Христос из Вальеса». Холст, масло, 1962 г.





«Carne de gallina Rinocerónica». Холст, масло. 1956 г.

людские вожделения и мечты. А что касается комплиментарности и возвеличивания, помните, у американского сатирика Амброза Бирса: если хотите, чтобы современники признавали вас великим, постарайтесь быть немного более великим, чем они.

— Однако другие художники обращают творческое усилие на отображение в своих полотнах не уродливого и безобразного, а прекрасного в жизни, — сказал я, заметив тотчас кислый привкус его разочарования.

— Позвольте, почему «другие художники»? Скажу вам откровенно, что для многих людей мои главные работы слишком мало известны. Почти все мои критики обходят молчанием, просто игнорируют мои полотна, написанные в реалистической манере. Почему-то их это не интересует, а может быть, они просто их не знают. Помните, когда у Гейне спросили, знает ли он писателя Шмидта, великий поэт ответил: писателя Шмидта я не знаю, но полагаю, что это нечто вроде писателя Мюллера, которого я тоже не знаю. Гейне, конечно, прав, иногда ведь можно в самом деле не заметить различных граней творчества у незнакомых нам людей. А ведь есть еще гармония контрастов.

И после небольшой остановки собеседник продолжал:

— Скажу вам без бахвальства, что по природе искусства, по сущности своей я был и останусь реалистом. Но писать только в традиционной манере для меня невозможно. Ибо это означало бы, что я повторяю других, толпчусь на месте. Реалист не может, не должен довольствоваться тем, что уже достигнуто и общеизвестно, что стало чем-то вроде стереотипа. Потому я убежден, что художник должен идти путем раскрепощения и реализации своей творческой и человеческой личности. Это прежде всего означает необходимость освобождения собственного своего образа мыслей от застывших догм и канонов, комплекса нерешительности и трусости.

На какое-то мгновение Дали остановился, кажется, лишь затем, чтобы подобрать нужные слова:

— Каждый человек, если в нем не угасло внутреннее горение, всегда таит в себе ощущение высоты. Относится это прежде всего к сфере искусства. Именно здесь создатель нового устремляется к высоте и тем вершинам, которые не видны другим, но живут в его воображении.

Все радости жизни — в творчестве. Творить — значит убивать смерть. Не думаю, однако, что среди людей ищущих я — одинокий путник.

— Кажется, у Честерфилда встречается такое выражение: кто сам говорит о своих достоинствах, тот смешон, но кто не сознает их — просто глуп.

— Разумеется, не следует ценить себя выше своих способностей, но и не нужно себя унижать.

На дворе уже вечер. Город снова заполнен огнями бледного неона и их отражением в застекленных фрамугах. Высвечиваются неоновые огни Кока-Колы, которая превратилась в символ, в новый национальный гимн Америки. А реклама Алказелцер стала оказывать, пожалуй, большее воздействие на английский язык, чем великий Шекспир.

— Как видите, жизнь иногда слишком скучна в своем прагматизме. Тягуче-однообразна и малопривлекательна. Прямо-таки все тривиально, как день, сменяющий ночь. Разве вульгарный этот конформизм не внушает отвращения? И невольно человек думает о нашем веке, как отдающем предпочтение утилитарной стороне бытия, — в сердцах сказал Дали.

О содержании нашей беседы с художником я, разумеется, тотчас информировал Москву, поддержав идею Сальвадора Дали о поездке в Советский Союз и организации выставки его картин. И вот — долгожданный ответ: по мнению компетентных лиц, приглашение художника признано «нецелесообразным». Без всяких подробностей, никакой аргументации, никаких объяснений. Бездушно-бюрократическая отписка. Единственное командное слово — «нецелесообразно». Было ясно, что наши ортодоксы «не рождены, чтоб Кафку сделать былью»...

Сальвадор Дали, которому я не «запудривал мозги», разумеется, мною был информирован об ответе из Москвы. Но, к моему удивлению, воспринял он эту весть совершенно спокойно. Видно, за время долгого ожидания ответа он успел передумать многое. Отрадно было, что негативный ответ не поставил между нами забора. Напротив, здесь сказался, видно, «комплекс превосходства».

— Мне хотелось бы пригласить вас провести с нами вечер. Галина Дмитриевна очень просила меня непременно познакомиться ее с вами, — обратился ко мне художник, соблюдавший катехизис резонов и хороших манер.

Мы встретились в ресторане «Сант Риджис», находящемся в центре Нью-Йорка.

— Рад с вами познакомиться, хотя знаю вас уже давно благодаря американскому телевидению, — сказала Галина Дмитриевна, подавая мне свою руку с той непринужденностью, которая считается аристократической простотой. И тут же заговорила о том, как нелегко в этом шумном городе выбрать свободный час, чтобы отвести душу в интересное общество.

Галина Дмитриевна оказалась человеком разговорчивым, но довольно негладки у нее были словесные выражения. Какой-то полуэмигрантский русский язык, в котором нередко переплетались иноязычные слова — то французские, то английские, а то и испанские. Она оказалась старше Дали на двенадцать лет, но бодрости не теряла. Вскоре она как бы между делом посвятила меня в свою биографию. Так обыкновенно делают русские. Прежним ее мужем был знаменитый поэт Поль Элюар, от брака с которым у нее осталась дочь.

Художник испытывал к Галлэ, как он ее обычно называл, необыкновенную привязанность. Об этом убедительнее всего свидетельствуют его полотна. Она на них — в самых разных позах и видах. Едва ли не все герои сюрреалистических картин Дали получили одно лицо — лицо его избранницы.

— Образ Галлэ, — сказал как-то художник, — это не просто изображение одной женщины. В нем — обаяние и женская непостижимость, загадочность души русской. Образ, много говорящий не только в наш век.

— Но ведь если внимательно всмотреться, то на вашем полотне даже сам Христос с лицом...

— Верно, художник имеет право на собственное воображение. Галлэ — женщина мифологическая, а разве было бы лучше написать Христа с безобразным лицом? Тогда меня подвергли бы критике за богохульство. Все это, конечно, условность. Никто ведь достоверно не знает, какое было лицо у Сына Человеческого. Хорошо известно, что он в разные эпохи воссоздавался в искусстве неодинаково. В известной мере можно говорить, что сколько было богомазов, столько и образов Христа.

— Все же существует какой-то стереотип, каноническое изображение, утвердившееся самой христианской легендой?

— Каждый человек, тем более художник, наделенный воображением, вправе создавать свой образ Спасителя. Божество — это собственное наше представление. Одни рисуют Христа с венком терний на голове, другие изображают его великомучеником, страдальцем, распятым на кресте. А мне воображение подарило облик привлекательный. Но разве в вашем сознании или мечтах не существует собственный ваш идеал, нечто божественное, скажем, в образе пленительного создания? — произнес Дали, в облике которого, как мне показалось, было что-то мессианское, пророческое.

— Ну, коммент, как говорят дипломаты...

— Это, кажется, можно интерпретировать, как резервирую за собой право не отвечать на ваш провоцирующий вопрос. Не так ли? — спросил маэстро.

— Вы обладаете завидной проницательностью.

— Художник, по моему убеждению, должен ставить перед собой задачу невозможного и, не щадя сил своих, стремиться к ее решению. И вот само движение к чему-то недостижимому может навести его на что-то новое, небывалое, невероятное. Возможно, мне еще не удалось найти то, что ищу, то, что очень смутно иногда возникает передо мной. Но я продолжаю искать, отдаю этому максимум своих сил, всего себя. Меня не разочаровывают неудачи и ошибки.

— Линкольну принадлежат слова: мой жизненный опыт убедил меня, что не имеющие ошибок и недостатков имеют очень мало достоинств. Разве вы не считаете вашей творческой удачей «Текущие часы», жидкие часы, изображающие плывущее, тающее или расплавленное время? Либо полотно «Тайная вечеря», которое вы сами рассматриваете как образец реалистического искусства?

— Добавьте еще две картины: «Корзина с хлебом» и «Сидящая девушка». Но ведь и эти работы далеко не всеми признаются, не у всех вызывают восторг: одни воздают хвалу, а другие в такой же мере хулу.

— В свое время Лев Толстой обращал внимание на то, как удивительно свойство самоуверенности: какими бы ни были способности человека — ума, учености, всяких дарований, сердца даже, — если человек самоуверен и самодоволен, все эти качества становятся недостатками.

— Самая болезненная рана, гласит индийская пословица,

та, которая никогда не заживает. И мы так же хорошо знаем, что преступление и наказание растут на одном стебле. Именно на стыке этих противоречивых явлений художник ищет верное решение. Не просто это, очень не просто, когда рвутся нити, стучит в висках, теряется ритм мысли, когда человек готов впасть в отчаяние. Помните, в «Гамлете»: «Порвалась дней связующая нить, как мне обрывки их соединить?»

— И вы предаетесь власти воображения. Она бывает заразительнейшей. Воздействует на зрителя, и он поддается магии фантазии.

— Не я здесь первый и, конечно же, не последний. Многие восходят к гениям классической литературы. Вспомним сочинения Достоевского, Гоголя, а теперь и Булгакова, произведения которого приобрели популярность на Западе, особенно благодаря публикации «Мастера и Маргариты». Случайно ли бессмертный Гоголь обращался к миру потусторонних явлений, столько внимания он отдал разным духам в образах чистых и нечистых сил — дьявольских наваждений, чертей, летающих ведьм с метлой и многого другого. Здесь все происходит на грани реального и фантастического. Что же удивительного в том, что художники наших дней прибегают к сюжетам христианской истории и легендам, обращаются к сюжету столь прискорбной судьбы Христа? Мотивы эти волновали людей, в том числе художников, на протяжении веков со времени нашего летоисчисления. Они не оставляли равнодушными всех, кто наделен природой сопереживать, испытывать милосердие, сострадание. Тревожит все это и меня. Неисчерпаемы эти сюжеты. Каждая эпоха рождала свое восприятие далеких этих событий. Свое отношение к давно минувшему, но все еще столь памятного, продолжающему жить в сознании людей. Даже если это напоминает изгнание души с проклятиями.

— Обращение к миру сил потусторонних характерно не только для творчества художников западного мира. Извините, что позволяю себе перенестись в стихию Крайнего Востока, но и там, например, в Китае, мы встречаем выдающихся писателей, которые создали неумирающие произведения в этом жанре. Достаточно, пожалуй, назвать в этой связи имя знаменитого китайского писателя Пу Сунлина, известного под псевдонимом Ляо Чжай (XVII—XVIII вв.), который талантливо отобразил в своих произведениях мир потусторонних сил, в знаменитых новеллах «Лисьи чары», «Монахи волшебники», «Рассказах о людях необычайных» он изобразил ту стихию человеческого окружения, которая остается незримой и необъяснимой с позиции современного мироздания, — счел возможным я заметить со своей стороны лишь для того, чтобы напомнить о существовании не только европейского искусства слова.

— У меня нет сомнений в том, что мотивы художественного воображения представляются общечеловеческими. И ваш пример лишь укрепляет меня в таком убеждении. При этом, однако, независимо от национальной принадлежности каждый творец остается самобытным. Он имеет свой голос. Если скажем: этот напоминает того-то — все кончено. Большого же мастера узнают и без подписи. Допустимо говорить о близости художников, об их родстве, хотя они возникают в разных национальных и социальных условиях — на Западе или Востоке. Само по себе интересно то, что они как бы заглядывают в потусторонний мир через «край ада».

Шло время. Занятые собственными делами и каждодневной суетой, мы редко встречались с Сальвадором Дали, скорее, случайно — то на каком-либо приеме, а то и во время заседаний в ООН. Однажды мне позвонили устроители большого благотворительного бала и сообщили, что Сальвадор Дали выразил желание быть в обществе советского посла за одним столиком, который он уже предварительно заказал. Мне показалось это приглашение интересным, и я согласился, тем более вечер, о котором шла речь, не был у меня занят.

В роскошном ресторане самой знаменитой гостиницы «Волдорф Астория» собрался весь высший свет Нью-Йорка. Знаменитости делового мира, правительственные вельможи, ученые, театральные звезды. Среди огромного скопления гостей, сидевших за столиками под ярким светом хрустальных люстр, я вскоре увидел маэстро, осажденного толпой фотографов и журналистов. Не успел я приблизиться к Сальвадору Дали, как плотное кольцо окружавших разомкнулось, и вооруженные до зубов камерами и фотокорреспонденты тотчас навели свои аппараты, как хищники на жертву, и приступили к обстрелу нас, пока маэстро не сделал магический знак рукой. И сразу же юпитеры погасли, прекратились

вспышки, толпа быстро растворялась. Но Дали успел позвать одного из фоторепортеров и попросил его прислать снимок на память. На следующий день я получил несколько фотоснимков, которые хранятся в моем архиве. А через неделю мне прислали нью-йоркский рекламный журнал «Вэа», на обложке которого был помещен крупный снимок столика, за которым мы сидели с Сальвадором Дали.

Помните, во время одной из телевизионных передач в Нью-Йорке, которая привлекала миллионы зрителей и которую вел знаменитый Мевр Гриффин, произошел любопытный диалог с Дали. Вот магнитофонная запись, которая сохранилась в моем архиве:

— Кого вы, маэстро, считаете самым талантливым художником в мире нашего времени? — спросил Мевр Гриффин.

— Себя! — выпалил Сальвадор Дали, ко всеобщему изумлению.

— А Пикассо?

— Он тоже художник и тоже из Испании...

— Верите ли вы в чье-либо бессмертие? — поинтересовался Мевр Гриффин.

— Да, в свое собственное, — моментально ответил Сальвадор Дали, выражая дух вызова и противоречивости.

— Вы имеете в виду свои произведения? — уточнил Мевр Гриффин, желая склонить собеседника играть открытыми картами.

— И произведения, и, конечно же, себя лично!

Нет, Сальвадор Дали явно не желал, чтобы его жизнь прошла как бы в сослагательном наклонении.

— Не совсем вас понимаю, маэстро, как можно больше срока продлить себе годы? Не слишком ли это много?

— Слишком много для тех, кто имеет слишком мало. Мне открылась недавно тайна бессмертия человека... Это вселяет веру... — обронил многозначительно Сальвадор Дали.

Как тут не вспомнить слова французского сатирика Раймона Девоса, сказавшего: «Я верю в бессмертие, но опасаясь, что умру до того, как его постигну».

— Непостижимо... Неужели вы действительно... — пытался что-то изречь растерянный Мевр Гриффин. — Это уже за пределами автобиографии, тут какая-то автодушевность.

— Как вам угодно... Убедитесь сами со временем, если доживете, — невозмутимо произнес Сальвадор Дали, прикоснувшись пальцами к своим вызывающе вздернутым усам.

Теперь, воскрешая встречи с Дали, я понимаю, как трудно было отделаться от собственных ортодоксальных взглядов, от неспособности шире смотреть и анализировать художественный процесс в западных странах, хотя именно мы тогда более всех проповедовали объективный подход. Нам удобнее было ограничить все двумя цветами — черным и белым, при оценке и своего, и чужого.

С большим промедлением, не делаящим нам чести, лишь в 1988 году в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина была устроена наконец первая выставка графики Сальвадора Дали. Всего лишь графики. На большее мы оказались неспособны. Да и то без участия самого автора. Москве, куда художник так стремился, не удалось его увидеть при жизни, из которой он ушел вслед за Пикассо и Шагалом.

Тел.: 9723467 факс: 9726250



ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ

Подражание Батыраю *

☆☆☆

Начертал Ликург:

«Когда

Старый муж повинен в том,
Что не может от него
Забеременеть жена,

Он обязан привести
Юного спартанца в дом
И отцом себя признать
Девять месяцев спустя».

☆☆☆

Царь библейский Соломон
«Песню Песней» сочинил,
И воспел он в ней любовь
К смуглотелой Суламифь.

И в Божественный Завет
Эта Песня включена,
Хоть о Боге в ней самой
Нет и слова одного.

☆☆☆

«Если Страшного Суда
Должен завтра грянуть срок,
Что нам делать, Магомет?»
И пророк в ответ сказал:

«Если Страшного Суда
Должен завтра грянуть срок,
Ныне каждый, — говорю, —
Дерево посадит пусть».

☆☆☆

И женился Магомет
На богатой Хадиже,
И была она его
Старше на пятнадцать лет.

А когда он в жены взял
Молодую Аишу,
Ревность мучила ее
Лишь к покойной Хадиже.

☆☆☆

Двадцать пять мятежных лет
Шла Кавказская война,
Душ погубленных не счесть
По обеим сторонам.

* Знаменитый даргинский поэт, рожденный в пушкинскую пору.

Но когда б не та война
И не доблесть Шамиля,
Муза русская, клянусь,
Оказалась бы бедней.

☆☆☆

Безымянная вчера,
Став властительницей вдруг,
Мода правит, молода,
Новизна — ее заман.

И пускай ей старики
Не желают присягать,
Больше у нее рабов,
Чем у Рима древних лет.

☆☆☆

Грудь у ласточки бела,
И черна ее спина,
Словно негр прильнул к спине
Белой женщины навек.

Ласточка не потому ль
В белокожую страну
Прилетает,
чтоб затем
В Африку вернуться вновь?

☆☆☆

Не беда, когда вода —
Между двух держав рубеж,
А беда, когда вражда
Между двух народов — меч.

Не беда, когда в огне
Клятва писчая сгорит,
А беда, когда в стране
Вспыхнет рознь между племен.

☆☆☆

Если бы Владимир-князь
Из предложенных ему
Трех религий мировых
Мусульманство бы избрал,

То теперь пять раз на дию
И в Кремле звучал намаз,
А Распутин Валентин
Был обрезан, как Чингиз.

☆☆☆

Слово вольное казнить
Самодержец приказал,
Но, призвавший палача,
Прозорливым не был он.

Слово вольное казнить
Самодержец приказал,
Но для подданных оно
Слаще сделалось вдвойне.

☆☆☆

Вероломна Русь,
она,
Аллилуйю затянув,
Государей и вождей
Возводила на престол.

И анафеме легко
Предавала всякий раз
Государей и вождей,
Возведенных на престол.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ДЕЛОВОЕ ЗРЕНИЕ!

ШБ

ЕНК

ЫЕНШ

БЫНКМ

И Н Ш М Ы К

Ш И Н К Б Ы

К Н Ш М Б Ы И



МЕЖБАНКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

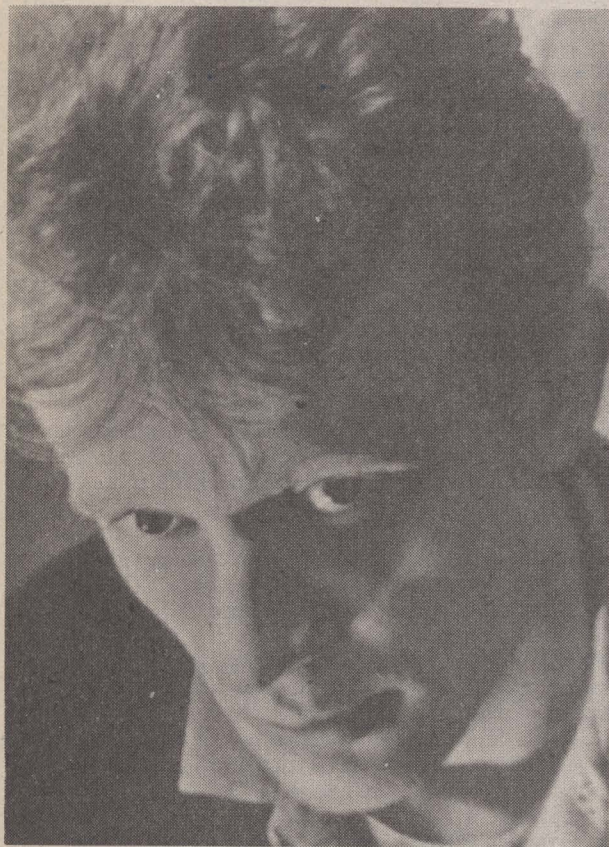
МЕНАТЕП

FINANCIAL GROUP

Кир БУЛЫЧЕВ

ЛЮБИМЕЦ

Рассказ



Я точно помню, что увидел ее впервые в пятницу, шестого мая, сразу после обеда.

Я решил позагорать у бассейна — купаться еще холодно, но если лежишь рядом и солнце уже обжигает, можно вообразить, что наступило лето.

Я лежал так, чтобы поглядывать на соседний участок — с утра туда переехали новые соседи, вместо Злобницы, улетевшей к мужу на Марс.

Я закрыл глаза и задремал, но вдруг почему-то проснулся — по газону шла рыжеволосая девушка.

Соседский бассейн начинается сразу за невысокой живой оградой, разделяющей наши участки. Девушка уселась на край бассейна, окунула в него пятку и сразу поджала ногу — не ожидала, видно, что вода такая холодная. Откуда она приехала, если не знает, что у нас в начале мая еще не купаются?

Думая так, я разглядывал ее, и девушка это заметила, кинула в мою сторону острый быстрый взгляд и отвернулась, словно только что смотрела не на меня, а на муху.

— Привет! — сказал я. — С приездом.

— Ах! — тихонько воскликнула она. И подняла левый локоть, чтобы скрыть от меня очертания полной груди.

— Вы надолго сюда? — спросил я, делая вид, что не заметил ее смущения.

— Мы здесь будем жить.

Ее тяжелые волосы падали на белые плечи.

— Меня Тимом зовут, — сказал я, поднимаясь. Мне хотелось, чтобы она увидела, как я сложен. Недаром я пробегаю стометровку за двенадцать секунд.

— Очень приятно, — ответила она с улыбкой, но не назвала себя.

Но тут же — о ирония судьбы! — из соседнего дома послышался голос:

— Ирэн! Ирэн-э-эн, ты где? Скорей беги ко мне.

— Вот видишь, — сказала Ирэн, — мы и познакомились.

Она грациозно выпрямилась и побежала к дому. Мне очень понравились ее спина и ноги — у нее были длинные прямые ноги с крепкими округлыми икрами.

На бегу она обернулась и помахала мне рукой.

Знакомство состоялось.

Об этом я рассказал Виду — старому цинику двадцати с лишним несчитанных лет, хрупкому, возвышенному, с кудрями до плеч, голубоглазому, породистому.

На самом деле Вик — корыстный, наглый парень, и я с ним дружу только потому, что знаю ему цену.

— Да видел я ее, — отмахнулся Вик в ответ на мои похвалы в адрес Ирэн. — Ты редко бываешь в свете, сидишь сиднем дома, ни на выставке тебя не увидишь, ни в парке. Так что первое же смазливое личико в пределах твоего зоркого взгляда — и ты готов!

— Я мечтаю о ней, — сказал я хрипло, чем вызвал приступ хохота у моего друга.

— Ромео! — повторял он. — Ромео с голым задом!

Я хотел было врезать ему за слова, которые больно отозвались в моем оцарапанном сердце, но Вик увернулся. Я с трудом догнал его у самых ворот, повалился на траву и заломил ему руку за спину.

— Сдавайся! — прорычал я, подражая марсианской лягушке. — Не то растерзаю!

Тут, как назло, домой вернулась Яйблочка.

— Как дети! — закричала она, вываливаясь из своего флаера. — Сейчас же прекратите, уши оторву! Земля же холодная!

Она кинулась за нами, но куда ей догнать двух молодых людей!

— Ну ладно, ладно! — крикнула она нам вслед. — Я пошла готовить ужин, слышишь, Тимошка?

Она отлично знает, что я ненавижу это собачье имя. Я сделал вид, что не слышу.

Рисунок Софии Федоровой

Мы отбежали с Виком к старой трансформаторной будке.

Когда-то, еще мальчишкой, я любил прятаться здесь и воображать, что я подкрадываюсь к неуязвимому дракону в джунглях Эвридики... Я вырос, джунгли вырубили, дракона держат в зоопарке, а трансформаторная будка так и стоит, сто лет никому не нужная...

— Сегодня третью серию будут показывать, — напомнил Вик.

— Если у нее есть сестра, — сказал я, — ты с ней тоже можешь познакомиться.

— Больно ты шустрый, — ухмыльнулся мой друг. — Ты уверен, что тебе разрешат с ней общаться?

— Я никого не намерен спрашивать.

— Ай-ай-ай, какие мы смелые!

— Тимофей! Тимоша! — Яйблочка звала меня самым ласковым из набора своих голосов. — Кушать, кушаньки, беги сюда, мой мальчик!

— С ума сойти! — засмеялся Вик. — Она намерена тебя кормить грудью до тридцати лет.

Тут я стукнул ему кулаком по затылку — чуть голова не отвалилась. Он ахнул и примолк.

А я пошел домой вовсе не потому, что послушался Яйблочку, я боялся, что если уж очень разозлю ее, она не допустит меня вечером к телевизору.

— Ноги вытер? — спросила Яйблочка, когда я вошел в дом.

Я не стал отвечать, а продолжил путь на кухню.

Яйблочка восседала за столом, перед ней стояла емкость с ее пойлом — доктор прописал. На моей тарелке лежал кусок трески, посыпанный зеленью. Редкое по нашим временам лакомство.

Прежде чем приняться за обед, я подошел к окну и поглядел — окно выходило к дому Ирэн. Но самой девушки не было видно.

После обеда мы отдыхали, а потом Яйблочка повела меня гулять.

Я не люблю эти почти ритуальные прогулки — Яйблочка не та спутница, которую выбирает человек по доброй воле. Но я ее не выбирал.

В тот день, идя рядом с ней, я впервые глубоко задумался о несправедливости судьбы. Ведь каждый из нас таков, каким он родился, каким его воспитали. Я предпочел бы иную судьбу, пускай не такую надежную и сытую, пускай полную лишений и опасностей, как у бродяг и охотников. Впрочем, я их никогда не видел. Может быть, их придумали домашние любимцы.

Чем ближе к центру городка, тем больше встречалось парочек, вроде нас. Яйблочка раскланивалась с ними, приседала, покачивала бедрами, звенела нитями железных бус, а когда она наклонялась вперед, мне все казалось, что сейчас она угодит этими бусами мне по темечку — и я замертво рухну на мостовую.

Я понял, что Яйблочка направляется в бар «Олимпия» при торговом центре. Там она будет с себе подобными дамами сосать свои неудобоваримые напитки, а я побуду с людьми.

Мы подошли к бару, и Яйблочка, добрая уродина, завывала:

— Тимоша, если ты побудешь в общей комнате, мы потом в кино ходим, хорошо?

Она должна думать, что я расстроен больше, чем на самом деле. Но я и вправду не имел ничего против того, чтобы поболтать со старыми приятелями, пока ты, голубушка, вкушаешь свое вонючее зелье...

Так что я молчал и смотрел на нее красивыми выразительными серыми глазами.

Но Яйблочка выдержала мой укоризненный взгляд и вытащила из сумки наличник. Я побледнел, но Яйблочка показала на объявление над входом в комнату:

«Помещение для домашних любимцев. Вход без намордников воспрещен»

Объявление знакомое и унижительное. Но я не стал спорить и капризничать, не то настроение.

Я сам подставил лицо, и Яйблочка не грубо, а даже сказал — с неуклюжей нежностью, приспособила мне на лицо намордник, который прикрывал рот и подбородок. Я вполне допускаю, что когда-то по недоразумению кто-то из домашних людей укусил другого домашнего человека, но кто и почему дал право возвести этот случай в ранг правила? С чего они решили, что мы обязательно должны бросаться друг на друга и кусаться? Кусаться! Вы себе представляете?

В большой комнате, где хозяева оставляют домашних любимцев, пока пьют кофе, болтают или выбирают что-нибудь в магазине, было человек тридцать, не меньше. Все в намордниках, но если у меня он был простой и почти незаметный — мы с Яйблочкой старались свести унижение к минимуму, то у других людей на физиономиях порой красовались нелепейшие защитные сооружения, у кого из кованой проволоки, у кого в виде керамического букетика.

Я сразу заметил Вика, который сидел перед телеэкраном. На нем был розовый намордник, имитирующий хоккейную маску вратаря Хризабудкина, — мне было бы стыдно появиться в обществе в таком виде. Я обвел комнату взглядом, надеясь, что найду Курта — он обещал мне жвачку. Мерзавец Вик неправильно истолковал мой ищущий взор и, поправив завитую гриву волос, ехидно заметил:

— Сюда самочек не заводят. Может плохо кончиться!

— Я Курта ищу.

Я и без него знал, что девушке здесь не место. Среди домашних любимцев встречаются скоты.

— Нет здесь Курта, — сказал Вик.

— А что по телеку показывают?

Вик не ответил. Я обернулся к экрану. Там показывали исторический фильм о первой высадке на Землю Хозяев.

...Толпа поселян в уродливых одеждах радостно гогочет, наблюдая, как из открытого люка корабля не спеша выходят три пришельца. Они массивны, они куда крупнее и тяжелее человека, некоторые достигают четырех метров. Из скафандров высовываются чешуйчатые зеленые лапы с длинными цепкими, словно без костей, пальцами. Зеленые, блестящие, будто смазанные жиром, головы тоже покрыты зелеными чешуйками... Пришельцы здороваются с поселянами.

— Сегодня юбилей! — произнес вдруг сидевший рядом со мной средних лет мужчина в какой-то глупой попонке. — Столетие! Столетие первого счастливого контакта!

— Выпить бы! — произнес какой-то жалкий замарашка. Порой в комнату для отдыха домашних любимцев проникают с улицы бродячие люди. Затерявшись среди нас, они могут рассчитывать на стакан лимонада или на горсть орешков. — Выпить бы, я сказал! По случаю счастливого юбилея!

Он смотрел на меня в упор, словно я сейчас вытащу из-под мышки бутылку самогона.

Чтобы не встречаться с его наглым взглядом, я обратился к экрану. Странная мысль посетила меня: как изменилась жизнь на Земле за прошедшие сто лет! Хотя меня тогда еще не было на свете, я знаю по старым пленкам и журналам о мире насилия, неуверенности, ранней смерти и нищеты, о мире, в котором господствовало право сильного, где люди, будто стремясь к самоуничтожению, уничтожали реки и отравляли воздух... Страшно подумать, что было бы без Визита!

Замарашка уже приставал к Виду, и я слышал его занудный голос:

— Ну, глоток достань, ну, достань, братишка, ты же можешь, ты же гладкий!

Я с радостью смотрел, как на экране спокойно, с чувством собственного достоинства, двигаются Спонсоры, вбирая лучащимися добротой глазами окружающую действительность. Интересно, какие мысли проносились в тот момент под этими высокими зелеными лбами? Яйблочка как-то, поглаживая меня по голове, рассказывала о своем отце — одном из первых Спонсоров. Она уверяла, будто Спонсоры были огорчены тем, что увидели на Земле.

— Ай! — Отчаянный крик разорвал мирный шумок комнаты отдыха.

Я вскочил. Все вскочили. Так я и думал: Вик, элегантный, милый, казалось бы генетически лишенный агрессивности, как дикий пес, набросился на замарашку, и они, сцепившись, катались по полу. Остальные вскочили со своих мест, окружили спорщиков кольцом, аплодисментами и криками подбадривая их. Поведение моих товарищей меня возмутило.

— Как вы себя ведете! — закричал я. — Постыдитесь! Вы забыли о том, что наши Спонсоры не жалеют времени и сил, чтобы научить нас высокому пониманию добра! Мы не имеем права опускаться до пошлой драки. В любую минуту нас могут увидеть!

Но как назло никто не слышал меня. Зато на шум ворвались два магазинных полиция с электродубинками. Они вели себя так, словно мы все были преступниками и хулиганами, — колотили дубинками, валили на пол, топтали ногами. Мы были вынуждены забиться по углам, но и там нас доставали эти садисты.

Меня всегда возмущали те люди, которые не видят границы между любовью к нашим Спонсорам, сотрудничеством с ними и услужению им за счет своих соплеменников.

Как говорится, «служить бы рад, прислуживаться тошно!». Вот это — мое кредо.

Но кредо не могло защитить меня от ударов, меня, пальцем никого не задевшего и не принимавшего участия в этой постыдной драке, спровоцированной, как я честно признался Яйблочке, когда она взяла меня из комнаты отдыха, проходимцем-замарашкой, возможно, агентом деструктивных сил, выступающих под ложным лозунгом «Земля для людей!».

— Где бы они сейчас были, — проворчала в ответ Яйблочка, натягивая поводок, предназначенный (в моем конкретном случае) только для того, чтобы защитить меня в случае неожиданной опасности. — Если бы не наша экспансия, они бы вымерли от собственных нечистот.

Разумеется, я полностью согласен с моей милой, добродушной Яйблочкой, четырехметровой неуклюжей лягушатиной!

Я решил воспользоваться ее тревожным настроением и сказал:

— Госпожа, я тут видел трехцветный электронный ошейник.

— Зачем тебе? У тебя совсем еще новый.

— В него вживлена система предупреждения. Если меня захотят украсть, то он сразу даст сигнал.

— Небось бешеных денег стоит, — проворчала моя хозяйка.

И я понял, что постоянный страх потерять меня, лишиться лапушки, песеночка-котеночка, дорогого моего человечка, которого она искренне почитала членом семьи, заставит ее раскошелиться. Такой триколор уже купили Вику, вся наша улица с ума посходила от зависти.

Мы повернули к дому. Скоро должен был прийти со службы наш Спонсор Яйблочко, и мы с госпожой всегда с трепетом ждали этого момента.

— Пока ты дрался в зверинце... — продолжала Яйблочка. Я попытался было возразить, но она не

слушала меня, она думала вслух. — ...мы с дамами как раз обсуждали новости из Симферополя. Ты, наверное, смотрел по телевизору. Это же надо — докатиться до обстрела курортного автобуса! Я не сторонница жестокого обращения, но всякому терпению есть предел. И этот нелепый лозунг...

— «Земля для людей!» — сказал я, и, получилось чуть более вызывающе, чем мне того хотелось.

И тут же Яйблочка стегнула меня по голой спине плетью, которую всегда носила с собой, чтобы отгонять поклонниц.

Это меня глубоко оскорбило. Если ты больше и сильнее, это не означает, что можно пускать в ход плетку. Я лег на землю, на голый пыльный асфальт. В знак протеста я решил тут же умереть!

Яйблочка дернула меня за поводок. Я не сопротивлялся. Она потянула сильнее и буквально поволокла меня, не думая о том, что я могу оцарапаться и у меня начнется нагноение, откуда всего шаг до гангрены!

Я поднялся на ноги. Ведь не ей — тупой скотине — мучиться перед смертью! Если они захватили Землю, потому что у них есть одуряющие газы, лазерные пушки и черт знает еще какое оружие, это не означает, что Земля погибла. Нет, мы не сказали еще последнего слова! Вы можете выжечь очаг сопротивления в Крыму, но завтра мы откроем новые подпольные ячейки в других городах! И берегитесь, наглые завоеватели!

Яйблочка, видно, почувствовала ненависть, исходящую от представителя поработанного, но не сдавшегося народа, потому что перестала тянуть поводок и сказала виноватым голосом:

— Отряхнись, Тимоша. Нельзя же так себя вести — люди смотрят.

— Пускай смотрят, — ответил я, но все же поднялся. В отличие от угнетателей — чего уж таиться, надо называть вещи своими именами — я человек добрый и отходчивый.

Мы продолжили наше движение к дому.

Порой нам встречались другие Спонсоры и Спонсорши, совершавшие послеполуденную прогулку с домашними любимцами. Спонсоры раскланивались и перекидывались фразами на своем языке, и это давало возможность и нам, любимцам, также обменяться приветствиями и новостями.

— Слышал, Тим, — спросил меня Иван Алексеевич из хозяйства Плийбочико, — они кинули атомную бомбу на горный Крым. Нет теперь Алушты.

— Не может быть!

— По телеку передавали.

Иван Алексеевич мне неприятен. Всю жизнь он служит своим Спонсорам за пределами разумного. Он даже бегаёт для хозяйки в магазин и качает их ребенка. Нельзя же так унижаться!

— Наверное, это преувеличение, — сказал я, а у самого сердце сжалось от жалости к Крыму, где мы так хорошо отдыхали в прошлом году.

— В городе создаются подпольные ячейки, — прошептал Иван Алексеевич. — Я могу тебя рекомендовать.

Я не успел ответить, потому что Яйблочка потянула меня дальше, и ошейник впился в горло. Хорошо еще, что она не услышала шепота этого старого конспиратора. Нельзя бороться с природой, с судьбой!

Оказывается, Яйблочка все слышала.

— Надо будет сообщить об этом любимце, — сказала она задумчиво. — Ему давно пора на живодерню! Подстрекательство такого рода ведет к напрасным жертвам.

— Правильно! — крикнул я, хотя ошейник был натянут так, чтобы меня задушить. Она меня воспитывала!

Я уж не знал, что делать, но тут зрелище, открыв-

шееся моим несчастным глазам, отвлекло меня от физических страданий.

Навстречу нам по бульвару шел жабеныш и вел на золотой цепочке мою возлюбленную!

Нет, я никогда не спутаю ее ни с кем на свете! Ее светлый образ запечатлелся в моем мозгу до конца дней.

— Ты куда? — закричала Яйблочка и дернула поводок, я потерял равновесие и, чтобы не упасть на землю, опустился на четвереньки.

Девушка, которая улыбнулась было мне как старому знакомому, при виде моего несчастья рассмеялась — мелодично, звонко и обидно. Ее спонсоренок остановился и тоже принялся смеяться, как смеются они все, дергая грудью и животом.

— За что? — только и спросил я, поднимаясь и стараясь сохранить чувство собственного достоинства. — Неужели тот факт, что сто лет назад вам удалось обманом и превосходством в технике покорить Землю, дает вам основания так больно унижать ее население?

Видно, в сердце этой туши что-то шевельнулось, потому что Яйблочка строгим голосом приказала жабенку-спонсоренку прекратить смех! У них с дисциплиной строго.

Жабеныш замолчал и потащил мою возлюбленную на боковую дорожку. Она так элегантно и легко бежала рядом с ним, чуть подпрыгивая на бегу, линия ног столь плавно переходила в круглый задик, рыжие кудри так нежно и игриво струились по узкой спине, что у меня перехватило дух. И все попытки и потуги Яйблочки оторвать меня от этого волнующего зрелища были тщетны. Ей пришлось подхватить меня на лапы и, прижимая к жесткой чешуйчатой груди, отнести домой.

* * *

Мы больше не разговаривали с Яйблочкой. Она не скрывала своего недовольства, я — обиды.

В хорошие дни меня кормят вместе со Спонсорами, в гостиную, но тут Яйблочка поставила мне миску на кухне в углу. Я взял ее, сел на подоконник и стал смотреть в окно в надежде, что моя возлюбленная вернулась с прогулки, но Яйблочка заглянула на кухню, дала мне подзатыльник и согнала с подоконника. Я подумал было отомстить ей и отказаться от ужина, но страшно хотелось кушать, и я решил подождать до следующего раза.

На этом мои несчастья не закончились. Ни с того ни с сего жабина устроила уборку в чулане и отыскала там книжку комиксов про супермена Иванова, которую я выменял у Вика за старую монету. И когда домой заявился со службы мрачный Спонсор Яйблочко, она еще до обеда подсунула ему свой трофей.

Голодный и потому особо опасный для человечества пришелец Яйблочко вытащил меня из-под дивана, куда я пытался забиться, и безжалостно избил электрическим хлыстом. Его желтые глазки горели яростным садистским огнем, но при этом он беседовал со мной, словно не причинял мне невыносимую боль, а угощал чаем.

— Неужели ты до сих пор не усвоил, хомо сервилитус, что чтение — прерогатива разумных существ? Сегодня ты начал читать...

— Но это же только комикс! Ой, больно!

— Будет еще больнее... Сегодня ты читаешь комикс, в котором человек поднимает руку на Спонсора, завтра ты выйдешь на улицу с пластиковой бомбой!

— Никогда я не посмею поднять руку на своего кормильца!

— Ты не поднимешь, пока ты нас боишься, но как только исчезнет страх, ты станешь опасен.

Рассуждая, он продолжал меня колотить.

Я уже захлебывался от слез и боли и чуть не потерял сознание, когда госпожа Яйблочка вырвала меня из рук супруга и отнесла на подстилку.

Они говорили за дверью на своем зверском языке, который я знал, как родной. Любопытно, но ни один Спонсор не верит, что человек может выучить их язык — это как бы за пределами наших умственных возможностей. Хотя практически все домашние любимцы, кроме уж самых тупых, отлично понимают разговоры Спонсоров. А как иначе? Они решат отправить тебя на живодерню, а ты будешь хлопать глазами?

— Пожалуй, ты был с ним излишне жесток, мой повелитель, — сказала госпожа Яйблочка.

Ее муж что-то прохрюкал в ответ.

— Ведь он же нам не чужой.

Опять неразборчиво.

Я подполз к двери, волоча за собой подстилку. Идиотский запрет людям одеваться, который свел в могилу уже много тысяч человек, особенно ужасен, когда тебя побьют. Знобит, а укрыться нечем.

Кое-как натянув подстилку на синяки и царапины, я улегуся у двери в их комнату.

— Но мы взяли его малышом! Помнишь, какой он был забавный!

— Он уже не забавный. Надо что-то делать с ним дальше.

— Он безобидный.

— Ты не думаешь о животном! У него тоже свои потребности, — рассудительно и размеренно говорил Спонсор.

Но почему надо называть меня животным, если давно уже доказано, что люди разумны?

— Какие потребности у Тимоши?

— Потребности взрослого кобеля!

— Ну уж!

Затем последовала пауза. Видно, Спонсор доканчивал ужин, а его супруга размышляла. Она размышляет со скоростью улитки.

— Ты прав, — услышал я ее голос. — Я сегодня уже об этом думала.

— А что случилось?

— При виде одной... особи женского пола он чуть было поводок не оборвал.

— Я же говорил! Отвезем его в клинику. Пять минут — и больше не будет проблем.

— Нет! — почти закричала госпожа Спонсорша.

— Почему? Миллионы людей проходят через эту операцию. Она сразу снижает уровень агрессивности, улучшает характер животного. Если операцию вовремя не сделать, это может кончиться трагедией. Ты же знаешь, сколько молодых самцов убежало из домов, попадало под машины, в облавы, на живодерню!

— Только не это! Я не переживу. Я не могу жить без моего Тимошеньки!

— Не раскисай. Он тебе будет только благодарен.

За дверью наступила зловещая, страшная тишина. Я физически ощущал, как тяжело ворочает мозгами моя Спонсорша. Она всерьез обдумывает проблему, не уничтожить ли во мне мужчину? Она — существо, с которым мы вместе живем уже более пятнадцати лет, которая вставала ко мне ночью, когда у меня была скарилатина, которой я приношу ночные туфли и подогретый бульон, если у нее бессонница... неужели госпожа Яйблочка согласна на то, чтобы я, самое близкое ей существо, подвергся страшной операции. О нет!

— Ну ладно, — услышал я голос госпожи, — ложимся спать. Завтра еще раз обсудим.

Дверь открылась, госпожа велела мне идти наверх в спальню, лечь на коврик у их постели, и я с трудом подчинился. Все тело ломило. Ужас сковывал мои члены.



Господа заснули быстро, но я, разумеется, не спал. Они занесли топор над самым важным даром природы, над самым моим естеством! Я знаю этих несчастных рабов, этих домашних любимцев, лишенных мужского достоинства. Это ничтожные счастливые тени людей, которые доживают свой растительный век, не оставив следа на Земле.

Я бесшумно поднялся и подошел к окну.

Отсюда, со второго этажа, был виден газон, разделяющий наши дома. И тут я увидел в ночной полутьме, как она, легкая, душистая, вышла на этот газон, легла на спину и потянулась. Вся она — нега, ожидание любви, томление, счастье!

Хлопнула дверь, высунулся ее жабенок. Позвал спать.

Моя возлюбленная лениво поднялась и вернулась в дом.

А я был готов умереть...

На следующее утро никто не вспоминал о вчерашних бурных событиях. И я, проснувшись в поту от кошмара, который мне приснился, тут же пришел в себя, услышав ласковый голос Спонсорши:

— Тимоша, скорей мыться и на завтрак! Я тебе кашку сварила!

Она погладила меня по голове и сказала, что поведет на завивку, а я ждал только момента, чтобы меня выпустили погулять в садик...

Как назло, она долго не отпускала меня. Сначала ей пришлось в голову сделать мне педикюр, потом ей показалось, что у меня жар, и она велела мне поставить градусник. А я старался не глядеть в окно, чтобы не вызвать в ней подозрений.

— А на господина Яйблочко ты не сердись, — говорила Спонсорша, перебирая мои кудри, — он бывает

груб, но он всегда справедлив. Ты же знаешь, у него в части много организационных проблем и он не может позволить себе расслабиться. С вами, людьми, все время жди подвоха. Вы как испорченные дети.

— Почему испорченные?

— Потому что норовите сделать гадость исподтишка, потому что не помните добра, потому что лживы... потому что... миллион причин! А ты чего на меня уставился? Наелся — иди погуляй. Но за забор — ни шагу.

Я послушно поклонился Яйблочке и подождал, пока ее зеленая чешуйчатая туша уплывет из кухни. И тут же кинулся в сад. Сердце подсказывало мне, что Ирэн ждет меня там или выглядывает из своего окошка, чтобы выйти, как только я появлюсь.

Я прошел через газон, присел у бассейна, попробовал ступней воду. Вода была холодной. Я прошел к кустам, что разрослись у изгороди и счастливо закрывали тех, кто пожелал бы уединиться от любопытных глаз.

Там было пусто. И пустота эта была насыщена звоном насекомых, щебетом птиц и подобными мирными, совсем негородскими звуками. Старшие говорят, что раньше на Земле было не так тихо и красиво, но Спонсоры запретили вонючие двигатели и разрушили вредные заводы. Сами они не нуждаются во многих вещах, которые производили люди, и люди тоже быстро отвыкли от них, даже от одежды, отчего теперь, как мне рассказывали, люди живут только в теплых местах нашей планеты.

— Тим, — сказала Ирэн, заглядывая в кусты. — Я так и знала, что найду тебя здесь.

— А я специально сюда пришел, — сообщил я. Я был счастлив. Но не мог объяснить свое чувство. Это было не то чувство, в котором меня так подозревали хозяева. Мне хотелось смотреть на Ирэн, а если

дотронуться до нее, то лишь кончиками пальцев.

— Тебя били? — спросила Ирэн.

— Вчера, — сказал я. — Из-за тебя.

— Из-за меня? — Глаза у нее были синие, простые, ласковые.

— Они решили, что я слишком... слишком несдержанно себя веду. Что пришло время меня... — Язык мой не повернулся объяснить, в чем дело, хотя, в общем, в этом не было тайны или чего-нибудь необычного — больше трех четвертей мужчин после двадцати лет подвергались ампутации этих органов для их собственного блага.

— Не может быть! — догадалась Ирэн. — Только не это!

— Почему? — вырвалось у меня. Мне хотелось услышать приятный для себя ответ.

Ирэн отвернулась. Вопрос ей не понравился. Видно, показался слишком откровенным.

— Прости, — сказал я. Я в самом деле чувствовал себя виноватым перед этой девушкой. Я любовался ее профилем — у Ирэн был короткий нос, который чуть подтягивал к себе верхнюю губу и приоткрывал белые зубки. — Прости, зайчонок.

— Ты дурак, — произнесла Ирэн. — У тебя, наверное, никогда девушки не было.

— Откуда? — согласился я. — Меня ведь щенком взяли из приюта. Так и живу в доме. Я другой жизни и не знаю.

— А я знаю свою маму.

— Не может быть!

Это было так удивительно. Никто не должен знать родителей. Это преступление. Это аморально. Человек принадлежит тому Спонсору, который первым сделал на него заявление.

— Она сама мне сказала, — прошептала Ирэн. — Рассказать?

— Конечно.

Ирэн подседа ко мне поближе, так что наши плечи касались. Я положил ладонь ей на коленку, и Ирэн не рассердилась. Почему, подумал я, она упрекнула меня тем, что у меня не было девушки? Значит, у нее кто-то уже был?

Эта мысль несла в себе горечь, какой мне никогда еще не приходилось испытывать.

— У нас в доме была еще одна любимица, старше меня, — начала Ирэн. — Она меня многому научила. И она мне рассказала, что бывают люди, которые не живут в домах у Спонсоров.

— Ты об этом не знала?

— Я только знала, что плохо жить не в доме.

В этот момент совсем близко затрещали сучья, затопали тяжелые шаги. Я даже не успел отскочить — отвратительный жабеньш, сынок Спонсора Ирэн, навалился на меня и стал заламывать мне руки.

— Вот чем ты занимаешься! — рычал он.

Я успел увидеть, как он наподдал ножицей в бок Ирэн и она отлетела в сторону. Но я был бессилен помочь ей — жабеньш уже тащил меня из кустов, он тащил меня за руку, вывернув ее, и я вопил от боли.

На мой вопль выскочила госпожа Яйблочка.

Она возмущенно заверещала:

— Как ты смеешь! Это не твой любимец! Сейчас же перестань мучить Тимошку!

А жабеньш, не отпуская меня, верещал в ответ:

— А вы посмотрите, вы посмотрите, чем он в кустах занимался! Она у нас еще девочка, она еще невинная, насильник проклятый! Ты от меня живым не уйдешь!

Он наступил мне на живот, и я понял, что еще мгновение — и я погибну; видно, это почувствовала и моя Яйблочка. И несмотря на пресловутую сдержанность и рассудочность Спонсоров, мысль о возможной потере любимца настолько ее разгневала, что она

кинулась на жабеньша и принялась безжалостно молотить его зелеными чешуйчатыми лапами. Тот сопротивлялся, но был всего детенышем, да, еще детенышем, посмевающимся на чужой территории драться с хозяйкой дома. Так что я был спасен, и через несколько минут, подвывая от боли и унижения, наш сосед удалился в свой садик и принялся оттуда ворчать:

— Где эта мерзавка, где эта тварь развратная? Я ей покажу... Мама-а-а, меня госпожа Яйблочка избила...

— Вот видишь, — сказала моя Спонсорша, помогая мне подняться и дойти до дома, чего без ее помощи я бы совершить никак не смог. — Мы были совершенно правы — если тебе не сделать операцию, то ты и дальше будешь попадать в неприятные истории. И не надо отворачиваться и плакать, не надо слезок, мой дорогой. Это так быстро и под наркозом. Ты проснешься счастливым, а я тебе испеку пирожок. Ты давно просил у меня пирожок с капустой.

Я молчал, борясь со слезами. Она ведь была в сущности доброй Спонсоршей. У многих людей хозяева бывают куда более жестокие и грубые. Другая бы даже и говорить ничего не стала: отвезли куда надо, сделали что надо — и ходи счастливый!

* * *

Я лежал на подстилке в своем углу, и странные, несвязные мысли медленно кружились в голове. Вдруг я подумал, что у меня, наверное, никогда теперь не будет разноцветного электронного ошейника, как у Вика. Ведь Спонсоры мной недовольны. И тут же мысль перескочила на мое собственное преступление, и я понял, что преступления не было. Я даже хотел было вскочить и пойти к хозяйке, сказать ей, что я и не пытался обидеть Ирэн, напасть на нее... и в конце концов это наше дело, дело людей, как нам обращаться друг с другом! Я не собираюсь целовать Спонсоршу Яйблочку! Тут я неожиданно для себя хихикнул, но, к счастью, она меня не услышала. Она уже уселась за вышивание запасного флага для полка Спонсора Яйблочко, потому что старый истрепался на бесконечных маневрах и парадах.

Я повернулся на спину, но спина болела — что-то мне этот зеленый жабеньш повредил. Пришлось лежать на боку... Я понимал, что обречен, и хотя мой опыт в любви был умозрительным и за те восемнадцать лет, что я прожил на свете, мне не приходилось быть близким с женщиной, другие любимцы показывали мне картинки и рассказывали — чего только не наслушаешься в комнате отдыха для домашних любимцев! Раньше я не знал, что теряю в случае операции, которой я должен покориться, да и не задумывался об этом раньше... Но теперь я встретил Ирэн, и все изменилось — мысль об операции для меня ужасна... но почему? Ведь не стал мне отвратительней дантист после того, как заболел зуб? Глупо и наивно... Какое мне дело до продолжения какого-то рода? Нас, домашних любимцев, это не касается. Как-то в комнате отдыха рассказывали, что у одних Спонсоров жили домашний любимец и домашняя любимица, хоть это и строго запрещено. И когда они подросли, то стали... в общем, вы понимаете: в результате у любимицы родился маленький ребеночек. Его хотели утопить, чтобы скрыть преступление, его кинули в речку, а он не утонул, его подобрали, а потом один умный следователь разгадал эту тайну... впрочем, не помню, врать не буду.

Так я и заснул... потому что был избит и морально подавлен.

Я несколько раз просыпался в тот день. Сначала от шума: пришли соседи — Спонсорша и ее жабеньш, который пожаловался на мою хозяйку. Был большой скандал, причем обе зеленые дамы грозились друг

дружке своими мужчинами, и это было курьезно. Потом соседка начала кричать, что меня надо обследовать на случай, если у меня заразная болезнь, на что моя хозяйка сказала, что это у Ирэн заразная болезнь... Словом, жабы развлекались, а я прятался на всякий случай за плитой, потому что не исключал, что меня побьют.

Обошлось. Соседи ушли, а хозяйка прилепала на кухню, встала у плиты и, заглядывая сверху в щель, прочла мне нотацию, что бывают неблагодарные твари, в которых вкладываешь силы, нервы, время, а они не отвечают взаимностью. Я догадался, кто эта тварь, и огорчился. Значит, они все же повезут меня на операцию.

Вечером я получил подтверждение своим страхам — хозяева, как всегда убежденные в том, что ни один домашний любимец не выучит их паршивый язык, спокойно обсуждали мою судьбу.

— Я убеждена, что наш Тимошка и пальцем ее не тронул, — говорила госпожа, — она сама его заманила в кусты с известными намерениями. Ты же знаешь, как быстро развиваются их самочки.

— Но он тоже хорош!

— Конечно, я виню себя в несдержанности.

— Он напал на тебя на нашей территории.

— Но он еще слабый и глупый...

Я дремал, вполуха слушая этот неспешный разговор. И вдруг проснулся.

— Ты завтра позвонишь ветеринару? — спросила хозяйка.

Еще ничего не было сказано, а в мое сердце вонзилась игла.

— А почему ты сама не сможешь?

— У него наверняка очередь месяца на два — сколько приходится проводить операций!

— Это точно, я все-таки сторонник гуманной точки зрения, — бурчал мой Спонсор, — лишних надо топить. Топить и топить. И тогда не будет проблем с ветеринарами.

— Ты хотел бы, чтобы Тимошу утопили?

Хозяин понял, что хватил через край, и отступил:

— Тимоша — исключение. Он как бы часть дома, он мне близок, как этот стул...

Сравнение было сомнительное. По крайней мере для меня оно прозвучало угрожающе. Старые стулья бросают в огонь.

— Ладно, — сказал Спонсор, — я сам позвоню и договорюсь. А ты напиши официальное примирительное письмо к соседям. Я сам отнесу письмо. Нам с ними жить, а он — второй адъютант гарнизона.

Мне было грустно, что мои хозяева — не самые сильные на свете. Мне хотелось бы, чтобы они были всеильны и не боялись каких-то паршивых жабыншей... Потом я стал уговаривать себя, что ветеринар так занят, что не сможет сделать операцию еще целый год... а к тому времени мы что-нибудь придумаем и, возможно, даже убежим вместе с Ирэн, или мои Спонсоры сжалются над моими чувствами и купят Ирэн у наших соседей. Мы с ней будем жить здесь и спать на моей подстилке, и нам купят с ней одинаковые трехцветные ошейники... С такими счастливыми мыслями я заснул.

Но, проснувшись, я понял, что радоваться нечему.

Каждый телефонный звонок я воспринимал как звон погребального колокола, каждый пролетающий флаер мне казался вестником злой судьбы. Однако судьба молчала до середины дня. В два позвонил хозяин. Его железная морда занимала весь экран телефона, и я, стоя за спиной хозяйки, слышал каждое слово.

— Все в порядке, — сообщил Спонсор, словно разговор шел о том, чтобы купить мне на зиму новую

попонку, — я нажал на него, сказал, что Тимофей представляет опасность для окружающих ввиду его чрезвычайной агрессивности, но нам бы не хотелось его усыплять, потому что моя жена к нему привязана... В общем, он согласен.

— Когда же? — спросила госпожа Яйблочка.

— Сегодня в пятнадцать двадцать.

— Через час? Ты с ума сошел! У меня обед на столе, а я еще не ходила в общественный центр.

— Придется поступиться своими интересами, — сказал Спонсор, — ради интересов домашнего любимца.

— Это ужасно! Я даже не успею почистить когти.

— Как хочешь, — рявкнул Спонсор. — Я не буду снова унижаться перед ветеринаром!

— Хорошо, хорошо.

Госпожа обернулась ко мне — она догадалась, что я стою за ее спиной.

— Вот все и обошлось, — произнесла она, как будто операция уже прошла. — Сейчас мы с тобой это сделаем и уже вечером обо всем забудем. Не печалься, выше голову, мой человек! — Хозяйка погладила меня, и я был готов укунить ее за чешуйчатую ладонь, но удержался. Человек я в конце концов или нет!

— Иди в садик, погуляй пока, — сказала она. — Я соберусь, и через полчаса пойдем. Тут недалеко.

Просить, умолять — бессмысленно. Спонсорам чужды наши человеческие чувства. Они живут в рациональном мире, и даже странно, что в свое время, в дни Великого покорения, они не истребили всех людей. Может быть, именно наша эмоциональность, наши чувства, наши слабости вызвали в ком-то из Спонсоров ответные чувства. Ведь недаром их психологи так рекомендуют держать человека в доме, в котором есть жабынши, простите — ребенок.

Я вышел в сад. Конечно же, Ирэн не было видно — ее спрятали за семью замками. Может, она глядит сейчас в окно.

Я сорвал цветок ромашки и стал его нюхать, показывая всем своим видом, насколько я удручен и опечален. Если она смотрит, то тоже плачет. Что же делать, думал я. Вот если бы было место на Земле или вне ее — хоть какое-нибудь место, чтоб там мог спрятаться и прожить оскорбленный и униженный человек, представитель некогда гордой расы людей... Но я не желаю стать бродячим псом, который будет рыться на свалке и ждать того момента, когда его поймут и отвезут на живодерню! Нет уж — лучше смерть, лучше операция... Я видел этих замарашек, я видел, как их везут через город в фуре с решеткой и они скалятся на прохожих потому, что им ничего больше не остается, как скалиться. Нет, человек — это звучит гордо! Пускай я буду оскотен, но я не склоню головы!

Рассуждая так, я отбросил ромашку и ходил по газону, заложив руки за спину и порой отмахиваясь от комаров, которые норовили сесть на мое гладкое нежное тело.

— Эй, Тимоша! — услышал я насмешливый голос.

Мой друг Вик перепрыгнул через изгородь и оказался рядом со мной.

— Как только тебя пускают одного гулять по городу! — удивился я.

— Ты же знаешь — моя старая жаба не в состоянии за мной уследить. Да и не стал бы я слушаться.

— Вик, — сказал я, — у меня горе!

И я поведал ему о том, что через несколько минут меня поведут к ветеринару.

— Честно сказать, — произнес Вик, выслушав мой короткий рассказ, — если бы такое произошло со мной, я бы убежал или повесился. К счастью, меня отобрали в производители и мне пока ничего не грозит.

— Но почему тебе так повезло? Почему?

— Я из очень хорошей породы. Меня еще в детстве измеряли и исследовали. Целый месяц держали в евгеническом центре.

— Где?

— Там, где проверяют породы и выводят новые.

— А мне нельзя в этот центр?

— Поздно, мой друг, поздно,— сказал Вик.— Да и работа эта не по тебе. Все время ты должен заниматься спортом, соблюдать диету, быть готовым работать в любое время дня и ночи.

— А почему твоя Спонсорша на это согласилась?

— Тщеславие, тщеславие,— вздохнул Вик.— Таких, как я, очень мало, а породистого детеныша хотят многие семьи. Не уличного, не случайного — именно породистого. Кстати, в двенадцать мне — в этот дом. На работу.

— Что? — Меня как током ударило.— Что ты имеешь в виду?

— Ирэн, которая здесь живет, ну, которая тебе понравилась!

— И ты... ты что?

— Сегодня с утра ее хозяйка позвонила моей и просит — мне срочно нужен ваш самец. Наша девочка, говорит она, созрела и вокруг нее уже выют ухажеры... Тим, Тимка, ты что? На тебе лица нет.

Он отступал передо мной.

— Я как раз подумал,— продолжал он говорить, отступая, потому что он был большой дурак и не мог замолчать, пока не выскажет все, что в нем накопилось.— Вот смешно, ты к ветеринару, а я к ней. Правда, смешно?

Тут я и врезал ему в морду. Между глаз, изо всей силы.

Он был крупнее меня, он был сильнее, но он не ожидал, что я могу его ударить. Домашние любимцы, особенно породистые, из хороших семей, никогда не дерутся. Спонсоры будут недовольны! Он вырвался и побежал прочь, но я догнал его и повалил на газон, он пытался оторвать мои пальцы от горла, он хрипел и дергался, он бил меня ногами; и уже со всех сторон бежали люди и Спонсоры, и моя хозяйка стала отрывать меня, и жабеныш бил меня когтистыми ножищами, он ненавидел меня и хотел убить; за открытым окном мелькнуло лицо Ирэн, искаженное страхом; я отбивался, царапался, кусался — я был диким зверем, которого надо убить, и, если бы меня убили в тот момент, я бы не удивился и не считал это неправильным — такому, как я, не было места в нашем хорошо организованном цивилизованном мире.

Меня оттащили. Вик бессильно лежал на газоне — непонятно, живой или мертвый. Что-то кричали... А я существовал на уровне животных инстинктов. Мною правил инстинкт самосохранения.

Я рванулся и покатился по траве.

— Ты куда? — кричала госпожа Яйблочка.

А я уже перескочил через ограду и побежал то прыжками, то пригибаясь, вилля по мостовой — ожидая в любой момент пули или лазерного луча в спину, я несся куда-то, меня вел инстинкт самосохранения — за город, в лес, на старую свалку... Я знал, что меня поймут, как обычно ловили всех беглецов и даже показывали это по телевизору, чтобы другим неповадно было убегать. Но я все равно бежал.

* * *

Я вспомнил эту четырехлетней давности историю вчера, когда мы вышли к городу примерно тем же путем, которым когда-то я бежал из него. Нет, разумеется, я ничего не забывал — так что слово «вспомнил» не совсем точное. Но жизнь моя за последние годы настолько интенсивно спрессовалась в события просто опасные, смертельно опасные и безвыходные,

что у меня не было возможности, да и желания усаживаться мирно у костра и предаваться воспоминаниям. И если бы вы попросили меня изложить в последовательности мои странствия, приключения и беды за четыре года, ничего бы из этого не вышло...

Я не собирался заглядывать в свой старый дом. Подпольщик не имеет права на сентиментальность. Как говорится, жил один мальчик, который любил свою бабушку и носил ей морковку. Вот волк его и выследил, заодно и явку у бабушки.

Я не собирался никуда заглядывать, но получилось так, что все равно мне надо было отсидеться до утра в пригородном лесочке, и я сказал своему другу Ползуну, что прогуляюсь. Ползун предупредил: «Осторожнее». Всей своей шкурой эта полутораметровая гусеница чуяла опасность. «Обойдется», — сказал я. Я тоже всей шкурой чувствовал опасность. Но не хотел признаваться. Тем более себе.

Наш тайник находился под громадной кучей валежника, там скрывалась покрытая дерном землянка. Я разделся догола.

— Ты не возьмешь оружие? — спросил Ползун.

— Как я его спрячу? Если в городке увидят одетого человека, они будут стрелять без предупреждения. Ты же знаешь, как они нас боятся.

— Опасно без оружия, — сказал Ползун.

— Жди меня в двадцать три сорок. Если что, искать меня не ходи. Возьмешь пакет — и в казарму гладиаторов.

— Не учи меня, — обиделся Ползун и свернулся на земляном полу.

Я отвык ходить нагишом, всей кожей чувствовал нелепость — я, взрослый мужчина, выхожу из леса в чем мать родила, подобно тем полулюдям-полуживотным, которых выращивают и лелеют Спонсоры. И тут мне пришло в голову, что я сам недавно был домашним любимцем... Я улыбнулся и перебежками, порой падая в высокую сорную траву, порой пробегая между заросших бурьяном куч мусора, добрался до окраины городка, чуть прикрашенного сумерками и редкими фонарями. Дальше за кустарником поднимались серые бетонные и титановые шапки укрепленной базы.

Выйдя на улицу городка, я пошел по тротуару, прижимаясь к стенам домов, пригибаясь и стараясь быть незаметным — как и положено обитателю помоек, еще не угодившему на живодерню, но готовому к такой судьбе. Я даже прихрамывал и тянул ногу, впрочем, это было нетрудно — нога была перебита еще в прошлом году во время неудачного нападения на базу патрульных катеров, я чудом тогда ушел и два месяца скрывался в подвалах бывшей Москвы. Впрочем, сейчас я не об этом...

Я шел осторожно, но уверенно. В тот сумеречный час у меня было немного шансов встретить Спонсора — они не любят сумерек и скрываются от них за стальными жалюзи в своих бетонных домах. Но всегда оставалась опасность попасть на глаза туземному полицейскому или мобильному патрулю.

Центр я миновал быстро и без приключений. Универмаг был уже закрыт, хотя окна его светились — там считали выручку. В комнате отдыха, где Спонсорши оставляют своих домашних любимцев, пока занимаются покупками или сидят в кафе, было темно. Я думал, что во мне что-то шевельнется — грусть ли, просто память, — но я остался совершенно равнодушен. Впрочем, никто не любит вспоминать о своем животном прошлом — я проверял это на многих моих товарищах. Мы забываем. Этого не было. Этого не могло быть...

А вот и мой дом!

Господи, до чего он уродлив! Бетонный куб с узкими окнами, запущенный газон и бассейн без воды,

лишь со слоем ила на дне. В окнах свет. Я не стал приближаться к двери — там поле охраны. Стоит мне подойти — поднимется звон на весь город.

Перепрыгнув через невысокую живую изгородь, я прошел газон к окну гостиной и заглянул в него.

Гостиная — насколько условно это название! — была, как и положено, пустой и серой комнатой. С одной стороны на стене — экран: на нем показывали официальные новости и официальную развлекательную программу. С другой стороны — широкая металлическая скамья — на ней бок о бок сидят Спонсоры, господин и госпожа Яйблочки. Одинаковые, чешуйчатые, зеленые, массивные, вдвое превышающие человека ростом и вдесятеро силой. Их морды лишены мышц и потому не способны к мимике. Так что они кажутся статуями, статуями близнецов в кататоническом состоянии.

И это были когда-то мои господа, перед которыми я трепетал? Это были образцы мудрости? Я хотел бы улыбнуться, но не мог — ведь жалок был я, ибо мои глаза были закрыты.

Вдруг госпожа Яйблочка зашевелилась — что-то на полу привлекло ее внимание, — зеленая туша совершила медленное движение, лапа опустилась к полу; я поднялся на цыпочки и увидел, что у ее ног на коврике — на моем коврике! — сидит голенький мальчик лет трех-четырех и тоже смотрит на экран. Когтистая лапа Яйблочки нежно дотронулась до головы мальчика и погладила ее, мальчик что-то сказал — его губы шевельнулись, и он прижался к ноге Спонсорши.

Это был я? Я — много лет назад? Таким я попал в этот дом.

Сверху донеслось легкое стрекотание. Патрулям было известно, что остатки нашей группы прорвались в этот район. Можно быть уверенными, что они не прекратят полетов до ночи. Правда, им трудно нас отыскать — особенно когда мы выступаем в обличии домашних любимцев — ни одного металлического предмета! Так что локаторы нас не вычлениют из природы.

Но все же я не хотел рисковать — я прыгнул в кусты и залег там.

Патруль улетел. Я сидел на траве, обхватив руками колени, смотрел на узкие бойницы моего дома... Парадокс, но эти жабы и есть моя бывшая семья — они растили меня, кормили, купали и лечили, если я болел... И госпожа Яйблочка могла испытывать ко мне материнские чувства? Как мало мы их знаем! Зачем они взяли нового малыша? Их дом им кажется пустым без человеческого присутствия?

Надо возвращаться. А то Ползун будет беспокоиться.

Я обернулся ко второму дому — за живой изгородью. Я мог сколько угодно уговаривать себя, что пришел поглядеть на стены родного дома, тогда как на самом деле меня тянуло к дому соседнему. Первый в моей жизни эмоциональный взрыв, вырвавший меня из мира домашних любимцев, исходил из этого бетонного куба, стоявшего за разросшимся бурьяном. Там тоже светились бойницы, за ними тоже ползла упорядоченная жизнь.

...Приоткрылась дверь, желтый прямоугольник света кинул на землю черную тень стройной фигуры Ирэн. Это было столь неожиданно, что я не успел взять себя в руки и отпрянул. Она услышала шум и, замерев на пороге, тихо спросила:

— Здесь кто-нибудь есть?

Я был недвижим, я даже не дышал. Я боялся, что она в страхе закроет дверь и спрячется в доме.

Она простояла с минуту, прислушиваясь, и, видно, решила, что шум произвела какая-нибудь кошка или птица... Она покинула освещенный прямоугольник двери и ступила на траву. Теперь я мог ее разглядеть.

В полутьме ее тело казалось голубоватым, а волосы приобрели странный сиреневый оттенок. Когда она поглядела в мою сторону, то ее глаза показались мне черными окнами в звездное небо. Ее фигура потеряла девичью гибкость и угловатость, грудь стала тяжелее, шире бедра — но эти перемены были лишь движением к женскому совершенству.

Она быстро, словно опасаясь, что ее хватят дома, перебежала газон, перепрыгнула через изгородь и, уже осторожнее, озираясь как воровка, подбежала к дому Яйблочков. Возле окна в гостиную она остановилась и, вцепившись длинными пальцами в край стены, приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть происходящее в гостиной.

И тут я все понял. Все было просто, хоть и необычно, и не дозволено.

Мальчик, занявший мое место в семье Яйблочков, — это сын ее и Вика. По правилам, новорожденного отнимают у матери, как только она перестает его кормить. Если с точки зрения породы он удовлетворяет селекционеров, его отправляют в распределитель. А дальше — как распорядится судьба. Может быть, повезет, и его возьмут в домашние любимцы. А тут... вернее всего, когда он родился, опечаленная моим исчезновением, привыкшая к человеку в доме, госпожа Яйблочка решила взять ребеночка себе. Где-то кому-то сделали подарок, кого-то уговорили, и произошло страшное нарушение правил — мать и сын оказались в одном городке, и, главное, мать знала, где живет ее сын.

Вряд ли ее подпускали к сыну, наверное, это было одним из условий... Впрочем, можно проверить.

— Ирэн, — тихо произнес я.

Она отпрыгнула от окна, словно ужаленная змеей. Прижалась спиной к глухой бетонной стене и смотрела с ужасом, как я приближаюсь к ней.

Я вытянул перед собой руку раскрытой ладонью кверху.

— Не бойся. Это я, Тим, ты меня помнишь? Я тут жил.

— Ти-и-им, — напевно произнесла она. — Ты же мертвый.

— Я много раз мертвый, но все равно живой, — сказал я, улыбаясь и забыв, что улыбаться мне нельзя — шрам, который пересекал все лицо, превращает мою улыбку в гримасу, неприятную и страшноватую для непривычного человека.

— Это не ты! Не подходи!

— Я тут жил, мы с тобой раз сидели в этих кустах и разговаривали, а ты сказала, что знала свою мать, а я тебе не поверил, а потом меня должны были вести к ветеринару, а к тебе привели Вика...

— Ти-и-им!

— Отойдем к кустам. У меня мало времени. Меня могут выследить.

Она послушно пошла за мной к темной массе кустов, но остановилась, не заходя под их сень. Боялась. Не совсем верила, что я — это я.

— А где же ты? — спросила она. — Кто теперь твои Спонсоры?

— У меня нет Спонсоров.

— Ты бродяга?

В слове звучало привычное для домашних любимцев презрение.

— Я хочу, чтобы никаких Спонсоров больше не было.

— Как так не было?

— Чтобы они улетели. Или погибли.

— А мы? — Она даже отступила на шаг от меня.

— Мы будем жить.

— А кто нас будет кормить? Кто будет гулять с нами?

Я уже привык к таким искренним филиппикам.

А что вы хотите от людей, которые не знают ничего, кроме пищи, прогулки и хозяйской палки или ласки?

— От тебя плохо пахнет, — сказала она, — как будто ты не мылся.

— Я уже неделю не мылся, — признался я. Мне было приятно дразнить ее — такую миленькую, сладенькую, душистую домашнюю любимицу. — А как твой жабыныш поживает?

— Кто?

— Твой хозяин, жабыныш, которого мадам Яйблочка изметелила.

— Тим, не стоит так говорить о Спонсорах.

— Ладно, — сказал я, — я тобой еще займусь. Обязательно вернусь поговорить с тобой серьезно. Жалко оставлять тебя в животном состоянии.

— Я живу в счастливом состоянии! — поспешила она с ответом.

Она была напряжена и мечтала об одном — чтобы я поскорее ушел, растворился, чтобы меня можно было вычеркнуть из памяти.

— Это твой ребенок? — Я показал на окно дома Яйблочков.

— Молчи! — Она закрыла мне рот ладонью. От резкого движения ее пышные бронзовые волосы рассыпались по плечам. Она была сказочно хороша! Ради таких женщин совершаются великие безумства и рушатся царства... Только она не подозревала о своем могуществе.

— А кто отец? — спросил я.

Сквозь ее пальцы вопрос прозвучал невнятно. Мои губы натолкнулись на нежную ткань пальцев и поцеловали их. Она сразу убрала руку.

— Нельзя так говорить! Если кто-нибудь услышит, меня тут же увезут! Молчи, молчи, молчи!

— Наверное, Вик.

— Он долго болел, когда ты так жестоко побил его.

— Потом выздоровел. И его снова привели к тебе.

— Потом он выздоровел.

— А где он сейчас?

— Я не знаю. Его Спонсоры переехали на другую базу. Ты никому не скажешь, Тим? Я каждый вечер хожу смотреть на мальчика. Ты его видел?

Я любовался ею, но она не чувствовала моего взгляда.

— А госпожа Яйблочка очень добрая, она его не бьет. Я сначала плакала, но мне сказали, что тогда меня увезут.

— Когда мы их вышибем к чертовой матери, — сказал я, — первым делом мы вернем тебе малыша.

— Не надо! Не думай так, это опасно!

— Неужели и я таким был?

— Каким?

Я погладил ее по плечу, отвел в сторону тяжелые пряди волос.

— Не смей меня трогать!

— Я сейчас уйду, не бойся.

— Я буду кричать! Не смей меня хватать! Ты грязный. От тебя плохо пахнет!

Голос ее опасно повысился — она не контролировала свой страх передо мной, страх завитой болонки перед дворовым псом.

— Уйди, уйди, уйди!

Я с горечью начал отходить от нее, понимая, что она уже подняла тревогу. У Спонсоров удивительный слух — нам бы такой!

Отступая, я следил за дверью в наш дом, опасаясь, что оттуда выскочит господин Яйблочко. Но первым появился подросток жабыныш. В гневе или страхе Спонсоры движутся со скоростью пантеры.

Он пронесся над газоном, как черное ядро, выпущенное из гигантской пушки.

Я его хоть и не видел, но все же успел отшатнуться.

Не успев затормозить, жабыныш врезался в стену, и хоть та была из монолитного бетона, мне показалось, что дом пошатнулся.

Пока жабыныш разворачивался, я кинулся в кусты и замер там.

Отворилась дверь в мой дом. Господин Яйблочко, мой приемный отец, который, впрочем, никогда меня не любил, потому что не любил ничего, не покрытого зеленой чешуей, обозначился на пороге. По тусклому блеску в его лапе я догадался, что папаша вышел на прогулку, хорошо вооруженный. Ну, и идиот сентиментальный, сказал я себе. Встретился, называется, со своей легкомысленной юностью.

Спонсоры замерли. Один, воткнувшись лбом в стену, второй на пороге. Они ждали, не вздохну ли я, не шевельнусь ли, чтобы кончить на этом мои дни.

Я не шевелился, не чихал и не дышал. К такой жизни я привык. И все бы обошлось, если бы не догадливый жабыныш, который громадой повернулся к Ирэн и, медленно наступая на нее, потребовал:

— Где? Где он? Говори! Говори, не молчи, будешь наказан!

В романах верная возлюбленная стискивает белоснежные зубки и молчит под пытками.

— Он в кустах! Он там! — завопила Ирэн. — Он хотел на меня, он хотел меня... скорей, я его боюсь!

Ой, как она перепугалась! И в ненависти ко мне она была искренна, потому что хотела угодить хозяевам и спасти свои свидания с сыном.

Я видел, что делает папаша Яйблочко. Он переводил рычажок на стволе с прицельного на бой по площади — он намеревался выжечь кусты вместе со мной, и никто ему не противился.

Еще секунда, и мне будет поздно бежать...

На четвереньках, как гончая, понимая, что это меня не спасет, я кинулся в просвет вдоль живой изгороди.

Вечер озарился ослепительным зеленым светом выстрела.

Конус убийственного света устремился к звездам, сжигая на своем пути все, что могло двигаться и дышать, — бабочек, птиц, комаров... Затем последовал глухой тяжелый удар. Силуэт Спонсора исчез...

От начавшейся сзади суматохи я умчался и лишь за свалкой, в бурьяне, приостановившись, чтобы осмотреться, задумался — а почему папаша стрелял не в меня, а в небо? Спонсоры таких ошибок не допускают.

Рядом звякнула пустая консервная банка.

— Кто? — одними губами спросил я.

— Я, — сказал Ползун. — Чудом ушли.

— Это ты был?

— Мне скучно стало, я за тобой пошел. Я успел ему ноги заплести и дернул — ничего?

Ползун страшно силен, в чем-то он даже мог бы поспорить со Спонсором.

— Славно, — ответил я.

Я лежал без сил.

— Пора уходить, — произнес Ползун. — Они будут прочесывать окрестности.

— Одну минутку.

Я сел. Голова еще кружилась — видно, я бежал оттуда куда быстрее, чем возможно для обыкновенного человека.

— Если идти канализационным коллектором, — предложил Ползун, — к утру будем в школе гладиаторов. Там нас укроют.

— Славная девчонка, — проговорил я. — И мальчишка любит.

— Когда-нибудь расскажешь, — отозвался Ползун. — Меня всегда удивляют ваши человеческие обычаи.

И мы поспешили к люку канализационного коллектора.

Альбом. Лист 5.

ИВАНЪ ИВАНОВИЧЪ ДЖОНСЪ

Мой товарищ и я сидим на Чулковском кладбище в Туле, а среди заваленных мусором и заросших старых надгробий идет война. Дети современных оружейников роют землянки в дедовских могилах, играют в футбол их черепами и жгут костры. И, как ни печально, это единственные люди, кому здесь интересно...

А мы с товарищем заняты важным делом: закапываем так глубоко, как только возможно, части расколовшегося, служившего кострищем, памятника. Когда-то это был гранитный саркофаг с надписью: «Иванъ Ивановичъ Джонсъ родился въ Бирмингеме 29 сент. 1768, а скончался въ Туле 7 янв. 1835, где, находясь при Оружейномъ заводе 17 летъ въ службѣ, ввелъ разные, имъ изобретенные, полезные машины и удобные способы производства работъ». Это Джонс осенью 1817 года плыл по бурному морю в Россию, везя важные технические секреты, это его современники именовали чудо-умельцем. Но параллель со «Сказом» Лескова здесь произвольна: источником писательского вдохновения стала другая история...

Огромен некрополь тульских оружейников: три кладбища, Всехсвятское, Чулковское и Спасское, общей площадью около 50 га, приблизительно 10 тысяч каменных надгробий — памятников особой, тульской школы резьбы по камню, генетически восходящей к приемам украшения оружия. В привилегированной части Чулковского кладбища, где погребены командиры и инженеры заводов, близ алтаря церкви Дмитрия Солунского, лежит скромный саркофаг белого камня. На одной стороне его — плач вдовы: «Покойся, милый друхъ, покойся в тишине, ты сердце взялъ мое, но что жъ оставилъ мне. Великую печаль и юныхъ пять птенцовъ. О Боже дай мне силъ снести тяжесть сихъ оковъ». На противоположной стороне: «Подъ симъ камнемъ прахъ титулярнаго советника Алексѣя Михайловича Сурнина, скончался августа 17 числа 1811 г. житія его было 43 года». Только благодаря тульским краоведам, обследовавшим здесь каждое надгробие, стало ясно, чей это камень: того, кто, по Лескову, уморен голодом и холодом в Петербурге.

В 1870 году историк П. И. Бартенев опубликовал письма князя Воронцова, где говорилось и о Сурнине. Публикация попала на глаза Лескову. И родился «Левша» — сказ о том, как бездушная и безжалостная российская власть довела до смерти талантливого мастера из народа, только за границы и оцененного. Уж не знаю, чувствовал ли Лесков социальный заказ, или писательская фантазия так рассудила, — только в жизни было все не так, как в его «сказе».

В 1785 году молодой оружейник Алексей Сурнин был послан в Англию для совершенства в мастерстве, в попечение посланника, князя С. Р. Воронцова. В начале 1792-го Сурнин вернулся в Тулу и подал прошение Екатерине — «устроить судьбу к пользе отечества». Писал об изготовленных им образцовых армейских ружьях, о мерах к улучшению заводских работ. Что же власть? — 10-го февраля 1794 года Высочайшим повелением, как «показавший искусство свое в делании различного рода огнестрельныхъ оружий», наш 26-летний Левша назначается «мастером оружейного дела и надзирателем всего, до дела ружья касающагося». В 1806-м получает чин титулярного советника. Имел усадьбу на Оружейной стороне, был женат на дочери писца, принесшей ему «пятерых птенцов», жил в достатке...

Сегодня в Туле ничто не напоминает об оружейниках прошлого: нет усадьбы-музея, ни заводского музея; слобода оружейников уничтожена; краеведческий музей закрыт за аварийностью; в Демидовском родовом склепе — Николо-Зарецкой церкви — склад... Что уж, если даже коллекция тульского самовара принадлежит... Министерству обороны и недоступна. А впрочем, удивляться не приходится:

«Часть рабочих, и значительная, — писал Вл. Д. Бонч-Бруевич в 1905 году о самом пролетарском городе России, — имеет свои домики и огороды. Они стремятся к мещанскому благополучию. С ними гораздо труднее иметь дело... Рабочий на фабрике — он в то же время является хозяином дома... Эти элементы, сами работая на фабрике, являются там самым опасным и консервативным элементом». Прошло совсем немного времени — и «борцы за дело рабочего класса» подвергли тульских мастеров такому же систематическому уничтожению, какому подвергли они иных и прочих. Странно сказать, но в 1970 году не нашлось двух человек для постановки «экспериментальной» (то есть сугубо традиционной) мастерской, где бы, как встарь, «дивное устройство машин показало всем посетителям необыкновенные действия нашего русского Бирмингама, обреченного на вечную славу ковать сибирскую сталь в победоносное оружие российскому воинству».

Так ли ошибся Лесков, называя судьбу Левше?

Владимир ПРОСТОВ,
председатель правления общественного информационно-методического
центра «Российский некрополь»



Дмитрий
БУШУЕВ

Дебют в
«ЮНОСТИ»

☆☆☆

Это военщина черной зимы, бронированные лимузины;
тени лохматых бражников, мелькающие в листве.
И на столе Президиума — желтые георгины,
рубины в графинах водочных, мерцающие в голове.
Но почему так смертельно пахнет больницей, елкой
и почему на сцене сухая лежит листва?
Глаза мои мироточат вином и душистой смолкой,
горячим песком начинена медная голова.
Где бронетранспортер и вырезанная цитатою
карта астрономическая в свете прожекторов?
Сажу за столом Президиума, где георгин помятый
лежит на кожаной папке с тиснением трех гербов.
Помнится сад черешневый, ломающийся под танками,
помню я обгоревшие веточки, муравьев,
помню — из пня трухлявого выскользнула медянка,
когда золотым горячим выжигали коров.
О горящее стадо, вбежавшее в зал заседаний
четвертого нашего Рейха, скошенного во лбу,
когда монахи тибетские зачитывали деяния,
когда меня размораживали,

застывшего в красном льду.

Да здравствует наша военщина,

да здравствует наша женщина —
норманка тяжеловесная, метающая ядро:
разбег не вописался в планку —
ядро летит на Смоленщину,
и на бедре мускулистом
медью горит тавро...

Но, сохранившись в горах Тибета,

с желтыми георгинами
вновь выхожу на сцену, усыпанную листвою,
сжимая в перчатке кожаной ампулу героина, —
как бомбовоз, беременный третьёю мировой.

☆☆☆

Снилось тебе в электричке, что меня увезли цыгане
в осень чужой усадьбы с гнездами и дроздами,
с заспанными дождями, с выпитыми глазами,
мало ли что приснится в пригородной электричке...
Как польхнула ночь моя синими светлячками,
и просквозило рядом странною пустотой:
меня увезли цыгане, меня увезли цыгане
в крашеном одеяле, в мокром мешке с травой.

Возвращение в Вонтино

Медь начищенного самовара напоминает оркестр
духовых инструментов под влажной сиренью, где
душа моя переходит сквозь геликоны в детство,
где надувные игрушки плавают на воде
полузацветшей заводи с вымершими кувшинками
в пустоши, почивающей в собственной простоте,
это чужое детство заигранными грампластинками
кругами от камня брошенного расходит по воде.
Тень золотой крушины на мокром песке колыхнется,
дождик ли это, слезы ли — просто рябит в глазах,
бабочка ли капустница, бабочка ли крапивница...
...только играл оркестр в медных моих садах.
Так дневники чужие читаются, как Евангелие,
и ядовит шмелиный химический карандаш,
стрелами исчеркавший карту военной Англии —
так же чужое детство вописано в мой пейзаж.

г. Иваново

ШКОЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ЗАОЧНЫЙ КУРС

ИСКУССТВО

ЗАПОМИНАНИЯ

(практическая мнемотехника)

Два месяца, и вы научитесь легко запоминать:

- формулы и правила, термины и схемы, иностранные слова, исторические даты, учебные и научные тексты, географические названия и карты

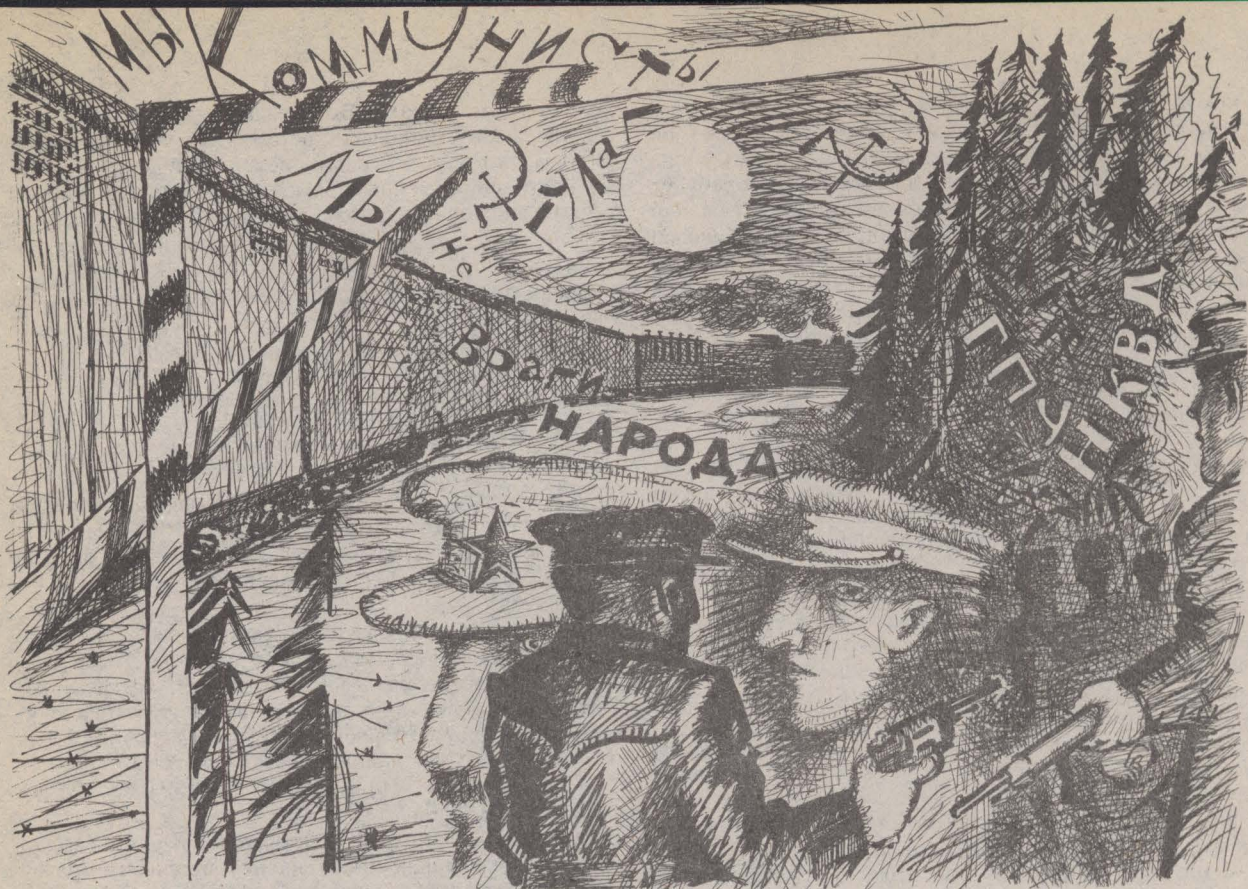
- телефоны, адреса, имена и фамилии, деловую информацию

КРОМЕ ТОГО, мы научим вас правильно двигаться, танцевать, водить машину, печатать на машинке...

МНЕМО+

125015, Москва, Бутырская,
д. 21. «мнемо+»
Тел.: (095) 249 99 84

Получив ваш запрос и конверт с обратным адресом, мы вышлем вам **БЕСПЛАТНО** подробную информацию о нашем заочном курсе.



Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава четырнадцатая.
ОСОБНЯК ГРАФА ОЛСУФЬЕВА

Днем Москва выглядела как обычно: кишачий муравейник, пересекаемый линиями трамвая. Любое средство транспорта — трамвай ли, автобус, недавно ли появившийся троллейбус — облеплялось муравьями, как кусок сахара. Извозчики почти исчезли, их заменили автомобили такси, но по малочисленности они относились, пожалуй, больше к разряду городских легенд, чем к транспорту. В 1935 году с великой помпой была пущена первая очередь метрополитена с мраморными станциями, мозаичными потолками, движущимися лестницами. Два года уже прошло, а пропагандистский концерт с фонтанами по поводу этого сооружения не затихал ни на день. Практически в этой линии, идущей от парка Сокольники до Парка Культуры на Москве-реке, смысла было меньше, чем в проекте, разработанном до Первой мировой войны и предлагавшем вести тоннель от Замоскворечья до Тверской заставы, то есть соединить две половины города. Пропагандный смысл московского метрополитена, однако, перекрывал все практические соображения. Лучшее в мире! Подземные дворцы! Подвиги комсомольцев-метростроевцев! Сердца трудящихся переполняются гордостью! Забота партии и правительства и лично товарища Сталина!

Вместо неповских реклам по всему городу, иной раз в самых неожиданных местах, предстала «наглядная агитация и пропаганда»: лозунги, портреты Сталина

Рисунок Евгения Мацевского

Продолжение. Начало см. в №№ 5—8 за 1991 г.

и некоторых других, оставшихся после расстрелов вещей, скульптуры, диаграммы. Озираясь и уже не очень-то замечая эти наглядности, а только лишь подспудно осознавая, что они здесь и всегда пребудут здесь, всегда вокруг него, москвич получал главный посыл, идущий из-за зубчатых стен: сиди, не рыпайся!

В остальном все шло как бы обычно, бежали организованные потоки на работу и с работы, томились в очередях, по воскресеньям отправлялись на футбол «Спартак» — «Динамо» или в кино на жизнерадостные комедии Григория Александрова «Цирк» и «Веселые ребята». Шли показательные процессы над вчерашними вождями — Рыковым, Бухариным, Зиновьевым, Каменевым, однако процессы эти никак не отражались на дневном рисунке московской жизни, может, только чуть больше, чем обычно, мужчин толкалось у газетных стендов. Молча читались речи прокурора Вышинского, лишь изредка кто-нибудь бросал: «Вот это оратор», — и кто-нибудь тут же по-светски подхватывал: «Блестящий оратор!»; и сразу после обмена мнениями разбегались к транспортным средствам. Другое дело — встречать полярников, героев-летчиков, зимовщиков! Тут уж — тысячами на улицы! Улыбки, возгласы, оркестры... Ну, а в основном, Москва крутила свои дни, как обычно.

Только по ночам ужас расплзался по улицам; из-за железных ворот на Лубянке развезжались по заданиям десятки «черных воронок». При виде этих фургонов москвич немедленно отводил взгляд, как любой человек отгоняет мысль о неизбежной смерти. Дай Бог, не за мной, не к нашим, ну вот, слава Богу, проехали! Там, где надо, куда ордера выписаны, «воронки» останавливались, чекисты неторопливо входили в дома. Стук сапог на лестнице или шум поднимающегося среди ночи лифта стали привычным фоном ночного московского ужаса. Люди принимали к дверям своих коммуналок, дрожали в комнатах. Неужели на наш этаж? Нет, выше проехали. Ну, конечно, за Колесанским, можно было ожидать; я так и знала; неужели вы тоже; да-да, знаете, они не ошибаются... Иногда в доме арестованного начинались рыдания, приглушенные, конечно, сдвинутые, проявлялась неуместная в советском обществе, но еще живучая истерика, она прерывалась окриками «рыцарей революции»: Москва слезам не верит! Тогда рыдания заглушались совсем, со стыдом, с пришепыванием: простите, нервы. Чаще, однако, все проходило нормально, с хорошими показателями по дисциплине. Давай, давай, там разберутся!

Процветала литература социалистического реализма. Формализм был уже полностью искоренен. Состоя в едином Союзе, советские поэты, драматурги и романисты бодро создавали нужные народу произведения.

Общественной жизни тоже не чуралась. Вот, например, вчера в «Правде» и в других центральных газетах появились первые письма трудящихся с требованиями расстреля обвиняемых на процессе «врагов народа», а сегодня уже и писатели собрались в своем красивом особняке на улице Воровского, бывшей Поварской; составляется обращение к гуманному советскому правительству. Бывают времена, когда надо сдерживать свою гуманность, дорогой товарищ правительство, врагов надо карать без пощады!

Собрание проходило в большом зале ресторана, откуда убраны были столы и куда внесены дополнительные стулья и трибуна. «Где стол был яств, там гроб стоит», — так, разумеется, подумали многие, но промолчали. Расстрел, расстрел! Боевое партийное слово гремело под высоким потолком, кружило вокруг величественной люстры, размазывалось по витражам высоких стрельчатых окон, веско поскрипыва-

ло паркетом, по которому двадцать лет назад только олсуфьевские отпрыски порхали с гувернантками. Поэт Витя Гусев, тот решил поэзии прибавить к общему настроению непримиримости. Влетел на трибуну, резким движением головы отбросил назад шевелюру.

— Я поэт, товарищи! Свои чувства выражаю стихами!

Графский дворец наполнился пролетарским каленым стихом:

**Гнев страны в одном рокошет слове!
Я произношу его: расстрел!
Расстрелять предателей отчины,
Порешивших СССР сгубить!
Расстрелять во имя нашей жизни
И во имя счастья — истребить!**

Молодец Гусев, сорвал аплодисменты собрания. Представители отдела культуры ЦК ВКП(б) улыбались отечески: недюжинного таланта поэт, простой рабочий паренек; ничего, товарищи, обойдемся без декадентов!

Нина Градова сидела на антресолях за витой деревянной колонной. Глаза ее были закрыты. Тоска и позор без труда читались на лице. Сосед, когда-то ухаживавший за ней критик, раскаявшаяся звезда формальной школы, отвлекаясь взглядом к потолку и не переставая «бурно аплодировать», шептал:

— Перестаньте, Нина! За вами наблюдают. Хлопайте, хлопайте же!

Она открыла глаза и, действительно, сразу заметила несколько обращенных на нее взглядов. Братя-писатели, кроличьи души, явно читали вызов в ее сжатом лице и неподвижных руках. Большинство этих кроличьих взглядов немедленно по соприкосновении отвлеклось, два или три на мгновение задержались, как бы призывая опомниться, потом с двух противоположных сторон прорезались два пронизывающих, внимательных, наблюдающих взгляда. Эти явно фиксировали градацию энтузиазма. Опустив голову и покраснев, будто юная графиня Маша Олсуфьева на первом балу, Нина присоединилась к аплодисментам.

Из президиума донеслось:

— Проект резолюции: просить советское правительство применить высшую меру наказания к банде троцкистских наймитов, расстрелять их, как бешеных собак; приступаем к голосованию: кто за эту резолюцию, товарищи? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно!

Снова буря аплодисментов, какие-то выкрики, и снова Нина — со всеми, хлопает, хлопает, и вдруг ей с ужасом кажется, что хлопает она даже как-то быстрее, увереннее, как бы даже в унисон. Писатели вместе со всем народом, с горняками, металлургами, доярками, свиноводками, швеями, трактористами, военными-пограничниками, железнодорожниками, хлопководками, а также врачами, учителями, артистами, художниками, вулканологами, палеонтологами, а также с чабанами, рыбаками, орнитологами, часовщиками, весовщиками, лексикографами, гранильщиками, фармацевтами, моряками и летчиками требовали от правительства немедленной казни группы двурушников.

Расходились весело, ободренные общим чувством, порывом к правительству, забыв на время групповые неурядицы, личную вражду, соперничество. Многие задерживались у буфета, просили «добрую стопку коньяку», съездили отличный бутерброд с сеveryгой, окликали друг друга, спрашивали, как идет у коллеги роман или пьеса, когда собираетесь к морю и т. д.

Критик, бывший формалист, оживленно рассказывал Нине о какой-то дурацкой рецензии, появившейся в «Литературке», он как бы призывал ее немедленно забыть только что происшедшее, формальное, ничего от души не требующее, просто чисто внешнее,

ну, просто необходимое, как зонт в дурную погоду, ни к чему нравственно не обязывающее, смехотворную чепуху. Они медленно шли по улице Воровского к Арбатской площади мимо иностранных посольств. Из афганского посольства на них посмотрел мраморнолицый афганец, из шведского — неопределенный швед, за окном норвежского промелькнула с недоуменным взором нежно-молочная фркен.

— Ну что же, похлопали, Казимир? — прервала вдруг Нина своего элегантного спутника. — Похлопали на славу, не правда ли? Ручками хлоп-хлоп-хлоп, ножками топ-топ-топ, а? Русские писатели требуют казни, прекрасно!

Критик прошел несколько шагов молча, потом в отчаянии махнул рукой и повернул в обратную сторону.

Нина пересекла Арбатскую площадь и Гоголевским бульваром пошла к станции метро «Дворец Советов», то есть к тому месту, где за грязным забором еще видны были руины взорванного храма Христа Спасителя. Мирная, как бы нетронутая еще сталинской порчей жизнь бульвара, теплый вечер позднего лета не только не успокоили ее, но ввергли еще в большее, гнуснейшее сматение. Диким взглядом она отвечала на заинтересованные взгляды встречаемых мужчин. Да и есть ли мужчины в этом городе? А женщины-то чем лучше? Остались ли тут еще бабы? Кто мы все такие? Большой черт тут водит свой хоровод, а мы за ним бредем, как мелкие черти.

Савва уже ждал ее у метро, всем своим видом опровергая мрак и пессимизм. Высокий, светлоглазый, в сером костюме с темно-синим галстуком, прислонившись плечом к фонарному столбу, он спокойно читал маленькую дивную книгу в мягком кожаном переплете с тусклым от времени золотым обрезом. Увлекается, видите ли, букенистикой, в свободное время выискивает редкие книги, читает иностранные романы, философию, совершенствует свой французский. Да его за один этот вид могут сейчас немедленно арестовать! Нина бросилась к мужу, ткнула носом в серый коверкот, обхватила руками его плечи.

— Савва, Савка, вообрази, все голосовали за расстрел, требовали расстрела, позорный Витька Гусев — в стихах, все аплодировали, и я, и я, Савва, аплодировала, значит, и я требовала расстрела! Не встала, не ушла, хлопала вместе со всеми, как мерзкая заводная кукла!

Он поцеловал ее, вынул платок, приложил к носу, ко лбу, остерегся промокать глаза: подкраска могла размазаться.

— Было бы самоубийством — выйти, — пробормотал он. Что мог он еще сказать?

— Русские писатели! — продолжала она. — Не за милосердие голосуют, не помилования, расстрела требуют!

Они пошли по бульвару в обратную сторону. По дороге домой — теперь они жили в Саввиной квартире в Б. Гнездиновском возле улицы Горького — надо было зайти в ясли за Леночкой.

— У нас тоже сегодня было такое собрание, — проговорил он. — Они повсюду сейчас идут. Повсюду, понимаешь, без малейшего исключения.

— И ты тоже голосовал за расстрел? — ужаснулась она.

Он виновато пожал плечами.

— У меня, к счастью, в этот момент была операция...

Они проехали пару остановок на трамвае «Аннушка» и сошли возле своего переулка. Ясли были на другой стороне бульвара. Савва показал Нине на подъезд их дома.

— Видишь, Рогальский вышел, выполз на свет Божий. Третьего дня его исключили из партии и единогласно — понимаешь? — единогласно изгнали из Ака-

демии, лишили всех званий. Видишь, соседи от него шарахаются?! Смотри, Анна Степановна на ту сторону перебежала, чтобы с ним не здороваться!

Вчерашний академик исторических наук, всегда неизменно бодрый и подчеркнуто отстраненный от текущего быта своих мелких сограждан, сейчас двигался к углу, как глубокий инвалид. Заклейменность придавила к земле, само присутствие его на улице казалось неуместным. Впервые за все время в руке его они видели авоську с двумя пустыми молочными бутылками.

— Здравствуйте, Яков Миронович, — сказал Савва.

— Добрый вечер, Яков Миронович, — намеренно громко произнесла Нина и устыдилась этой намеренности: мелко, глупо, будто бросаю вызов, здороваясь с человеком, будто компенсирую свою трусость, мерзость.

— Здравствуйте, — безучастно ответил Рогальский и прошел мимо. Он даже и не взглянул, откуда прозвучало приветствие.

Савва проводил его взглядом.

— Он уже не с нами. Жизнь кончилась, ждет ареста. Говорят, что уже упаковал узелок и ждет.

Нина в отчаянии уронила руки.

— Ну, почему же он просто ждет, Савка? Почему даже не старается убежать? Ведь это же инстинкт — убежать от опасности! Почему он не уезжает, уехал бы на Юг, в конце концов, хоть бы насладился Югом напоследок! Почему они все, как парализованные, после этих исключений, проработок?

— Прости, Нинка, милая, но почему ты сегодня аплодировала гнусному Гусеву? — спросил Савва и обнял ее за плечи.

— Я просто от страха, — прошептала она.

— Нет, не только от страха, — возразил он. — Тут еще что-то есть, важнее страха...

— Массовый гипноз, ты хочешь сказать? — пробормотала она.

— Вот именно, — кивнул он. — И вы все создали этот гипноз!

— А ты? — бросила она на него быстрый взгляд. Почувствовала, как у него напряглись мускулы на руке. Голос стал жестче.

— Я никогда не участвовал в этом грязном маскараде.

— Что ты имеешь в виду? — Лицо ее приблизилось вплотную к его лицу.

Издали они были похожи на шепчущих телячьей нежности влюбленных.

— Ты имеешь в виду все в целом? Революцию, да?

— Да, — сказал он.

— Молчи! — быстро прошептала она и закрыла мужу рот ладонью.

Он поцеловал ее ладонь.

Глава пятнадцатая. НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

В те годы возник жанр могучего советского пения. Певцы и хоры научились как бы едва ли не разрываться от величия и энтузиазма. Массовая радиофикация несла эти голоса на черных тарелках радиоточек глубоко в недра страны.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей,
Человек проходит, как хозяин
Необъятной родины своей.
Всюду жизнь и волюно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет!..

Кипучая,
Могучая,
Никем не побеждаемая,
Страна моя,
Москва моя,
Ты самая любимая!

Так шло через все одиннадцать часовых поясов, так и на Дальнем Востоке гремело, так и возле железнодорожного шлагбаума неслось из репродуктора на столбе возле небольшой станции в Приамурье.

Была непогода, бесконечно струился неторопливый дождь, в лужах плавали пузыри, не предвещая на ближайшее время ничего хорошего... «Все наденут сегодня пальто. И заденут за поросли капель, Н из них не заметит никто, что опять я ненастьями запылю», — бормотал Никита стихи своего любимого полузапрещенного поэта... И только за огромной рекой, то есть уже в китайских даях, чуть-чуть намечались в облачной массе какие-то слабые намеки на то, что лето еще возьмет свое.

Легковая «эмка» комкора Градова остановилась прямо перед закрытым семафором. Моргал красный фонарь. Через пересечение проселочной дороги по одной из веток железнодорожной магистрали медленно, как сегодняшний дождь, проходил бесконечный товарный состав. Никита, не отрываясь, смотрел на мрачную, клацающую на стыках рельсов процессию. Как и все вокруг, он знал, какого рода груз перевозится в этих составах: человеческий груз, заключенных везут к Владивостоку и Ванинскому порту для отправки на Колыму. И для водителя комкора, сержанта Васькова, это тоже, очевидно, не было секретом. Он все вздыхал и вздыхал, глядя на поезд, явно хотел поговорить.

— Ну, в чем дело, Васьков? Чего развздыхался? — мрачно спросил Никита.

— Да как-то мне раньше в голову не приходило, товарищ комкор, что у нас в стране столько врагов народа попряталось, — пробормотал шофер, не глядя на начальника. Простоватое лицо его отражало недюжинную народную хитрость.

— Оставь эту тему, Васьков, — сказал Никита. — Просто держи язык за зубами. Понятно?

Сержант шмыгнул носом, проглотил свое «есть, товарищ комкор». В бесконечных разъездах по военному округу он привык к несколько запанибратским отношениям с заместителем командующего по оперативным вопросам, а сейчас вот его вдруг так резко оборвали, хотя, казалось бы, как не поговорить перед закрытым семафором.

Неожиданно по всему составу простучали буфера, и поезд полностью остановился. Какие-то люди побежали в голову состава, кое-где чуть откатывались двери вагонов, высывалась вохра, слышались вдалеке какие-то крики; что-то происходило.

Между тем за градовской «эмкой» накопилось уже изрядно колхозных подвои и военных машин, возвращающихся из зоны танковых учений.

— Вон, сам едет, — мрачно сказал Васьков и показал пальцем в боковое обратное зеркальце. Никита оглянулся и увидел известный всему округу броневи́к главнокомандующего Блюхера в камуфляжной раскраске.

Никита вышел из «эмки». Маршал уже приближался своим обычным, более чем уверенным в себе, как бы атакующим шагом. Они обменялись рукопожатием.

— Что тут происходит, Никита Борисович?

— Да вот спецсостав проходит, Василий Константинович.

Блюхер мрачно ухмыльнулся:

— Спецсостав...

Отмахнув полу кожаного пальто, полез за портсига-

ром, предложил папиросу Градову. За все эти годы обмен папиросами был единственным знаком неформальности между ними. Они не перешли на ты, обращались друг к другу по имени-отчеству, сохраняли именно ту дистанцию, что и предполагалась между ними по всем правилам как писаного, так и неписаного кода армейских нравов. В последние месяцы появилось еще большее отчуждение. Ни с кем, даже с Вероникой, Никита не делился своим раздражением в адрес Блюхера, даже и самому себе он не очень-то признавался, что не доверяет больше своему главному. В мае энкэведисты нагло, на глазах у всего штаба, увели одного из самых уважаемых командиров Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии, начальника авиации комкора Альберта Лапина. Блюхер и пальцем не шевельнул для его спасения. Аресты шли по всем звеньям, затем разразилось потрясшее всю РККА дело о «военно-фашистском заговоре», мгновенно и бесповоротно заляпаны были грязью несколько икон революции — Тухачевский, Уборевич, Якир, Гамарник, Эйдемман... Еще большим потрясением стало то, что в составе суда, отправившего на смерть этих людей, оказались Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин... Это же все равно, как если бы я судил Кирилла и Нинку, думал Никита. Тело его в эти минуты наливалось свинцом, перед глазами вставала заляпанная кровью стена кронштадтского форта...

В спецсоставе происходило что-то необычное. Блюхер и Градов стояли в каких-нибудь двадцати метрах от одного из остановившихся вагонов. Слышны были звуки какой-то тяжелой возни, глухая перебивка множества голосов. Вдруг леденящий вопль вырвался из этой каши:

— Товарищи! Красные командиры! Не верьте фальшивым обвинениям! Мы не враги! Мы — коммунисты! Мы верны делу Ленина — Сталина!

После этого выкрика поднялся непостижимый мычащий хор мужских голосов. Вскоре все собравшиеся у переезда военные и крестьяне смогли и в этом диком исполнении различить гимн ВКП(б), французскую песню «Интернационал». Отодвинулась одна из досок в верхней части стенки вагона, чья-то рука швырнула в сторону шлагбаума пачку свернутых в треугольник писем.

— Отправьте письма, Бога ради, — прорезался через «Интернационал» еще один голос.

Мольба и рев атеистического гимна. Часть треугольников упала прямо на полотно дороги, другая отнесена была воздушной струей к перелеску, один спланировал прямо к хромовым сапогам комкора Градова. Никита поднял его и сунул в карман. Блюхер бросил на него хмурый взгляд и сделал вид, что не заметил. Разумеется, он понимал, как относятся теперь к нему в его собственном штабе. Каждый командир, конечно, думает: что же, следующим меня отправите, товарищ маршал? Если бы они знали...

Несколько вохровцев с пистолетами в руках подбежали к взбунтовавшемуся вагону, откатали дверь, подсаживая друг друга, полезли внутрь, в темноту, где белели лица поющих.

— Молчать, е... вашу мать! Мы вас научим петь, б...!

Одновременно к переезду по параллельному пути подкатила дрезина, из нее выскочило какое-то железнодорожное начальство. Двое перепуганных до смерти подбежали к Блюхеру явно с желанием объяснить, что произошло на путях. Маршал не стал их слушать. Не вынимая рук из карманов своего кожаного пальто, он пролаял:

— Немедленно очистить переезд! Разобрать состав, если нужно! Даю десять минут и ни секунды больше!

Резко повернувшись, он пошел обратно к своему броневику. Никита стоял молча, опустив глаза. Пою-

щий вагон затих. Снова, в который уже раз, в памяти возникли кронштадтский лед и стена форта, перед которой стоят три парламентария Красной Армии. Один из них кричит в мегафон: «Матросы, мы принесли ультиматум главкома Троцкого! Если хотите сохранить свои жизни, сдавайтесь!». Военморы на стенке форта взрываются хохотом. Среди них и он сам, Никита-лазутчик. Как раз отсюда он и отправился на Якорную площадь.

Комкор тряхнул головой, чтобы отогнать тягостные воспоминания, и снова это удалось, если не считать мимолетного мига, когда опять промелькнул тот же форт, ставший сценой расстрела братьев. И он, юный Никита, в рядах победителей...

Жизнь в Хабаровске оказалась не так уж дурна для комкорши Вероники. Просторная их квартира помещалась в одном из домов конструктивистского стиля на главной улице. Три комнаты, большая кухня, ванная с газовой колонкой. Удалось собрать вполне милую мебель. Никита, правда, говорит, что квартира выглядит несурово, но что он понимает. В городе есть музыкальный театр и, между прочим, даже теннисный кружок при ДКА. Есть неплохие партнеры, военврач Берг, например, старший лейтенант Вересаев из штаба авиации с этими его, ну, сумасшедшими, право, глазами. Забавно наблюдать соперничество этих двух, ну, с другими. Нужно поддерживать гостеприимный дом. Никита часто уезжает, но часто и врывается с толпой командиров, всех надо кормить, со всеми шутить. Держать себя в идеальной спортивной форме. Выходы на премьеры. Вот недавно был концерт джаз-оркестра Леонида Утесова. Немножко напоминало одесский балаган, перемешанный с пропагандой, но вместе с тем было несколько оригинальных блюзов. В свои тридцать три года Вероника выглядела, фу, черт, ну просто сногшибательно! Жалко только, что годы так быстро идут, ну, просто мелькают.

Они нередко ездили во Владивосток или, как в народе его называли, во Владик. Здесь, на берегу Золотого Рога, под будоражащими взглядами моряков, Веронике охватывало особое состояние, похожее на возвращение ранней юности. Вспоминался Александр Блок:

Случайно на поже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Она смотрела на корабли в бухте и предавалась фантазиям. Ну вот, воображаем, что советские вооруженные силы разбиты навсегда и окончательно. Бедный Никитушка в плену, но он, конечно, впоследствии вернется живой и невредимый. Пока что мы стоим на холме и смотрим на горизонт, ждем. Опять же, как у Блока, ждем кораблей. Дымки уже появились, идет эскадра победителей. Кто они? Японцы? Нет, это уж чересчур — с японцем? Впрочем, говорят, что они все исключительные чистюли. Нет-нет, это будут американцы, эти белозубые ковбои, вот кто это будет, и среди них какой-нибудь Роналд, рыцарски настроенный калифорниец; мягкие звуки блюза; воспоминание на всю жизнь... Ах, вздор!

Времени на чтение было немного, но она все-таки читала, в основном «Интернационалку», современная советская литература становилась невыносимой, сплошной социальный заказ. В Москве за эти годы были три раза, и каждый приезд превращался в сущий круговорот. Какая-нибудь великолепная машина наркомата, вылеты из этой машины, влеты в нее с покупками, все вокруг поражены полыхающим снеглазием, как сказал бы поэт. Иногда думаешь, что в Москву лучше наезжать, чем жить в ее рутине. Ну вот,

собственно говоря, и все. Ах, да, за это время еще родилась и дочка. Стало быть, имеется одиннадцатилетний сын и пятилетняя дочка, и на этом мы остановимся, хватит, задача продолжения рода вполне выполнена.

В один из вечеров вдруг произошло невероятное. Явился с визитом старый друг комполка Вадим Вуйнович, и это после двенадцати лет отсутствия, если не считать «случайных» встреч на вокзале и теннисном корте. Просто как с неба свалился! Из своего почти киплингского Туркестана приехал на Дальний Восток! Неужели специально, чтобы?..

Она подала чай в гостиную — чайный сервиз был приобретен в московской комиссионке, знаток сразу бы узнал изделие кузнецовского дома, но Вадим явно не был знатоком чайных сервизов, не обратил внимания, и, кажется, не видел проглатываемого напитка, — и теперь она сидела напротив командира, сдержанно полыхая глазами и улыбаясь с милой насмешкой.

— Не верю своим глазам! Вадим, это действительно вы? Посмотрите на него — эти седеющие виски, эти английские усики... знаете что? Вы стали даже более привлекательным, во всяком случае, более стильным с годами. Ну, расскажите мне о своей жизни, милый Евгений Онегин. Женаты?

Всегда при встречах с ним ей казалось, что вот еще миг, и закружится эротическая буря, но миг этот тянулся уже двенадцать лет.

Он говорил со спокойной грустью, хотя совершенно ясно было, что и он... да что там, конечно же, прежде всего он, это от него идет, он, очевидно, о ней не забывает ни на секунду...

— Да, женат. Мне тридцать семь, и я все еще комполка. Мы живем в Богом забытой дыре возле афганской границы. Моя жена — дикое животное. У нас трое детей. Я их люблю. Вот, собственно, и все...

Снова улыбнулся. Счастье смотреть на нее, очевидно, овладело им. Она и это понимала. Какое-то странное чувство посетило ее, показалось вдруг, что она потеряла бы свою красоту без этого, за тысячи верст, обожателя.

— Я вижу, вы все еще романтик! Признайтесь, Вадим!

Электрическое поле между ними раскалилось слишком сильно, и надо было выждать хоть минуту, дать разлететься хоть части пухлых электрончиков с их стрелами. После неловкой паузы он сказал:

— Разве я когда-нибудь был романтиком? Впрочем... Знаете, Вероника, вы, конечно, не помните, но я не забываю один мимолетный миг двенадцать лет назад... Именно миг, не более секунды... Конечно, вам никак не вспомнить, но... это был свет и жар, звук и дыхание... вся суть нашей молодости... и это вы дали мне, и это все еще живо...

Ошеломленная таким признанием, потоком смутных эмоций, она смотрела на него. Ей вдруг показалось, что и она сможет вспомнить то, о чем он сейчас говорил, еще одна секунда, еще одна, но все пролетало, а в следующий момент послышался стук в двери, явился благоверный, комкор Градов. Вади! Ника! Ну, вот и встретились! Какими судьбами? Мощнейшие удары по спине, по плечам, шуточный бокс, как будто и не было несколько затянувшейся размолвки. Пойдем, пойдем, за столом все расскажешь! Как хорошо, что завтра выходной!

Засиделись сильно за полночь и, конечно, на кухне, как и водится при встречах друзей. Вероникина сервировка давно уже вся смешалась. Глава дома даже порывался ковырять шпроты прямо в баночке. Три бутылки «московской» уже были деятельно опустошены, а четвертая только что открыта «на посошок».

Разговоры с милого прошлого все время поворачивали на современную военно-политическую ситуацию. Веронике в конце концов стало невмоготу.

— Ну вас к чертям, мальчики! Ваши «серьезные вопросы» пережевывайте без меня! Спать! Спать!

Она встала и, очаровательно качнувшись, покинула кухню. Вадим проводил ее глазами, выхватил очередную папиросу, смял ее, отбросил, встряхнулся, как бы приказывая себе отрезветь, положил руку на плечо друга, рядом с расстегнутым воротником, с его генеральскими ромбами. Странная субординация существовала между этими людьми. Никита всегда видел в ровеснике Вадиме старшего, сейчас, несмотря на то, что они были в столь разных чинах, это чувство еще усилилось.

— Никита, давай откровенно, — предложил Вадим. — Ты, конечно, знаешь причины, из-за которых я бросил у вас бывать двенадцать лет назад?..

— Я знаю одну причину, — сказал Никита.

— Ты знаешь и вторую! — нажал на его плечо Вадим.

Никита усмехнулся:

— Я только не знаю, какая из них первая, какая — вторая.

Вадим откинулся. Стул заскрипел под сильным телом.

— Ну, хорошо, это неважно. Важно то, что у меня теперь есть две причины для возврата.

Никита пересел от стола на подоконник. За окном во мраке горела только электрическая звезда на крыше Дома Красной Армии.

— Назови мне одну из твоих двух причин, — сказал он, поколебавшись, собрался с духом и добавил: — Вторую я знаю.

Последовала напряженная пауза. Неужели он все-таки сейчас начнет выкладываться, с досадой подумал Никита, изливать свою лирику, откровенничать перед мужем своего идеала? По пьянке чего только не наговорит офицер провинциального гарнизона! Он глянул на Вадима и сразу увидел, что ошибается, что любого рода снисходительность неуместна по отношению к Вуйновичу. По выражению лица он понял, что тот опять выходит на передовую позицию.

— Я приехал к тебе, Никита, чтобы узнать, что ты думаешь по поводу нынешних событий в стране, в вооруженных силах.

— Ты имеешь в виду?.. — начал было Никита, хотя переспрашивать не было никакой нужды. О чем еще могли в то время говорить два друга при том условии, что все барьеры будут отброшены и все недомолвки? Именно о том, о чем в то время никто не говорил, ни друзья, ни супруги: о чуме.

— Ты знаешь масштабы арестов?

— Догадываюсь. Сатанинские.

— А как ты понимаешь эти потрясающие признания командиров, признания в фашистском заговоре?

— Ответ может быть только один.

— Пытки? Однако ведь не с мальчиками они имеют дело, с героями. Вообрази себе их, себя самого во врангелевской контрразведке...

— Там было бы легче.

— Может быть, ты прав. От своих больше, от своих просто, очевидно, совсем невыносимо...

— Может быть, и так, а может быть, просто больше, очень просто, жесточее, кошмарнее...

— Но зачем, зачем? Что ему надо еще? Он уже и так бог, непогрешимый идол. Может быть, все-таки боится армии? Фашистский заговор? Вздор! Все это на пользу Гитлеру. Армия обезглавливается перед неминуемой войной! Тухачевский...

— Тише, ты!

— В чем дело? У тебя достаточно толстые стены, комкор. Тухачевский еще два года назад предсказывал

неминуемое столкновение с Германией, а в генштабе сейчас остороженько поговаривают о возможном союзе с державами Оси против Антанты. Безумцы!

Рассвет застал их на балконе. Раскуривалась шестая коробка «Северной Пальмиры». Никита с тупой досадой думал, что срываются его утреннее милование с Вероникой, получасовая гантельная гимнастика, холодный душ, растирание махровым полотенцем, здоровый «мечниковский» завтрак. У Вадима подрагивали губы, временами от плеча к пятке проходило подобие легкой судороги, разговор взвинтил его до последней пружины.

— Послушай, Никита, говорят, что Блюхер был не только формальным членом суда, но и давал на Тухачевского самые злостные показания. Верно это?

— Другие маршалы убедили его помочь следствию, — промямлил Никита.

Вадим зло усмехнулся.

— Ну, что ж, теперь его очередь переезжать на Лубянку! Наверное, уже и камеру присмотрели для героя.

Никита ничего не сказал в ответ. Весь разговор уже казался ему затянувшимся кошмаром. Вот она, расплата за юношеские восторги. «Нас водила молодость в сабельный поход...»

— А между прочим, он может это предотвратить, — тихо сказал Вадим, глядя на проступающие сквозь туман очертания деревьев. За парком еще не виден был, но уже угадывался Амур.

— Каким образом? — инстинктивно снижая голос, спросил Никита. Вдруг мелькнула мысль, что Вадим опять дирижирует их разговором.

— Ты должен знать, каким образом, — сквозь зубы процедил комполка. — Военному человеку полагається знать, как предотвращать вражеские действия.

Тут уже по-настоящему крутануло. Никита схватился за перила балкона. Внизу выкарабкался из подвала дворник Харитон. Протащил метлу.

— Ну, знаешь, Вадим... — пробормотал Никита. — Как ты можешь даже думать об этом? Поставить под угрозу революцию?..

— Какую там еще революцию! — широко раскрывая рот и почти беззвучно завопил Вадим. — Давно уже нет никакой революции! Ты что, не понимаешь?!

Он замолчал и теперь смотрел на Никиту в ожидании. Комкор же, будто мальчик, поглядывал исподлобья на товарища. Он не мог ничего сказать. Конечно, он понимал, что давно уж нет никакой революции, однако он лишь только понимал это, но никогда не произносил, ни мысленно, ни вслух, и никто вокруг не произносил это, и вот впервые это было наконец произнесено его боевым товарищем. Ошеломленный этим произнесенным откровением и следующим за ним призывом к действию, он молчал. Поняв, что не дожидается ответа, Вадим с силой ударил кулаком по перилам.

— Все разваливается и идет к черту, в жопу, на х...! Мы все обречены! Ну что ж, пусть так и будет! Хочешь, я скажу тебе теперь вторую причину, по которой я здесь появился, старина?

Никита пожал плечами.

— Вада, не злись, я ведь тебе уже сказал, что я знаю твою вторую причину.

— И все-таки мне хочется сказать тебе об этом, — настаивал Вадим. — То, что ты так великолепно знаешь. Ну что ж, будешь знать еще лучше. Я люблю твою жену и постоянно, ежедневно и еженощно мечтаю о ней. Четыре тысячи шестьсот восемьдесят дней мечтаю о ней...

Никита обнял его за плечи и слегка тряхнул. Ладно, ладно, легче. Мы мужчины и солдаты, мы видели всякое. Давай-давай, высказался и достаточно. Ты сказал об этом, друг, а я это слышал. Остальное

пролетает вместе с жизнью. Вдруг, вспомнив нечто важное, к счастью, не относящееся ни к первой, ни ко второй причинам, вынул из кармана треугольное письмо, которое как раз сегодня собирался бросить в почтовый ящик и вот опять забыл.

— Послушай, Вадя, ты ведь отсюда в Москву? А здесь как раз московский адрес...

— Доставим, — буркнул Вадим. — Я знаю, что это за письмо, так зека сворачивают. Сразу, как приеду, так и доставлю... — Он усмехнулся... — Хотя бы это сделаю... — Еще раз усмехнулся. — Знаешь стихи: «Мы ржавые листья, на ржавых дубах...»?

Ежедневное функционирование штаба ОКДВА обычно развеивало Никитины мрачные предчувствия и «упадочное» настроение. Все шло так четко и даже бойко: вбегали и выбегали молодые адъютанты, охрана вытягивалась, стучая каблуками, секретарши трещали на пишмашинках, приезжали командиры крупных соединений и лихие ребята из групп пограничной разведки, звонили телефоны, поддерживалась радиосвязь со всеми частями, раскиданными по гигантскому пространству Края, от Аляски до Кореи.

Обстановка в южной части региона с каждым месяцем накалялась.

Японцы явно прощупывали Красную Армию, пытались определить ее боевую силу. Нетрудно было представить их дальний прицел: в случае войны на Западе атаковать и занять Приморье с Владивостоком и Хабаровском, может быть, пройти еще дальше, до Байкала.

Начальник оперативного отдела комкор Градов проводил частые совещания с командирами соединений. На них почти постоянно присутствовал главком, маршал Блюхер.

— Стратегия их нам в общих чертах ясна, товарищи, — говорил Никита, — но вот в ежедневной тактике порой бывает трудно разобраться, несмотря на нашу, скажу без ложной скромности, неплохую разведывательную деятельность.

Склонившись к юго-восточному углу огромной карты, он стал показывать перемещения частей армии генерала Тогучи, непонятную концентрацию сил в районе озера Хасан. Работа указкой напоминала резьбу по дереву. Вместе с другими командирами Блюхер смотрел на ладную фигуру своего лучшего соратника по дальневосточной красной рати, фигуру всегда столь уместную и вселяющую уверенность в некоей целесообразности того, что порой уже казалось маршалу бессмысленной игрой каких-то коварных идиотов. Надеюсь, что хотя бы его не..., думал он и на частичке «не» обрывал свою мысль. После ареста Лапина, а особенно после расправы над Тухачевским, эта мысль, применительно к каждому соратнику, посещала его постоянно, едва ли не преследовала, вот именно преследовала, мучила, иссушала, может быть, прежде всего своей незавершенностью, этим трусливым обрывом. А завершалась эта мысль только по ночам, во сне, и выглядела, мерзавка, некоей лентой устаревшего телеграфа со знаками Морзе: «надеюсь — что — хотя — бы — меня — труса — предавшего — боевого — друга Мишу — не — арестуют», — после чего могучий маршал в ужасе вскакивал с постели, словно десятилетний мальчик.

Совещание было прервано появлением начальника радиоузла. Он принес шифровку от Ворошилова. Командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной Армией срочно вызывался в Москву. С шифровкой в руках Блюхер на мгновение отключился от проблем Дальнего Востока: быть может, это вот и есть завершение моей незавершаемой мысли и...? Мгновение спустя он встал, резко, привычно оправил

гимнастерку, «продолжайте, товарищи», и вышел из оперативного отдела. Сразу же поняв, что в шифровке было что-то серьезное, командиры уткнулись в свои записи. Раньше они обменялись бы молчаливыми взглядами, теперь каждый взгляд может быть прочитан как вражеская вылазка.

После совещания Никита, как обычно, отправился в кабинет Блюхера. Командующий сообщил ему о содержании шифровки. Что-то необычное присутствовало в воздухе кабинета. Запах табака, догадался Никита, после чего и увидел пепельницу с тремя начатыми и почти немедленно сломанными папиросами. А ведь Блюхер недавно бросил курить. Они стали обсуждать секретные перемещения двух механизированных бригад.

— Это движение должно быть начато еще до моего возвращения из Москвы, — сказал Блюхер.

Возникла пауза, после чего Никита поднял голову от блокнота и посмотрел маршалу прямо в глаза.

— Василий Константинович, вы действительно собираетесь сейчас ехать в Москву?

Глаза маршала были полны застойного мрака: то ли страх, то ли угроза — не разобрешь.

— Что за странный вопрос, Никита Борисович, — медленно проговорил он. — Как я могу не ехать, если вызывает нарком? Немедленно и отправлюсь, как только будет готов самолет.

Никита не отрывал взгляда от этих глаз.

— Да-да, я понимаю, но... Василий Константинович, неужели вы отправитесь сейчас в Москву один, без группы охраны?

В глазах маршала сквозь застойную муть стал просвечивать свинец.

— Еще один вопрос такого рода, Никита Борисович, и я прикажу вас арестовать.

Еще секунду их глаза не могли разойтись в пространстве. Вот это как раз то, что нас всех сейчас пожирает, подумал Никита. Страх и беспощадность. После этого они попрощались.

Ничего особенного не происходит. Происходит только многомиллионный заговор людей, молчаливо договорившихся, что с ними ничего особенного не происходит. Особенное происходит только с теми, кто виноват, с нами же все в порядке, все, как обычно. «Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда»... А между тем пытаются не только арестованных, мы все — под пыткой.

Таким страшным мыслям предавался комкор Никита Градов, перелистывая иностранные военные журналы в тишине и уюте своей, как они всегда шутили, «вероникизированной» квартиры. Звонки в дверь и громкий страшный стук. Ну, вот и все! Немедленное рыдание жены. Немедленно зарыдала, тут же, без промедления. Не удивленный возглас, а немедленное рыдание. Значит, ждала.

Комната немедленно заполнилась чекистами, вошло не менее семи человек, трое из них с пистолетами: все-таки военного человека брали, а вдруг дурить начнет. Никита не дурил. Старшой подошел к нему с нехорошей улыбкой на устах.

— Пойдете с нами, Градов. Вот ордер на арест.

Никита узнал молодого майора. На одном из концертов в ДКА он несколько раз на них оглядывался. Кажется, на концерте джаза Леонида Утесова. Можно было бы и не заметить — на Веронику всегда оглядывались мужчины, но эта светлоглазая, блондинистая физиономия — тип киноартиста Стоярова — запомнилась. Никита держал в руках гнусную бумажку ордера. Глупый детский розыгрыш вдруг выпрыгнул

из памяти. Протягивается бумажка. Хочешь фокус покажу? Хочу-хочу! Помни эту бумажку! Ну вот, помял! Ну вот, и спасибо, давай сюда! С помятой бумажкой коварный шутник убегает в уборную.

— Какова причина ареста, майор? — спросил Никита.

Старшой удивленно поднял бровь: петлицы его были не видны под штатским пальто. Потом ухмыльнулся.

— Не можете догадаться, Градов? Мы вам скоро поможем.

Откуда они набрались этой блатной мимики и ухмылок? Ощущение такое, будто банда шурует в квартире. Чекисты открывали шкафы, снимали с полок книги. Только не смотреть на ревущую Веронику. Только бы самому не разрыдаться. Подчеркнутое употребление моего имени без «товарища» и без звания; можно было бы и безлично; хотят, чтобы дошел смысл происходящего; все кончено — ты теперь уже не комкор и не товарищ...

— Я требую...

— Забудь это слово, Градов!

Вот уже и «на ты». Очевидно, это запрещается инструкцией, снова переходит «на вы».

— Вы лучше подумайте, Градов, о своем сотрудничестве с врагом партии и народа, бывшим маршалом Блюхером.

Его начали избивать уже в фургоне. Один ударил в челюсть, другой в глаз, третий в ухо. Майор рванул и расплосовал в один прием добротную суконную гимнастерку. Ошеломленный Никита через минуту уже не пытался уклониться от ударов. Впрочем, они теперь ему и ударами не казались. Казалось, на раскатанной какой-то поверхности разворачивается блистающая баталия. Вспышки взрывов по всему небосводу. Мы сопротивляемся. Превосходящие силы нас подавляют. Конец.

Глава шестнадцатая. А НУ-КА, ДЕВУШКИ, А НУ, КРАСАВИЦЫ!

Через две недели после ареста мужа Вероника с детьми добралась до Москвы. Ничего более унижительного, чем последние дни в Хабаровске, не случилось в ее жизни. Буквально на следующий день после катастрофы явились из хозуправления и приказали в кратчайший срок очистить квартиру. Соседи от нее шархались, как от прокаженной. Детям во дворе вчерашние наперсники игр кричали: «Троцкисты-фашисты!» Борис IV подрался с другом, сыном окружного прокурора. Пришел с расквашенным носом. Прокурора, впрочем, тоже вскоре забрали, и мальчики перед отъездом успели помириться. В НКВД, куда она пошла за справками о муже, с ней были грубы или, что еще более оскорбительно, безучастны. В приемной сидели какие-то жуткие жирные сержанты с мыльными мордами скопцов. Мимо проходили, стуча сапожищами, жопастые бесполье бабы в гимнастерках с ремнями. Никакими сведениями о гражданине Градове Никите Борисовиче не располагаем. Как это не располагаем, да ведь вчера же только, да ведь третьего дня же только забрали! Потом стали говорить: пока не располагаем, найдите через несколько дней, через два дня, через день, завтра. Она сидела в приемной злодеев, под портретом премудрого Ленина, напротив портрета Дзержинского с его светлой улыбкой садиста, рыдала в полной беспомощности. Наконец спустился по злодейской лестнице со злодейских вершин голубоглазый злодей с майорскими пет-

лицами и сказал, что Градов отправлен на следствие в Москву. После этого внимательно оглядывая ее какими-то тоже не вполне мужскими глазами, он добавил, что порекомендовал бы ей поменьше думать о предателе родины, а побольше о своей собственной жизни.

Она бросилась на вокзал, очересть за билетами, потом в школу за табелем Борьки, потом упаковываться, отдавать вещи в комиссионку. В растасканную квартиру пришли оценщики мебели, дали жульнические цены, она согласилась. Вокруг была полная пустота, как будто она не жила в этом городе столько лет, как будто бы никогда не была здесь, в общем-то, царицей бала, черт бы его побрал. Ни военврач Берг, ни старший лейтенант Вересаев из штаба авиации на горизонте не появлялись, не говоря уже о других теннисистах меньшего калибра. Впрочем, кто знает, может быть, уж им и самим светят совсем другие, далеко не теннисные поля. В командном корпусе ОКДВА, похоже, шел полный погром. Только сержант Васьков, шофер комкора, вдруг заявился помогать со сборами. Ходил по комнатам, остро вглядывался, то ли шпионил, то ли слямзить чего-нибудь хотел. Впрочем, может, и в самом деле деток жалел. Пусть ходит, все-таки хоть одна живая душа.

Телеграмму в Серебряный Бор Вероника дала уже перед самым отъездом с вокзала: «Возвращаюсь насовсем детьми. Никита кажется Москве. Целую плачу. Вероника». Должны понять, что произошло, если еще не знают. Впрочем, как они могут не знать? Об аресте Блюхера, кажется, было в газетах, скорее всего и Никита в этой связи упоминается: «Разоблачена и обезврежена еще одна группа фашистских заговорщиков...» Потянулись бесконечные дни пересечения Сибири в западном направлении. В вагоне стояла духота, окна не открывались, разило потом и протухшей пищей, все чесались, дети зверели от безделья, отовсюду слышались то храп, то попердывание, но больше всего жвачка: после Байкала жевали омуля, перед Омском какое-то, оказывается, знаменитое копченое сало, повсюду похрустывала единственная санитарная упаковка, скорлупа яиц. Проводники временами разбрасывали хлорку, чтоб народ тут не перезаражал друг друга всякой гнусностью. Подвыпив, то тут, то там прокисшие башки вели какие-то бесконечные прокисшие толковища. Вероника, по сути дела, впервые путешествовала в общем — плацкартном. Единственным утешением был маленький томик Пушкина. Забившись в угол, она бесконечно, то молча, то шепотом, повторяла: «Прощай, письмо любви, прощай! она велела... Но полно, час настал, гори, письмо любви... Свершилось! Темные свернулись листы; На легком пепле их заветные черты Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый, Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди...» Горькие строки ее утешали. Не только у нас все было разбито, разрушено, у него тоже вдруг все начинало скользить под откос; в горечи человеческих судеб есть тоже свой убаюкивающий ритм... может быть, это единственное, что остается, но это немало.

Вконец измученные, исчезавшие и одуревшие «никитяне», как называли эту часть семейства в Серебряном Бору, вывалились из вагона на Ярославском вокзале прямо в объятия Бориса Никитовича и Мэри Вахтанговны. Женщины, включая пятилетнюю Верочку, слились в рыданиях. Два Бориса молча стояли. Профессор заметил, что у любимого отпрыска появился взгляд исподлобья сродни тому, с которым привезли из Горелова Митю.

Весь день до вечера «никитяне» мылись, обстирывались, сушились. Залезли потом под чистейшие про-

стыни, под старые, будто вечные, пуховые градовские одеяла. Дети немедленно заснули. Вероника, свернувшись клубочком, лежала на столь знакомой кровати, в которой, по всей вероятности, и зачат был Борис IV, прислушивалась к звукам большого старого дома: к поскрипыванию паркета внизу, к уютному подвыванию ветра на чердаке, к голоску хлопотливой Агаши, к шагам, возгласам, отрывистому вопросительному рывканию Пифагора. О Никите почему-то в этот момент не думалось. Вообще ни о чем не думалось, а только лишь ощущалась тихая радость пристанища. В один из блаженных этих моментов снизу долетело, что пришла телеграмма от ее родителей, которые отдыхали в Крыму в писательской колонии, и оттуда, из писательской колонии, горячо обнимали любимую дочку и очаровательных внуков. Она не стала вылезать из-под одеяла, чтобы не прерывать радости пристанища.

Вечером, к ужину, был полный градовский сбор, вокруг стола расположились и Борис Никитович, и Мэри, и Кирилл с женой Цицилией, и пятнадцатилетний Митя, который хоть и считался их приемным сыном, домом своим полагал Серебряный Бор, и Нина с Саввой, и их двух-половиной-летняя Еленка, и друг дома вечный холостяк Пулково, и Пифагор, который, несмотря на свой весьма и весьма солидный собачий возраст, был в отличной форме и все еще считал себя щенком; и Агаша, если можно о ней сказать «расположилась», ибо курсировала беспрерывно между столовой и кухней, и ее почти законный «друг жизни», популярнейший в этой части Подмосковья, бывший участковый, ныне инспектор райфо и по совместительству замзав близлежащего лесничества товарищ Слабопетуховский, который в общем-то проводил больше времени на кухне возле буфета с гранеными стеклами и только изредка присаживался к общему столу, чтобы осчастливить присутствующих каким-нибудь свежим высказыванием о происках Муссолини в Абиссинии; и, разумеется, главные виновники этого сбора — «нихитяне», Вероника, Верочка и Борис IV; не было только общего любимца Никиты, их «красного генерала», который всегда за этим столом вел себя слегка как мальчик, наперсник скорее Нины или даже Пифагора, чем сурового младшего брата, и потому не было и торжества прежних лет, преобладало молчание, потупленные взоры, вздохи; едва ли не поминки, так это выглядело теперь.

Мэри сидела рядом с Вероникой, гладила ее по голове, целовала то в щеку, то в плечо. Впервые между невесткой и свекровью возникла настоящая близость. Борис Никитович, одной рукой вороша вихры своего внука, другой поднял рюмочку настойки и обратился ко всем:

— Давайте выпьем за нашего Никиту! Я уверен, что он с честью выйдет из этого страшного испытания! Я надеюсь, Мэричка, Вероничка, я серьезно надеюсь, что скоро все будет позади. Весьма важная персона вчера шепнула мне: «Держитесь, профессор, ошибки случаются...» Он так и сказал — ошибки...

Все, разумеется, помнили, как Борис Никитович семь лет назад столь убедительно продемонстрировал свои кремлевские связи, поэтому и нынешний шепоток в сферах был принят серьезно, все с надеждой приободрились, Мэри демонстративно перекрестилась, глава семьи успокоительно кивал. Кирилл с уверенностью высказался:

— Я уверен, что Никита будет оправдан. Это, может быть, займет месяц или два — по некоторым причинам дело Блюхера очень запутано, противоречиво, оно, очевидно, вкрутило в свою воронку многих невинных людей — но, я уверен, что как только все распутается, Никиту освободят.

— Если он, конечно, невиновен, — вдруг произнесла Цицилия.

Все, изумленные, повернулись к ней и вдруг заметили, что она тут как бы несколько ни при чем, как бы несколько отчужденный элемент, что в ее строгой позе как бы читается некое заявление о принадлежности к более серьезному содружеству, чем градовская семья.

Нина вспыхнула, уставилась горящим взглядом на Цицилию.

— Ты говоришь «если», Циля! Что это значит? Что значит в твоих устах слово «невиновен»? Ты не очумела, дорогая подруга?

Цицилия только чуть повернула голову в сторону бывшей товарки-синеглазницы, ныне родственницы-золовки. С определенным, впрочем, не чрезмерным высокомерием и чувством идеологического превосходства пояснила для всех свою позицию:

— В принципе органы пролетарской диктатуры не могут действовать неправильно или несправедливо. Конечно, в условиях нарастания классовой борьбы могут быть ошибки, но они чрезвычайно редки. Видите ли, товарищи... — Она явно почуствовала себя на лекционной трибуне; забыв про Нинину атаку, подтянулась большущей грудью, залучилась веснушками по адресу просвещаемых масс. — Понимаете ли, товарищи, уже сам факт ареста доказывает: что-то было неверным в политическом или идеологическом поведении арестованного. В эти сложные времена, когда явно сформировался новый огромный геополитический заговор против Советского Союза с неременными, широко внедренными филиалами внутри страны, в эти сложные времена, товарищи, и за себя-то нельзя поручиться, не говоря уже о друзьях или родственниках. Органы знают ситуацию лучше нас всех, они все поставят на свое место, они разберутся во всем. Неограниченное доверие к органам — это неотторжимый элемент истинной партийности!

Кирилл сидел, опустив глаза. Под лучиком заходящего солнца, проникшим в щель между синим и красным ромбами окна, на лице его пылало какое-то кубистическое пятно. Если оторваться от классовых позиций, то, что сейчас говорит его жена, звучит просто чудовищно, но с классовых позиций, с партийной точки зрения она совершенно права, и не он ли сам всегда замечал за братом явный, скажем так, недостаток идейности.

— Что она говорит! — воскликнула Нина. — Братцы, послушайте, что она несет!

Тут только Цицилия заязвилась уже непосредственно в Нинин адрес.

— Что же странного находит в моих словах член Союза советских писателей?

— По твоей логике, Циля, ты одобрила бы и арест своего собственного отца, да? Органы выше отца, верно? — Нина даже как бы зашипела от своего горячего сарказма.

— Да! — воинственно выкрикнула ей в лицо Цицилия.

Кирилла этот возглас будто палкой в ухо ударил.

— Розенблум! — вскричал он.

— Градов! — Цицилия ударила кулаком по столу. — Я люблю своего отца, но как коммунист я больше люблю свою партию и ее органы!

— Нина, — Мэри Вахтанговна положила ладонь на дрожавшую руку дочери.

Возникла неловкая пауза. Вдруг выяснилось, что даже и здесь, за отчим столом, не все уже скажешь впрямую.

Вероника тихо плакала в платок.

— Мэричка, — шептала она, — если бы ты видела эти лица, эти чудовищные хари...

Мэри встала, потянула Веронику.

— Пойдем в кабинет, голубка моя, я поиграю тебе Шопена.

Тут же поднялся и Пулково.

— Можно и мне с вами?

— И я с вами, — присоединился Борис Никитович.

В кабинете меломаны расположились как бы по законам мизансцены: Мэри за инструментом, Лё — облокотившись на инструмент, Градов в своем любимом кресле, в том самом, в котором он когда-то лечился музыкой; Вероника на ковре у его ног, руку положив на его колено; к ней пристроилась, прижавшись щекой, нежная Верочка; притопала и крошка Леночка Китайгородская, тоже уселась на ковер, глядя на «бабу». Мэри пустилась в мощный бравурный полонез, первыми же тактами заглушивший спор в столовой и вообще опровергнувший НКВД. Вдруг пианистка бросила клавиши, в панике вскочила с табуретки, бросилась к дверям, крича:

— Где мальчики?! Кто-нибудь видел Митю и Борю?

Весь дом переполошился: о мальчиках и в самом деле забыли. Нашлись они в саду. В сгустившихся сумерках подвижный, быстрый Борис IV с подростком-увальнем Сапуновым почти невидимым мячом играли в футбол. Верхушки сосен были освещены розовым, над ними в быстро густеющем зеленом уже видна была звезда градовского дома. Она немного плакала над ним.

В те времена жизнь не мешкала со свойственными ей ироническими поворотами. Несколько дней спустя после описанной выше «свистать всех наверх» встречи в Серебряном Бору Цицилия Розенблум работала по обыкновенно в библиотеке института мировой политики. В этом месте было так приятно обогащать теоретический багаж, да и актуальной информации было немало, институт выписывал добрую дюжину газет из-за рубежа, боевые органы Коминтерна.

Можно себе представить, с какой тоской и надеждой пролетарии Англии и Франции, и Соединенных Штатов Америки смотрят на восток, на Москву, когда стоят в стачечных пикетах, когда блокируют ворота своих фабрик, не пропускают штрейкбрехеров. Поражает цинизм гитлеровцев, они тоже называют себя социалистической рабочей партией. А ведь сами шлют ультрасовременные аэропланы бомбить республиканцев в Испании! Стол Цили был заставлен стопками томов классиков эм-эл, могучее заграждение от дикостей ежедневности. Внутри этой ограды она шелестела комгазетами. Гармония, вот она — только здесь, несмотря на противоречия международного рабочего движения, она — только здесь; мы сами творцы своей гармонии.

Шедший по проходу коллега позвал ее к телефону. Кажется, Градов тебе звонит, Розенблум, по какому-то делу, сказал он с улыбкой. Любовные отношения «строного юноши» (каким Кирилл и по сей день остался, несмотря на свои 35 лет) и неряшливой, рассеянной, довольно нелепой «Розенблумихи» были постоянной темой веселых разговоров в «теоретических кругах Москвы».

Телефон висел на стене неподалеку от стойки выдачи книг. Под ним стоял круглый столик и венский стул. Трубка висела башкой вниз. Цилу этот вид трубки почему-то кольнул под печенку. Что-то подспудное шевельнулось, отголосок древних атавизмов. Любимый голос товарища Градова быстро заштопал маленькую прореху в материализме.

— Привет, Розенблум! Это Градов!

Цили радостно вздохнула.

— Привет, Градов! Ты чего звонишь? Поздно пришел сегодня?

— Нет, — сказал Кирилл. Голос его, вернее, его

присутствие на проводе вдруг куда-то отплыло, потом выплыло вновь. — Я не об этом. Просто... просто не жди меня.

— Что ты имеешь в виду: «Не жди меня»? Едешь на периферию? Куда? На сколько? — От постоянных семинарских занятий у нее в последнее время выработалась привычка в простейших фразах подчеркивать каждое слово.

— Послушай, Цили, — сказал Кирилл, впервые за все годы назвав ее по имени. — Я звоню из кабинета следователя НКВД. Меня вызвали к ним. Сначала я думал, что это в связи с Никитой, но я ошибался. Это в связи со мной. У них есть ордер на мой арест.

— Кирилл!!! — закричала на весь зал Цицилия.

В трубке уже был отбой. Она испустила низкий, животный, начавшийся будто бы в самых низах тела вопль и сползла со стула на пол. Брошенная вниз башкой трубка несколько секунд поплясывала в воздухе, потом затихла. Коллеги за столиками по всему залу прилежно, не поднимая голов, штудировали литературу. Никто не осмелился прийти на помощь рухнувшей «Розенблумихе», все прекрасно понимали, что произошло. Тема комической влюбленности завершилась и испарилась.

Опомнившись, она вскочила и побежала прочь из института мировой политики. В дикой последовательности, в наскоке друг на друга, в сдвиге перед бегущей, уже несколько отяжелевшей за последние годы женщиной, будто в футуристическом кино, мелькали планы деревьев с грачами, ворота института, крупешник ноздреватой хари вахтера, поднятый капот автобуса, пар от перегревшегося мотора, внедрение теории в практику и наоборот, наоборот, наоборот, практика, как асфальтоукладчик, утонула нежную поверхность теории...

Вот так в один из дней третьей пятилетки два стойких большевика перешли на более интимный способ обращения друг к другу.

Через несколько дней состоялось общее партийное собрание института. Циле предложили место в первом ряду: все знали, что предстоит ее выступление по отмежеванию от врага народа К. Б. Градова. Большинство сотрудников, хоть и занимались свинским делом, были не свиньи и потому жалели бедную Цилку: нелегко все-таки отказываться от мужа даже ради великого общего дела. Каждый к тому же подсознательно, а может быть, и почти сознательно, подставлял себя на ее место: может, завтра и моя очередь придет отмежеваться, маховик чистки работает все с большим ускорением. К числу гуманистических чувств можно отнести и неизбежно охватывающее зал возбуждение, ожидание спектакля.

Четыре наложенных друг на друга профиля со стены над президиумом с возвышенной безучастностью смотрели в окно на птичий разнобой, моргал только зажатым между Марксом и Лениным Энгельс; ближайший, однако, к аудитории Иосиф Виссарионович Сталин являл полноразмерную щеку, стопроцентной непреложности. Председательствующий секретарь парткома Репа (из красных латышских стрелков) начал собрание.

— Мы собрались сегодня, товарищи, чтобы одобрить арест органами НКВД бывшего члена нашего ученого совета Градова и осудить вражескую деятельность этого человека, прокравшегося по заданию антисоветских подрывных центров в наш...

Тут вдруг произошла заминка. Репа хотел сказать «в наш здоровый коллектив», но вовремя схватил себя за язык: какой же он «здоровый», этот коллектив, если уже седьмого за два месяца провожаем? Скажешь «здоровый коллектив», а потом тебе это припомнят

как попытку выгородить других заговорщиков. Он строго кашлянул и закончил фразу:

— ...в наш коллектив.

Заминка для некоторых не прошла незамеченной, однако никто не переглянулся. При таких догадках сейчас не переглядывались, но потупляли глаза.

Подобные собрания в учреждениях стали в последние годы чем-то вроде ритуала, сродни проводам на пенсию, устроенным, впрочем, заочно. Ораторы говорили о провожаемом с теплотой, накаленной до ненависти. Публика едва ли не привыкла ко всей процедуре. Ходит себе какой-нибудь человек, старший или младший научный сотрудник, собирает профсоюзные взносы или вывешивает стенгазету, хлопочет о путевке в пионерлагерь для детишек, потом перестает появляться на работе; значит, либо бюллетень выписал, либо — взяли; второе вернее. Значит, обязательно устраивается собрание по осуждению и отмежеванию. Отмежевываются сослуживцы, любовницы, родственники. Дело в общем-то хоть и бытовое, но довольно интересное. Если же придет в голову шальная мыслешка — «а вдруг и меня вот так же», — немедленно будет вытеснена резонным — «ну, меня-то и в самом деле не за что». Ну, а если Провидение вдруг все-таки задает тебе ужасающий, ледящий вопрос: «А Градова-то за что, гаденыш?» — быстрым движением головы уворачиваешься от вопроса Провидения.

В тот день тоже все шло, как обычно. Выступило несколько сослуживцев Кирилла. Говорили о том, что еще в старых трудах Градова можно обнаружить тщательно замаскированные послы правотроцкистского блока. Говорили о его возможных связях с оппозицией в двадцатые годы, о сочувствии к кулакам. Говорили о том, что пора раз и навсегда покончить со всеми формами замаскированной контрреволюции. Ждали выступления кандидата исторических наук Цицилии Розенблюм, до сегодняшнего дня законной супруги выявленного врага. Некоторые женщины в зале, в частности работницы библиотеки, тайные собирательницы стихов Ахматовой, в душе укоряли Цилю: могла бы не прийти в самом деле, могла бы заболеть, погрузиться как бы в протрацию... Товарищ Репа представил слово товарищу Розенблюм. Пока Циля шла к трибуне, перед ней все время стоял образ отца, того самого абстрактного отца, о котором недавно разгорелся столь яростный спор на градовской даче. Конкретный отец, тишайший скромнейший бухгалтер Наум, тоже ведь говорил: «Не ходи, Цилька, на это собрание, сохрани в себе человека». Ее била дрожь, и не было никаких сил взять себя в руки. От малейшего соприкосновения с ее телом нештатная трибуна начинала трястись, дребезжали краями друг о друга графин и стакан.

— Товарищи, — начала она. — Никогда не было более страшного момента в моей жизни. В тысячу раз легче бы мне просто умереть за партию и социализм. Я всегда знала Градова как бескомпромиссного проводника генеральной линии партии, как верного ленинца, несокрушимого сталинца. Он всегда отвергал малейшее отклонение от курса, взятого сталинским политбюро. Товарищи, при всем уважении к нашим славным органам пролетарской диктатуры, я должна сказать, что в этом случае они совершили ошибку. Я убедительно прошу руководство НКВД пересмотреть свое решение об аресте Кирилла Градова, ну, а уж если этот пересмотр не принесет желаемых результатов... тогда... — Она вскинула голову, как при удущье, и в то же время схватила обеими руками свое горло, будто пытаясь сдержать вопль: — Тогда пусть берут и меня! Мы с ним — одно! Градов и Розенблюм — это одно и то же! Я не могу жить без него, товарищи!

Потрясенная аудитория молчала: такого спектакля

не ожидал никто. Циля оторвалась от трибуны, перебирая руками спинки пустых стульев, добралась до стены, сползла вниз, в зал, и грохнулась на свое место почти без сознания. Библиотекарша, тайная почитательница Ахматовой, побежала за водой. Товарищ Репа от страха распался гневом, стукнул кулаком по столу президиума, заремел:

— Что за безобразное выступление?! Розенблюм не уважает своих товарищей, свою партийную организацию! Вместо того чтобы признать недостаток бдительности в отношении к тщательно замаскированному врагу, она расслабила все тормоза и отдалась голосу пола! Это недостойно члена партии! Это позор! Предлагаю объявить Цицилии Наумовне Розенблюм строгий выговор и передать ее дело на рассмотрение в райком!

Между тем по всем площадям и во всех квартирах страны через репродукторы гремела маршевая песня:

**А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Пускай поет о нас страна!
И звонкой песнею пускай прославятся
Среди героев наши имена!**

И миллионы людей по всей стране, включая и чекистов, и завтрашних зеков, не без удовольствия вспоминали экранный марш чудеснейших грудастых дев; идем вперед, веселые подружки, да-да, вот в этом роде, страна дает приют для всех сердец, кажется так, да, везде нужны заботливые руки, ха-ха-ха, и звонкий жизнерадостный бабел!

Возник культ советской блондинки. Построенный на бывших Воробьевых, ныне Ленинских горах советский Голливуд, огромный киноцентр «Мосфильм», создал миражную диву радостных пятилеток. Белокурые, златокудые и даже достаточно длинноногие Любовь Орлова, Марина Ладынина, Лидия Смирнова маршировали в рядах энтузиасток, нежно провожали в дальний путь героических парней, летчиков, танкистов, полярников, работников Наркомвнудела. В конце каждого фильма возникали роскошные, внешне голливудские, но исполненные глубокого социалистического содержания апофеозы, своеобразные фонтаны знамен, триумфальные ступени либо для подъема в сияющее будущее, либо для спуска к ликующим массам. Апофеоз шел рука об руку с легкой комедией, с лирикой, развевались крепдешиновые платья, мелькали белые туфли, рубашки-апах; впрочем, и здесь, и в любовной теме, в противовес безнравственности и безыдейности буржуазии развивались принципиально новые, исполненные высокого гуманизма отношения между людьми-строителями. Впервые в истории на огромном пространстве Земли, а именно на одной шестой, обращенной к Полярной звезде части ее Суши так мощно процветал оптимизм.

Дети в школах под присмотром учителей замазывали густыми чернилами имена и портреты вчерашних героев, а ныне врагов, в учебниках советской истории. На следующий год учебники передавались младшим, и никто уже не вспоминал исчезнувших в чернильной ночи. Недостатка в героях, впрочем, не ощущалось. Жизнь рождала новых едва ли не еженедельно. Славные сталинские соколы спасли зимовку челюскинцев! Вот вам первые герои Советского Союза, летчики Ляпидевский и Водопьянов, вот вам славный героический бородач Отто Юльевич Шмидт! Дрейфующая станция Папанина прошла над Северным полюсом! К ним на выручку идет ледокол «Красин»! Шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля! Чкалов, Байдуков и Беляков перелетели без посадки

через Северный полюс в Америку! Народ тысячами высыпал на улицу встречать славных сынов Отчизны. Они ехали в открытых машинах по середине только что расширенной улицы Горького, сквозь бурю листовок сверкали их белозубые улыбки. Питомцы комсомола! Солдаты партии! Все больше и больше замечательных песен рождала советские композиторы. «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» — гремело из репродукторов. Дети бежали с охапками цветов к Мавзолею Ленина. Отцы нации, оставшиеся на данный момент в живых, бандиты Кобы Джугашвили, протягивали им навстречу благородные честные руки. Таджикская девочка Мамлакат, собравшая больше всех хлопков, прижималась персиковой ланитой к рябой щеке пахана. «И звезды сильней заблистали, И кровь ускоряет свой бег, И смотрит с улыбкою Сталин — Советский простой человек».

Ах, как хорошеет Москва! Милиции выдали белые шлемы и нитяные перчатки! Целиком приподнимаются и передвигаются дома, чтобы расширить улицы. Катят наши советские автомобили, эмки и зисы! Республиканская Испания, отражая с нашей помощью нападение фашистов, посылает нам апельсины, каждый завернут в красивую тонкую бумажку. Спортивная жизнь бурлит! В футболе бьемся с лучшей европейской командой басков. Несравненная Нина Думбадзе, землячка нашего вождя, мощно поворачивает колонны ног, могучая дискболшша. Несравненный Николай Озолин поражает всех сверхвысокими прыжками с шестом. А сколько лирики вокруг! «Саша, ты помнишь наши встречи в приморском парке, на берегу? Саша, ты помнишь этот вечер, весенний вечер, каштан в цвету?» В волшебных сумерках воображения проплывают какие-то мраморные лестницы, вазы, скульптуры, и все принадлежит народу, в санаториях наркоматов плещет девичий смех, нежная чистая игривость, погоня с возвышенными намерениями, просто сказать: «Вера, завтра я улетаю, куда — сказать не могу, ты понимаешь?» «Да, понимаю! Возвращайся скорее!» Значит — любит!

Ну прощай, дорогой, наш боец молодой!
Береги ты родные края!
А вернешься домой, и станцует с тобой
Го-о-ордая любовь твоя!

Не мешая никому жить, любить, работать, прокачивали по ночным улицам «воронки». Влюбленные их не замечали. Каждый занят своим делом, в конце концов. По-прежнему вздрагивая от шума лифта в ночи, москвич несколько минут прислушивался, потом сладко потягивался: кажется, пронесло, да и вообще, вроде, пошло на убыль, глядишь и, минует чаша сия, а завтра выходной, и — на футбол, в кино, на «Цирк», на концерт юмориста Смирнова-Сокольского!

На Тушинском аэродроме гремел очередной праздник. Трибуны и часть поля были заполнены возбужденной толпой. Всеобщее внимание было приковано к большому дюралевому трехмоторному самолету, который стоял чуть поодаль и напоминал бы чучело монстра, если бы не большие буквы «СССР» на боку. Играли оркестры, развевались знамена, проходили отряды пионеров с горном и барабаном. Шел митинг, посвященный предстоящему беспосадочному перелету на Дальний Восток женского экипажа: Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Над закругленным фасадом Центрального авиационного клуба зиял огромный портрет Сталина в каменной большевистской фуражке. Меньшими изображениями, как в фуражке, так и без оной, теснело

поле. Там и сям мелькали также недавно вошедшие в употребление двухголовые портреты — котоподобный Сталин, сжавший в объятиях счастливую широкоскулую мышку Мамлакат.

К самолету толпа не подпускалась, все действие концентрировалось вокруг дощатой трибуны, на которой стояли три летчицы, мощные девы в комбинезонах и кожаных шлемах. Оттуда, с трибуны, провозглашались лозунги, встречаемые взрывами энтузиазма. Возвук вспыхивал магний, трудились фотографы.

Нина Градова, опоздавшая к началу церемонии, теперь энергично пробиралась через толпу. Чучело самолета, фуражка Сталина, двухголовый портрет... отмахиваясь от лезущей в голову антисоветчины, она показывала направо и налево свою красную книжечку корреспондента журнала «Труженица», подобралась наконец к самой трибуне и крикнула Гризодубовой:

— Привет, Валентина! Я корреспондент «Труженицы». Как командир этого беспрецедентного в мировой истории перелета скажите, пожалуйста, несколько слов нашим читателям!

Гризодубова ее заметила, протянула руку, помогла взобраться на трибуну. Мужская мозолистая лапа. Нина вытащила из кармана пиджака блокнот и шикарную авторучку «Монблан», подаренную недавно вернувшимся из-за границы Ильей Эренбургом. Гризодубова, перекрикивая шум, заработала ей прямо в ухо, словно пламенный мотор:

— Женщины! Девушки! Мы живем в сказочное время! Кто бы мог предсказать, что российские бабы сбросят оковы вечного рабства и будут пилотировать самолеты, командовать кораблями, водить тракторы и танки?! Никто и никогда не мог этого предсказать, как не может этого себе представить и современная поработенная женщина буржуазного Запада! Мы посвящаем наш полет великой сталинской конституции, самой демократической конституции мира, и ее творцу, солнцу нашей Отчизны, Иосифу Виссарионовичу Сталину!

Выговорив все это, Гризодубова достала коробку «Северной Пальмиры», предложила Нине:

— Курнешь, подруга?

Они закурили и засмеялись друг другу не без взаимной симпатии. Предательское сладчайшее чувство причастности ко всему этому спектаклю вдруг посетило Нину. Она спрыгнула с трибуны и стала прокладывать себе путь к выходу.

Если уж где-то надо работать, то почему же не в журнале «Труженица»? От пропаганды и бреховины нигде не спрячешься, а здесь хотя бы свои люди в отделе очерка, все понимающие, достаточно иронические, современные женщины, которым к тому же нравятся мои стихи. Так думала Нина всякий раз, подходя к зданию редакции на Пушкинской, привычно уже выискивая взглядом приметы городской жизни из тех, что к «ним» все-таки не относятся: бронзового поэта, чугунные фонари, «грачей обугленных десяти», уцелевшие шатры церкви Рождества Богородицы в Путинках... И это я, синеглазница, футуристка, тоскую нынче по старине, выискиваю в памяти клочки из детства, из того мира, где еще не было этой чумы...

В редакции она быстро отбарабанила статью о митинге в Тушино и передала ее заведующей отделом Ирине, с которой, несмотря на разницу в десяток лет, очень дружила. «Холостячка» Ирина нередко ходила с Ниной и Саввой в консерваторию или в МХАТ. Больше уже и некуда было нынче ходить в Москве; выставки — сплошная свиноферма, авангардисты все попрятались, «бубнововалетчики» рисуют парсуны вдохновляющего созидательного характера. Чудеса, впрочем, еще случаются. Вот «Интернационалка»

Глава семнадцатая. НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ

вдруг напечатала куски сногсшибательной прозы некоего Джойса, вышел четырехтомник Марселя Пруста. Писатель американского «потерянного поколения» Эрнест Хемингуэй на наше счастье примкнул к «прогрессивным силам», в Испании занял резко антифранкистскую позицию, значит, и его, может быть, будут печатать. Словом, поговорить есть о чем, и они говорили часами на кухне или где-нибудь на бульваре о западной литературе. О своих-то, прежних, совсем еще недавних, лучше не говорить, до хорошего не доведет. Многих лучше вообще не называть, как будто их и не было.

В углу редакционной комнаты засвистел чайник. Девочки, чай пить!

Сотрудницы распаковывали свои свертки с бутербродами, кто-то выставил корзинку домашнего печенья, воцарился веселый перерыв. Все знали, что у Нины арестованы оба брата; но никто никогда о них не спрашивал. Об арестованных не принято было говорить в присутственных местах. Нина и сама себя ловила на мысли, что в присутственных местах не только говорить, но даже и думать о своих такого рода печалях неуместно, как будто аресты и советские учреждения принадлежали к разным, не соприкасающимся мирам. То ли страх это странное правило диктовал, то ли подспудная надежда, что в один прекрасный день весь этот кошмар должен кончиться, а потому сейчас лучше молчать. А может быть, лучше кричать об этом, вопить, визжать, иногда думала Нина и тут же возмущалась сама себе: недолго поорешь, никто и не успеет услышать.

Во всяком случае, пока что пили чай, смеялись. Нина рассказывала о недавней командировке в Крым, где она интервьюировала важного человека, председателя КрымЦИКа товарища Ибрагимова. Современное положение татарской женщины он охарактеризовал следующим образом: «Раньше татарский женщина был закобыленный женщина, теперь мы сделали из нее публичный женщина!» Хохотали до слез. Нина разошлась.

— Да ведь это дивный неологизм в футуристическом стиле — закобыленность! Девочки, а вам не кажется, что в каждой из нас есть некоторая закобыленность?

После чая Ирина увела ее в свой кабинетик обсуждать репортаж. Нина заглянула ей через плечо. Изрядно погулял по строчкам красный карандашик!

— Нинка, прости, но я взяла на себя смелость немного почистить, — сказала зав. отделом. — Репортаж великолепный, но эта твоя привычная ирония...

Нина усмехнулась.

— Ты нашла там мою привычную иронию?

Ирина усмехнулась в ответ.

— Следы твоей привычной иронии, скажем так.

— Ирина!

— Нина!

Они смотрели друг дружке в глаза. У Ирины был странный нос, не курносый, но ноздрями наружу, что в сочетании с коротко обрезанными волосами и редакторскими очками придавало ей довольно свирепый вид. На самом деле, уж Нина-то знала, это была нежнейшая одинокая душа. Она протянула руку через стол и накрыла Нинину ладонь своей.

— Время иронии прошло, Нинка. Нам выпало жить в героические времена.

Нина пожала плечами.

— Без иронии, Ирка, трудно уцелеть в героические времена.

— А с ней трудно не пропасть, — сказала Ирина.

— Вот так софистика!

Они обе грустно рассмеялись.

Как и все тюрьмы в стране, страшная Лефортовская тоже была переполнена, однако драки из-за места на нарах здесь случались редко, поскольку заселял камеры в основном политический состав, не чета блатарям, народ нередко интеллигентный, склонный даже к старорежимной солидарности. Во многих камерах установлена была даже очередность лежания на нарах. Час в горизонтальном положении, хочешь спи, хочешь о бабе мечтай, а потом уступай свое место товарищу по историческому процессу. В ожидании своей очереди на «горизонталку» заключенные либо стояли у стен, либо сидели голова к голове на склизком полу. В этом положении многим начинало казаться, что они едут куда-то в каком-то чудовищном трамвае. Были, конечно, и исключения из этих правил, в частности, по отношению к возвращающимся с допросов. Если человека с допроса приносили, нары ему предоставлялись без очереди. Ну, а если все-таки возвращался на ноги, тогда в общем порядке. Очередь существовала и на парашу, там всегда кто-нибудь восседал, выпускал газы в чрезмерном скоплении народа.

Однако были не только свои удручающие минусы, но и некоторые ободряющие плюсы. Вот посмотрите, шептались между собой оказавшиеся в одной камере два преподавателя Московского университета, филолог и биолог, при всех физических минусах, таких, как спертый воздух, вонь, отсутствие лежащих мест, есть и некоторые психологические плюсы. Прежде всего, когда вас вталкивают в такую камеру, вы неизбежно думаете: ого, народищу-то, я не один, я не один! И это — вы заметили? — ободряет. Ну, потом, вот эта очередность на нары и на парашу, разве это не проявления человечности? На миру и смерть красна, как говорят, но вот даже и в этом приблизительном состоянии «мир», то есть «коллектив», бодрит, не дает, ну полностью уже капитулировать. Всегда находится какой-нибудь шутник, поднимающий настроение. Вон, посмотрите, как Мишанин опрашивает вновь прибывших. Нет, классики знали силу коллектива. И умели на ней спекулировать, мерзавцы. Кто мерзавцы? Да классики!

Коротышка Мишанин, бойкий типус из московской шоферни, между тем, действительно развлекался и других развлекал. Подбирался к новоприбывшему, деловито, то есть как на вокзале спрашивал:

— А вы, товарищ, тут по какому делу?

Новоприбывший, взглянув на его физиономию, вдруг понимал, что его дело — это еще не конец человеческой цивилизации. Пожимая плечами, отвечал:

— Связи с польской разведкой. Не знаю уж, почему именно с польской, а не с какой-нибудь посолднее. Может, потому что у меня фамилия на «ский»? Словом, ПШ — «подозрение в шпионаже».

Мишанин с пониманием кивал, пожимал руку, перебирался к следующему новичку.

— А ты, друг, по какому делу?

— Вредительство, — охотно отвечал новичок. — Я, понимаешь ли, поваром работал на Шарикоподшипнике, ну, вот, конечно, у нас там заговор и раскрыли по отравлению рабочих, вот так.

Мишанин и этому повару уважительно кивал, понимая хмыкал: где пища, там, мол, и срок рядом гуляет, — подкатывался к мужичку с сидором, который тут выглядел чужаком среди городской публики.

— Ну, а ты, лапот, тут за что?

Мужик, соблюдая платон-каратаевские традиции, добродушно смотрел на него.

— За Маркса, дорогой мой. В клубе лекция была

«Есть ли жизнь на Марксе?», а я и спрости: на эту планету Маркс вербовка будет? В тот же день и взяли: ты, говорит, подрывал колхозное строительство, проявлял бухаринский троцкизм.

Мишанин бурно хохотал, ваял мужичка за плечи, лез ему носом в сидор: как там насчет сальца-то, марксист? Хорошее у нас пополнение в этот раз, товарищи: польский шпион, вредитель-отравитель, троцкист-бухаринец-марксист!

Заклацали засовы, дверь отворилась, два чекиста вошли в камеру, из коридора рывкнул третий: «Градов, на допрос!»

От стены отделился Никита. Он был уже еле жив: допросы шли ежедневно, если не дважды в день.

— Держись, комкор, — шепнул ему вслед Мишанин, хотя сам-то на допросах вовсе не держался, весело подписывал весь несусветный вздор, что подсовывал ему следователь. «Держись, комкор», однако, здорово звучало, в этом, очевидно, он чувствовал какую-то поэзию энкаведэшной тюрьмы, и потому всякий раз бормотал вслед волокущемуся на избияния призраку: «Держись, комкор!»

Сквозь лестничную шахту вдруг, словно хвост огня, пролетел истошный крик: «Никита!» Комкор, влекомый двумя чекистами, чуть запнулся. Усиленный резонансом лестницы крик с нижнего этажа долетел до его ушей, словно сквозь вату бессмысленных и немых слежавшихся лет, и вдруг осветил на миг картинку детства: они с другом Холмским выгребают на ялике к излучине Москвы-реки, а маленький Кирилл отчаянно кричит с берега — его забыли!

Кирилл, тоже ведомый двумя мордоворотами, забыв обо всем, бросился к перилам. Только что на площадке лестницы, два марша вверх, мелькнула любимая душа, старший брат. Никого уже не было видно, но он все еще махал рукой и кричал:

— Никита! Я тебя видел! Никита, брат!

Растерявшиеся было стражи отдернули его от перил. Он и к ним обернулся с изумленно-радостным выражением, будто увидел брата по меньшей мере на палубе прогулочного теплохода.

— Товарищи, я только что видел там моего брата!

Один страж ударил его рукояткой пистолета меж лопаток, другой въехал коленом в пах. Упавшего начали деловито обрабатывать кирзовыми сапожищами. Покряхтывали:

— Волк тебе товарищ! Свинья тебе брат!

Потом потащили нарушившего инструкции зека по полу к открытому солдатскому сортиру.

— Сунь его ряской в парашу! Пусть говна пожрет троцкист!

Никиту через час, полуживого, швырнули обратно в камеру. Лицо, шея и грудь были в крови, глаза — раздутые пузыри, межножье тоже темное, мокрое — то ли кровь, то ли моча, не разберешь.

Тут же ему освободили нижние нары, положили на спину, вытерли тряпкой кровь, дали попить. Комкор не стонал, непонятно было даже, чувствует ли он боль. Несколько минут спустя он начал бормотать. Мишанин пригнулся, услышал что-то несусветное: «...от Завгородина — двухдневный — паек — хлеба — пачка — махорки — от Иванова — кочегара — шинель — от Циммерман — папиросы — от Путильной — пара — сапог...» Мишанин почесал в башке — не этого ждешь от комкора в бреду.

Филолог шепнул биологу:

— Вот уж это, знаете, выше моего понимания. Никогда не думал, что наши будут прибегать к таким пыткам.

Биолог посмотрел на него, улыбнулся. Дожить до сороковки, угодить в Лефортово и все еще удивляться «нашим»!

— Да это и не пытки вовсе, мой дорогой, а «двадцать два метода активного следствия», как объяснил мне мой следователь. Ежевые рукавицы, смеялся он. Сейчас их опробывают на самых упорных, а потом и в массовое употребление пустят, на нас, «грешных».

Филолог содрогнулся.

— Не знаю, как вы, а я и минуты не буду этого терпеть, подпишу все, что предъявят, пусть расстрелявают!

Биолог с тоской посмотрел на коллегу из преподавательского состава МГУ.

— Есть вещи страшней, чем собственный расстрел, мой дорогой.

Филолог ответил на это мало слышным, но страшным мычаньем, будто челюсть ему разорвала ужасающая боль в корнях зубов. Нет-нет, расстрел, надеюсь, будет только расстрел, ничего больше...

Из дальнего угла камеры послышался смех. Там вездесущий Мишанин рассказывал, как он сам сюда попал.

— По чистой лени, товарищи, я есмь жертва собственной лени. Никто не виноват, кроме моей собственной жопы, дорогие товарищи. Как так получилось, лапоть? Такая вещь, как лень, тебе, конечно, неизвестна? Ну, ладно, слушай, расскажу тебе историю простую, как Шекспир. Васька Лещинский... есть у меня такой, дружок... Подвинься — я лягу. Взяли мы как-то с ним дюжину «жигулей», три чекушки и два мерзавчика «Московской особой», засиделись допоздна в гараже. О чем шиздели, точно не помню, ну, девчонки там, ну футбол «Спартак» — «Динамо», но только в один момент заспорили, кто из вождей лучше глядится. Я за Ворошилова мазу держу, а он за Кагановича, железного наркома. Завелись по-страшному, стали друг дружку хватать, Сталина вспоминать все. Ночью, уже в квартирной койке, думаю: надо доложить на Васеньку Лещинского. А вылезать из-под одеяла неохота: тепло, пьяно, баба своя под боком. Утром, думаю, перед сменой заскочу в органы, а утром как раз за мной и пришли. Васенька-то Лещинский оказался не такой ленивый...

Врал Мишанин или на самом деле друг его заложил, на которого он и сам хотел наступать, никого не интересовало. Важно было то, что всему чекистскому кошмару этот разбитной малый придавал какое-то бытовое, а стало быть, и несколько комическое выражение. Напряжение спадало, начинало казаться, что власть волянит, как подвыпивший управдом, но ничего, и до этих волянщиков кто-нибудь, скорее всего Сам, доберется, восстановит порядок.

Проваливаясь в обмороки, в бред и выныривая из них в столь бодрящую реальность, Никита услышал конец мишанинской веселенькой истории и тогда уже полностью очнулся. Может быть, и Вадим Вуйнович тогда, в Хабаровске, вот так же не поленился? Эта мысль, собственно говоря, мучила его с первой минуты ареста. Неужели Вадим? Неужели струсил и донес об им самим же спровоцированном разговоре? А может быть, даже и послан был для провокации? Нет, это невозможно, Вадим с его рыцарским кодексом чести — провокатор и стукач? Скорее уже себя самого заподозришь в чем угодно, но только не такого человека. А впрочем...

На допросах имя Вуйновича не всплывало ни разу. Остатневшие от собственной жестокости следователи какой угодно вздор городили, придумывали одну за другой все более идиотские истории предательства и шпионажа, а вот единственный серьезный момент, реальный повод для обвинения и расстрела, тот разговор на балконе в глухой утренний час, разговор, в ко-

тором по сути дела речь шла о восстании, был следствию неведом. Или?.. Или к нему еще идут, хотят ошарашить доносом Вадима, именно этим сломить сопротивление?

Сегодняшний допрос начался с того, что они все скопом набросились на него, просто терзали. Один стащил с себя пояс и хлестал пряжкой по лицу, плечам и груди. Потом стали применять «методы активного следствия», из них самый свой любимый — закручивание в деревянные тиски мошонки и члена. Боль была не просто невыносимой, но как бы уже и несуществующей. Комкор бессознательно мальчишеским голосом смеялся и рыдал. Вдруг в узкой щелочке раскаленного пространства мелькнула Вероника, тот момент, когда она проводит пальцами вот по этому же раздутому задущенному члену. Потом доктор, их доктор, считал пульс и сказал, что можно продолжать. Они засунули его вниз головой в узкий ящик и ушли. Все исчезло, пропала всякая ориентировка в пространстве, он отправился умирать, но вдруг они вернулись, и голос доктора произнес: «На сегодня хватит».

Вот она, наконец, моя расплата пришла, за Кронштадт, за Тамбов... Расплата за трусость, черт побери, за опаску додумать все до конца, за гипноз революции. Все мы были смельчаками только вместе, схваченные стадным инстинктом войны, стадной романтикой, наедине со своими мыслями каждый — трус. Так и возник нынешний сталинский гипноз. Вадим оказался смелее меня, он сам его преодолел. Отталкивая Вадима, знал ведь, что не остается никаких шансов, а все-таки дорожил своей шкурой: вдруг пронесет? Стыдно погибать в руках чекистской мрази. Лучше было бы в Кронштадте матросскую пулю поймать.

Как ни странно, но шансы на успех у вадимовского варианта были. Можно было бы разработать несколько тактических схем. По одной из них в Москву поездом направить батальон разведчиков. Армейские перевозки по железной дороге чрезвычайно запутаны, никто бы и не разобрался, что за часть и куда направляется. Батальон прибывает в Москву перед самой сессией Верховного Совета, берет Кремль и арестовывает Сталина. По другой схеме ударная группа прилетает в Москву тремя самолетами. При неудаче всех этих вариантов можно было все-таки попытаться бежать, поднять широкое восстание, освободить заключенных на Колыме и в Приморье, попытаться восстановить Дальневосточную республику. Блюхеру предложить пост президента, если же откажется, даже и самому riskнуть или Вадима выдвинуть. Все великие сдвиги начинаются с нуля. Словом, надо было riskовать, а не ждать расправы...

Так иногда в промежутках между допросами думал комкор Градов и всякий раз в этих смелых мыслях своих доходил до точки, где вновь и вновь выскакивала мысль-предатель: а что если Вадим был все-таки послан чекой? Тогда все рушилось.

— Никита Борисович, вы не спите? — произнес прямо над ухом деликатный голос.

Никита с трудом повернул голову и увидел Колбасьева. Флаг-связист Балтфлота и в лефортовской камере заведовал связью. Место его возле труб отопления было неприкосновенным. Круглые сутки он был на вахте — принимал и отправлял дальше послания, из всех недр узилища отстуканные по трубам тюремным телеграфом. Никита еще и на воле слышал о Колбасьеве, питерском интеллигенте и коллекционере джаза. Такой человек, конечно, не мог быть не замечен чекистской шваброй, вот он и был замечен. С одной стороны, в ужас приходишь от того, как они очищают страну от всего человечески ценного, а с другой стороны, есть все-таки и повод для гордости, все-таки делишь свою судьбу с такого сорта людьми, а не с мразью.

— На ваше имя телеграмма, Никита Борисович.

На лице Колбасьева тоже видны были кровоподтеки, следы допросов, но преобладали большие, светлые, вечно любопытные глаза технического специалиста.

— По всей вероятности, пришла с третьего этажа через санблок. Вот послушайте. — Он снизил голос до полного минимума и зашептал комкору прямо в ухо: — Никите Градову от брата Кирилла. Видел тебя лестнице. Я третьем этаже. Наши порядке. Вероника детьми приехала. Мое следствие окончено. Признал себя виновным. Не давай себя мучить. Подписывай все бумаги. Целую, люблю.

Никита не выдержал, разрыдался. Значит, и Кирка взят. Может быть, даже и Нинка. Трудно представить, что ей сойдет с рук связь с оппозицией, участие в троцкистской демонстрации. Могут взять и отца. Мысль о том, что с его близкими будут делать то, что делают с ним, была совершенно невыносима. Конец. Рушится наш мир. Все будет уничтожено, это ясно. Вдруг выплыло... из богохульника Маяковского: «Если правда, что есть ты, боже, боже мой, если звезд ковер тобою выткан...»

Камера притихла, впервые слыша то, чем на каждом допросе наслаждались следователи, необузданные детские рыдания железного комкора. Колбасьев сжал его руку. Никита ответил на рукопожатие, пробормотал: «Спасибо, Сергей Николаевич». Он справился наконец с рыданием и даже чуть-чуть приподнялся, чуть привалился плечами к стене.

— Хотите, я спою вам что-нибудь из Сиднея Беше? — спросил флаг-связист.

Он начал шепотом петь нечто пряное, синкопированное, с короткими взлетами барабанной дробы, которые он осуществлял ладонями по коленам; что-то на удивление знакомое.

— Что это за мелодия, Сергей Николаевич?

— The Yellow Bonnet, — ответил Колбасьев и продолжил пение.

Да это же та самая песенка, что весь вечер вырывалась из граммофона, тринадцать, кажется, лет назад, да-да, в 1925-м, ну, конечно, в день рождения мамы, в Серебряном Бору, в тот вечер, когда Вадим увез отца в Солдатёнковскую больницу, в ночь смерти наркома Фрунзе. «Момма, buy me a yellow bonnet», — шепотом пел Колбасьев и потом выщелкивал брейки ладонями и языком. С этими мелодиями славный моряк так и пропадет навсегда и бесследно в каторжной слизи России, в испепеляющей стыни.

(Продолжение следует)

НЕ ОТСТАВАЙТЕ ОТ ВРЕМЕНИ —
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА

Независимый альманах

КОНЕЦ ВЕКА

СТАВ ПОДПИСЧИКОМ
НЕЗАВИСИМОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АЛЬМАНАХА "КОНЕЦ ВЕКА",
ВЫ:

- прочитаете лучшие произведения русского зарубежья, русских и советских писателей, а также известных зарубежных авторов
- откроете для себя новые имена
- станете обладателем книжного приложения к нашему альманаху

Первая его книга: повесть Эдуарда Лимонова "Это я - Эдичка!" Подписчикам предоставляется скидка. О сроках выхода книг и правилах доставки - на страницах "Конца века".

КРОМЕ ТОГО, подписавшись на альманах в 1991 году, вы соберете все номера "Конца века" в своей домашней библиотеке.

ТОЛЬКО НА СТРАНИЦАХ "КОНЦА ВЕКА":

В.АКСЕНОВ. В поисках грустного беби. Книга об Америке.

В.КОКЛЮШКИН. Блеск. Сатирическая проза о русских террористах начала века.

В.МАКАНИН. Повести и рассказы.

К.АЛЛИЛУЕВА. Мемуары.

В.ВОЙНОВИЧ. Антисоветский Советский Союз.

Э.ЛИМОНОВ. Рассказы.

А.ГЛАДИЛИН. Французская ССР.

В.СУВОРОВ. Аквариум. О тайнах советской разведки.

ВЕН. ЕРОФЕЕВ. Записные книжки.

Н.МЕДВЕДЕВА. Мама, я жулика люблю!

А ТАКЖЕ: неизвестные стихи Ю.Домбровского и переводы Генри Слизара, Джека Шарки, Франца Кафки.

Первый, второй и третий номера уже ждут своих читателей!

Цена подписки - 55 рублей (стоимость шести номеров, рекламной продукции, почтовых расходов по доставке). Наш р/с 609871 МФО 201638 в коммерческом банке "Бизнес" Дзержинского района г. Москвы.

Вы получите альманах в кратчайший срок, перечислив деньги за подписку телеграфом!

Копию платежного поручения или квитанцию почтового перевода (укажите свой адрес) высылайте в редакцию:

103055, Москва, К-55, а/я 95.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

369-24-41



Эрик
АМБЛЕР

МАСКА ДИМИТРИОСА

Роман

До того, как Димитриос познакомился с нами, у него все шло как по-писаному: допустим, в Александрии нужны были женщины. Димитриос, получив заказ, отправлялся, скажем, в Польшу, набирал там женщин, и они, пользуясь своими паспортами, переезжали во Францию; здесь они садились в Марселе на пароход, и дело было сделано. Основанием для выезда из Польши могло служить приглашение поступить в театральную труппу. Когда получение визы на выезд усложнилось, то Димитриос сразу же столкнулся с неприятностями.

При помощи «мадам» он набрал двенадцать девушек в Вильно, но поляки потребовали, чтобы тем после выезда было обеспечено почетное положение. Вы только вдумайтесь, почетное положение! Но закон есть закон.

Димитриос обратился ко мне и Жиро с просьбой устроить девушек в нашем заведении в качестве танцовщиц. Если бы служащие польского консульства в Париже навели о них справки, то они узнали бы, что, проработав у нас одну-две недели, девушки уволились, а где они теперь, мы не знаем.

Если мы принимали его предложение, он выплачивал нам пять тысяч франков,

в общем-то, за здорово живешь. Но я почему-то начал сомневаться. Жиро в конце концов уговорил меня, но я сказал Димитриосу, что даю свое согласие в первый и в последний раз.

Спустя месяц Димитриос опять посетил нас. Он расплатился и сказал, что у него есть еще работа. Я, конечно, наотрез отказался, но Жиро закричал, что все обошлось, и глупо отказываться от денег. Конечно, эти пять тысяч были кстати — мы заплатили музыкантам.

Сейчас мне кажется, что он дал нам пять тысяч, чтобы, усыпив нашу бдительность, подкупить нас. Это был, кстати, его самый любимый способ. Димитриос действовал всегда одинаково — он просто совал деньги. Конечно, самую минимальную сумму. Он правильно считал, что людская жадность сильнее здравого смысла.

Как я и думал, неприятности не заставили себя ждать. Работники польского консульства что-то заподозрили — нас посетила полиция и подвергла допросу. Хуже всего было то, что женщины поселились у нас, и мы должны были угощать их шампанским (Димитриос потом, правда, заплатил за него), потому что, обратись кто-нибудь из них в полицию, правда сразу бы обнаружилась.

Когда Димитриос опять появился у нас, он долго извинялся за причиненные неприятности, сказал, что это больше никогда не повторится, и выплатив десять тысяч франков, обещал давать нам такую же сумму ежемесячно. Какое-то время мы действительно жили спокойно. Полиция нас, конечно, иногда навещала, но относилась вполне лояльно, как вдруг по требованию итальянского консульства нас вызвали в окружную магистратуру, подвергли там допросу, а затем препроводили в полицейский комиссариат, где мы провели ровно сутки.

Когда мы вышли оттуда, я устроил Жиро скандал. Он мне давно не нравился. Это был крикливый, глупый и грубый человек, причем подозрительный. Мне не нравилось, что вокруг него всегда собирался всякий сброд, отпугивавший чистую публику. Он не мог работать в хорошем заведении. В лучшем случае, мог стать хозяином какого-нибудь бистро, но скорее всего, он гниет уже в тюрьме. Была еще одна скверная черта. Когда он был очень зол, он распускал руки.

Я предложил Жиро стать единоличным владельцем «Le Kasbah Parisien», если он выплатит мне ту сумму, которую я вложил при организации нашего дела.

Это была жертва с моей стороны, как вы сами понимаете, но я пошел на нее, потому что не мог больше ни одной минуты оставаться вместе с Жиро. В тот же день к нам пожаловал Димитриос и предложил встретиться в одном кафе. Я колебался, идти или нет. Вообще-то, я неплохо заработал, сотрудничая с ним, а как мне потом стало известно, похвастать этим могли лишь немногие. Было также лестно, что он ценит мои умственные способности, хотя изредка и посмеивается надо мной. Короче, я решил пойти.

— Мне кажется, вы правильно поступили, порвав с Жиро, — сказал он. — С этим женским бизнесом пора кончать. Слишком опасно, да и доход маленький. Я осведомился, не сказал ли он об этом Жиро.

— Пока нет, — сказал он. — Надо будет подождать, пока он выплатит вам деньги.

Я поблагодарил его, но он только нетерпеливо дернул головой.

— Жиро дурак, — сказал он. — Я бы давно с ним порвал, если бы не вы. Я предлагаю вам работать вместе, и не жалеете о том, что потеряли выгодное предприятие.

Потом он спросил, что я знаю о торговле героином. Узнав, что я не новичок в этом деле, он предложил мне заняться продажей героина в Париже и сказал, что может купить двадцать килограммов в месяц и оплатить расходы по его продаже.

Вряд ли вам известно, мистер Латимер, что двадцать килограммов героина — вещь совершенно неслыханная, стоящая кучу денег. Я спросил его, как он собирается организовать продажу, но он сказал, что это уже его дело, и пусть оно меня не волнует. Он предложил мне заняться оптовой закупкой за границей и организацией доставки наркотиков во Францию. Если я согласен, то мне надо будет поехать в Болгарию, где у него уже налажен контакт с поставщиками наркотиков, и позаботиться о том, чтобы товар прибыл в Париж. В случае моего

Рисунок
Петра Караченцова

Окончание. Начало см. №№ 7, 8 за 1991 год.

согласия я буду получать десять процентов от стоимости.

Я сказал, что мне надо подумать, но про себя уже решил, что принимаю предложение, ведь это значило, что я могу заработать что-то около двадцати тысяч франков в месяц. Я также посчитал, что за вычетом накладных расходов на розничную торговлю и т. д., покупая героин по цене пятнадцать тысяч франков за килограмм, при продаже наркотиков в Париже по цене сто франков за один грамм можно было выручить триста тысяч франков в месяц. Капитал — чудесная вещь, если знаешь, куда его вложить и не боишься некоторого риска.

В сентябре 1928 года я поехал в Болгарию, где должен был получить двадцать килограммов героина и доставить его в Париж в начале ноября. Димитриос тем временем занялся вербовкой агентов, которым поручался подбор розничных торговцев наркотиками. В Софии мне надо было встретиться с человеком, открывшим для нас кредит. Он же должен был указать мне тех, кто изготавлял наркотики... Он...

Латимер не мог не спросить:

— Вы не помните его фамилию?

Мистер Питерс бросил на него недовольный взгляд и нахмурился:

— Мне кажется, вы задаете неуместный вопрос, мистер Латимер.

— Может быть, Вазов?

— Да, — ответил мистер Питерс, и глаза его опять начали слезиться.

— Ну а кредитом вы пользовались в Евразийском кредитном тресте?

— Вы, очевидно, знаете много такого, чего мне и в голову не приходило. — Мистер Питерс был очень недоволен. — Позвольте вас спросить...

— Я просто догадался. Скомпрометировать Вазова вы уже все равно не сможете, потому что он умер три года назад. — Я знаю. Неужели вы и об этом догадались? Много у вас еще таких догадок, мистер Латимер?

— Больше нет. Прощу вас, продолжайте, пожалуйста.

— Искренность... — начал было мистер Питерс, но передумал и стал пить кофе. — Ну, что ж, продолжим, — сказал он, ставя чашку на стол. — Вы правы, мистер Латимер, именно Вазов помог мне связаться с поставщиками наркотиков, а руководимый им банк выдал деньги на их покупку и транспортировку. Я решил отправить их по железной дороге в Салоники, а уже оттуда пароходом в Марсель.

— Просто написав на мешке: «Героин»?

— Вы шутите, мистер Латимер. Признаюсь, я никак не мог придумать, как замаскировать наркотики. Единственные товары болгарского экспорта, которые не подвергались таможенному досмотру во Франции, были зерно, табак и розовое масло. Димитриос торопил меня с доставкой, а у меня пока ничего не получалось. И потому, естественно, голова шла кругом.

— Как же вам это удалось?

— Я подумал о том, что во Франции с большим пиететом относятся к смерти. Вам не приходило бывать на похоронах? Потрясающее впечатление — то, что у них называется «*rompt funèbre*». Вот я и подумал, что таможенные чиновники наверняка не будут тревожить покой мертвеца. Я купил в Софии гроб, настоящая произведение искусства, мистер Латимер, купил себе соответствующее платье и, поверьте, мистер Латимер, сам проникся какой-то печальной торжественностью. Нечего говорить о том, что грузчики несли гроб, как реликвию. На таможне в Марселе даже мой личный багаж не подвергся досмотру.

Димитриос позаботился о катафалке и обо всем остальном. Я радовался своему успеху, но Димитриос остался недоволен: нельзя же, в самом деле, каждую партию героина доставлять в гробу. Он разработал другую схему доставки. Из Варны в Геную раз в месяц ходил грузовой пароход итальянской транспортной компании. Героин расфасовывался по пакетам, в которых якобы был специальный сорт табака, экспортируемого во Францию. Это давало возможность обойти итальянских таможенников. Затем героин попадал в руки человека, проживавшего в Ницце. Он, подкупив служащих таможенного склада, отправлял героин машиной в Париж. В этой схеме мне уже не было места, и я заинтересовался у Димитриоса, как же наш договор, на что он сказал: «Договор остается в силе, но у меня будет теперь другая работа».

Удивительно, как все мы беспрекословно признали его первенство над нами. Конечно, у него были деньги, но он доказал свое право на руководство умелой организацией всего нашего дела: он знал, что предпринять и как преодо-

леть возникающие трудности с минимумом усилий и затрат. Он же занимался подбором людей, давал им задания. Под его непосредственным руководством работало семь человек — людей с ярко выраженной индивидуальностью. Взять хотя бы, к примеру, голландца Виссера. Это был тяжелый человек, ранее продававший китайцам немецкие пулеметы, который занимался при этом шпионажем в пользу Японии и отсидел срок в тюрьме за убийство кули в Батавии. Ему была поручена связь с барами и клубами, которые посещали наркоманы.

Двое других, Ленотр и Галиндо, в течение нескольких лет занимались розничной продажей наркотиков, в основном морфия и кокаина. Наркотики поставлял один из крупных владельцев французской фармацевтической фирмы. Не удивляйтесь, до законов, принятых в 1931 году, такое было вполне возможно. Когда Димитриос предложил практически неограниченное количество героина, они бросили своего фармацевта и стали работать на Димитриоса, сохранив, конечно, свою клиентуру.

Вы, может, знаете, что наркоманы стремятся распространить свою страсть на друзей и знакомых. Важно, чтобы новичок не оказался сотрудником Бюро по борьбе с наркотиками или сотрудником полиции. Отсеиванием нежелательных лиц занимались Виссер и Великая Герцогиня. Вот как это происходило. Допустим, к Ленотру обращался — замечу, что рекомендация известного Ленотру клиента была обязательна, — новичок с просьбой достать наркотик. Ленотр делал удивленное лицо и говорил ему: «Наркотики! В первый раз слышу. Говорят, что их можно достать в таком-то баре». А бар этот входил в цепочку баров и клубов, контролируемых Виссером. Если новичок являлся в указанный бар, то он получал примерно такой же ответ, с той лишь разницей, что ему говорили: «Зайдите послезавтра. Тогда, вероятно, появится человек, который знает, где достать наркотик». И послезавтра новичок предстал перед Великой Герцогиней.

Это была удивительная женщина. Она была единственной среди нас, кто не был привлечен к делу лично Димитриосом, потому что ее привлек Виссер. У нее было потрясающее чутье: достаточно ей было только взглянуть на новичка, как она могла сразу сказать, начинающий ли это наркоман, или сотрудник полиции. По решению Димитриоса только она одна имела право включить новичка в число клиентов. Конечно, такой человек, как она, для нас был просто клад.

Еще одним членом нашей организации был бельгиец Вернер, руководивший неорганизованными торговцами наркотиками. Он был фармацевтом и одно время занимался вопросами проверки чистоты и концентрации наркотиков. Он добавлял в наркотик постороннее вещество, чтобы уменьшить концентрацию. Димитриос смотрел на это сквозь пальцы.

И вот однажды разразилась катастрофа. В конце июня 1929 года полиции удалось захватить пятнадцать килограммов героина в спальном вагоне Восточного экспресса и арестовать шестерых моих сотрудников, включая и проводника. Говорят, беда не ходит одна. Ламар, почувствовав за собой слежку, вынужден был бросить сорок килограммов морфия и героина. Теперь у нас оставалось только восемь килограммов, тогда как спрос превышал уже пятьдесят. Единственный выход — ждать прибытия яхты из Стамбула, но до ее прихода оставалось еще несколько дней. Наступило ужасное время, особенно для Ленотра, Галиндо и Вернера. Двое клиентов Галиндо покончили с собой, а Вернеру в одном из баров разбили голову.

Я старался поправить положение: поехал в Софию и в своем чемодане привез десять килограммов героина, но, конечно, этого было недостаточно. Надо отдать должное Димитриосу, он не стал искать козла отпущения, но он был очень зол и решил, что для непрерывной работы организации необходим резервный запас.

Создать запасы наркотиков он поручил мне. Дело это было трудное, потому что требовало увеличения поставок в несколько раз. Увеличение поставок влекло за собой возрастающую вероятность провала. Следовательно, надо было найти какие-то новые способы доставки. К несчастью, болгарская полиция как раз в это самое время накрыла лабораторию в Радомире, один из наших главных источников. Единственной нашей надеждой и опорой стала лаборатория в Стамбуле.

В общем, это было трудное время. В течение двух месяцев мы потеряли девятно килограммов героина, двадцать килограммов морфия и пять — кокаина. Но несмотря на это, план Димитриоса по созданию запасов неуклонно выполнялся. К концу 1930 года в соседнем с этим доме под половицами

находилось 250 килограммов героина, двести с лишним морфия, около девяноста кокаина и небольшое количество изготовленного в Турции опиума.

Мистер Питерс замолчал, потом, разлив остатки кофе по чашкам, выключил спиртовку. Помусолив кончик сигареты, он закурил.

— Среди ваших знакомых никто не принимал наркотики? — совершенно неожиданно для Латимера спросил он.

— Кажется, нет.

— Раз вам кажется, значит, вы не совсем уверены. Действительно, тот, кто начал принимать наркотики, какое-то время может скрывать от других свое легкое недомогание. Но ни он, ни в особенности она не могут это делать спустя достаточно долгий промежуток времени. Происходит примерно по такой схеме: сначала вам хочется попробовать, что это такое, и вы вдыхаете понюшку, скажем, в полграмма. У вас кружится голова, немного тошнит. Вы хотите попробовать еще раз, чтобы покончить с этими ощущениями, и вдруг вы чувствуете, что все чудесным образом изменилось. Время, казалось, остановилось, тогда как ваш мозг работает с чудовищной быстротой и эффективностью. Вы уже больше не глуше, теперь вы интеллектуал; вы чувствовали себя несчастным, теперь вам море по колено; вы напрочь забыли все, что вам не нравилось, что вас мучило; то же, что вам нравилось, теперь ощущается с удивительной силой и доставляет вам неслыханное наслаждение. Короче, вас на три часа впустили в Эдем. Но и потом не все уж так безнадежно плохо. Конечно, немножко побаливает голова, но ведь это бывает и тогда, когда вышесъесть слишком много шампанского. Вам немного нездоровится и хочется побыть одному, в тишине. Вскоре все проходит, и вы опять такой же, как прежде. В общем-то, ничего особенного не случилось, кроме того, что вы пережили несколько необыкновенных минут. Вы говорите себе, что вы не какой-нибудь наркоман, что никогда больше не прикоснетесь к наркотику, что вы, как всякий разумный человек, прекрасно владеете собой, и вдруг спустя какое-то время вы спрашиваете себя, почему бы вам опять не побывать в Эдеме. Сказано — сделано. Но что такое? Полграмма, оказывается, уже недостаточно. Какие пустяки! Надо увеличить дозу, ну, скажем, до одного грамма. О, чудо! Эдем опять возвращается, и поскольку, как вам кажется, ничего дурного не произошло, вы решаете продолжить эти визиты в Эдем. Вам хорошо известно, какой непоправимый вред наносят здоровью наркотики, но ведь только дураки становятся наркоманами, а вы сразу прекратите их принимать, как только почувствуете ухудшение здоровья. Доза в полтора грамма. Перед вами раскрываются чудесные перспективы, тогда как три месяца назад все казалось непоправимо испорченным и мрачным. Два грамма. Естественно, чем больше доза, тем дольше продолжается ваше состояние нездоровья и депрессии. Прошло уже четыре месяца после вашей первой понюшки. Пора с этим кончать. Два с половиной грамма. Вы ощущаете сухость и жжение в носу и в глотке. Вы плохо спите, вас начинают раздражать окружающие — они слишком громко разговаривают. Вам кажется, что они говорят о вас. Да, да, они говорят о вас, и притом распространяют о вас гнусную ложь — вы же видите, это написано у них на лицах. Три грамма. Вы вдруг чувствуете, что произошли какие-то непредвиденные изменения, надо обязательно с этим покончить, потому что у пищи вдруг такой отвратительный вкус, потому что вы никак не можете вспомнить, какой сегодня день или как вас зовут. А когда вам удастся вспомнить, вы вдруг чувствуете себя животным, вам хочется встать на четвереньки и залаять; или вам вдруг кажется, что от вас убежал ваш нос, или он собирается убежать, и вам надо обязательно придерживать его рукой, чтобы он не убежал; или появляется муха, которая все время досаждала вам: то вдруг сядет на лицо, то — на руку, то — на шею. Надо во что бы то ни стало держаться, иначе... Три с половиной грамма. Вы поняли, что происходит, мистер Латимер?

— Кажется, вы не одобряете эту пагубную страсть.

— Не одобряете! — фыркнул мистер Питерс. — Да она ужасна, чудовищна! Тот, кто попал под ее ярмо, погиб. С каждым днем он все больше теряет способность работать. А для все увеличивающихся доз требуется больше денег — так наркоман может стать преступником. Я знаю, что вы сейчас подумали, мистер Латимер. Так красноречиво осуждать наркоманию и в то же время превратить ее в неисчерпаемый источник дохода. Но давайте посмотрим на это дело пристальнее. Допустим, я бы отказался, но ведь наверняка вместо меня нашелся бы кто-нибудь другой. От моего отказа

никому из этих несчастных не стало бы лучше, а я не смог бы заработать.

— Вы ведь сами говорили, что число ваших клиентов постоянно возрастало? Значит, не все среди них были наркоманы, принимавшие наркотики до того, как начала действовать ваша организация?

— Разумеется, это так. Но ведь увеличением числа клиентов занимались Ленотр и Галиндо, а не я. Между прочим, Ленотр, Галиндо и Вернер сами принимали наркотики. Они были кокаинистами. Кокаин сильнее действует на иммунитет, причем изменения в психике появляются лишь через несколько лет, тогда как при приеме героина психика разрушается в течение нескольких месяцев.

— Какой наркотик принимал Димитриос?

— Героин. Когда мы в первый раз заметили, это была сногшибательная новость. Собрались, как всегда, в комнате, где мы с вами находимся, мистер Латимер. Он обычно появлялся часов в шесть вечера. Помню, была уже весна, весна 1931 года.

Помню, Димитриос опоздал, что уже само по себе было необычно, но мы и на это не обратили внимания. В последнее время, присутствуя на наших собраниях, он сидел очень тихо, прикрыв глаза рукой, точно у него болела голова и ему не мил был весь белый свет. Мы уже к этому привыкли, хотя и видно было, что с ним творится нечто неладное. Именно тогда мне часто приходила в голову мысль: ну и руководителя мы выбрали. Правда, все менялось, если кто-нибудь возражал ему. Особенно часто с ним спорил Виссер, человек по натуре агрессивный, быстрый и очень хитрый, но, конечно, ребенок по сравнению с Димитриосом. Однажды Виссер, поняв, что Димитриос опять одурачил его, побелев от ярости, выхватил револьвер и наставил его на Димитриоса. На месте Димитриоса я бы, наверное, на коленях стал просить прощения, а он только саркастически ухмыльнулся и повернулся к нему спиной, заговорив со мной о каком-то деле. Я уже тогда знал, что Димитриос умеет хорошо скрывать гнев.

Итак, в тот вечер он опоздал. Войдя же, зачем-то остановился в дверях и долго всех разглядывал. Потом молча пошел на свое место. Виссер как раз рассказывал о том, что хозяин одного кафе — неприятный тип и что Галиндо не должен появляться в этом кафе, потому что хозяин может вызвать полицию. В его словах не было ничего необычного, как вдруг Димитриос вскочил со своего места и, крикнув «кретины!», плюнул ему в лицо.

Мы все, конечно, удивились. А Димитриос, не дав никому раскрыть рта, брызжа слюной, стал бросать Виссеру такие фантастические обвинения, что у нас глаза на лоб полезли.

Виссер, побелев от злости, полез было в карман за пистолетом, но Ленотр схватил его за руку и что-то зашептал на ухо. Ленотр, наряду с Галиндо и Вернером, сам принимал наркотики и догадался, что происходит с Димитриосом. Димитриос, заметив это, обрушился с грубой бранью на Ленотра. Потом стал кричать, что все мы дураки, что только благодаря ему не подымаем с голода, что, конечно, было правдой, но обидной правдой; что он знает про заговор, который мы против него замыслили, но таким дуракам, как мы, никогда не провести его; что он сделает с нами все, что захочет. Он говорил, наверное, целых полчаса, пересыпая свою речь французскими и греческими ругательствами. Потом вдруг замолчал и вышел из комнаты.

Не знаю, почему здравый смысл не подсказал нам, что он близок к предательству (между прочим, это характерно для наркоманов, принимающих героин). Наверное, мы не обратили на это внимания потому, что купались в деньгах. Когда он ушел, Ленотр расхохотался и спросил у Вернера, неужели босс тратится на «порошок». Шутка имела большой успех, даже Виссер улыбнулся.

На следующем заседании Димитриос выглядел уже нормально, и никто из нас не напомнил ему той выходки. Прошло еще несколько месяцев. Димитриос сильно похудел, внешне очень изменился. В глазах его стояла какая-то мрачная тоска. Но взрыв больше не повторялся, хотя он был вечно не в духе и раздражался по пустякам. Он все чаще и чаще отсутствовал на наших собраниях.

Помню, в сентябре он объявил, что прекращает поставки, и в течение ближайших трех месяцев мы будем пользоваться запасами.

Представьте себе, никому в голову не пришло, что он ликвидирует запасы, так как решил выйти из игры. Вы, быть может, скажете, что мы проявили не свойственную людям нашего круга доверчивость, и будете сто раз правы. Но ведь

до сих пор во всех возникающих меж нами спорах он всегда оказывался прав, и даже Лидия, прекрасно разбирающаяся в людях, ничего не заподозрила. Что касается Виссера, то он стал жертвой собственного самодовольства: разве мог какой-то наркоман — да хоть бы и сам Димитриос! — провести его. Кроме того, как я уже говорил, мы хорошо зарабатывали, и ведь согласно нашей логике Димитриос зарабатывал в десятки раз больше. Так что какие там еще подозрения?

Вам известно, что из этого вышло. Я и Ламар были арестованы в Марселе. К счастью, мы вовремя заметили слежку и отказались от приема товара, только что поступившего из Стамбула. Ни у него, ни у меня наркотики не были найдены, тогда как Ленотр, Галиндо и Вернер были пойманы с поличным. Допрашивавший меня следователь показал мне донос, который Димитриос направил в полицию, и спросил, не знаю ли я человека, написавшего его. С тем же самым успехом он мог спросить, не был ли я на Луне. Я впоследствии узнал, что Виссера тоже об этом спрашивали. Конечно, он ничего им не сказал. Правда, он, надеясь отделаться штрафом, солгал, что босс проживает где-то в семнадцатом округе Парижа, но ему это несколько не помогло — он получил такой же срок, как и я. Бедняга умер совсем недавно, — сказал мистер Питерс, вздохнув, и закурил сигарку.

Латимер отхлебнул из своей чашки и тотчас поставил ее на стол — кофе совсем остыл. Он достал сигарету — мистер Питерс чиркнул спичкой и дал ему прикурить. Сделав первую затяжку, Латимер спросил:

— Ну, так как же? Я все жду, когда вы начнете говорить, как мы с вами заработаем миллион.

Мистер Питерс улыбнулся, точно Латимер был мальчик, попросивший дать ему еще один кусок праздничного торта.

— Это уже другая история, мистер Латимер.

— Интересно, о чем?

— О том, что случилось с Димитриосом после того, как он исчез.

— Ну и что же с ним случилось? — Латимер начинал терять терпение.

Мистер Питерс опять достал фотографию и подал ему.

— Но ведь я ее уже видел, — сказал Латимер, нахмурившись. — Это Димитриос. В чем дело?

По лицу мистера Питерса разлилась тихая, торжествующая улыбка.

— Это фотография Мануса Виссера, мистер Латимер.

— Расскажите же, наконец, что все это значит?

— Это значит, что у Виссера, по-видимому, закралось подозрение, и он решил попробовать «подойти» Димитриосу. Когда же он попытался осуществить эту идею на практике, то сломал себе шею и оказался в стамбульском морге.

— Но ведь это же Димитриос. Я видел его собственными глазами...

— Своими глазами вы видели на столе в морге труп Виссера, которого убил Димитриос. Я рад сообщить вам, что сам он жив и находится в добром здравии.

МЕСЬЕ С. К.

Латимер знал, что у него сейчас глупый вид, но ничего не мог с собой поделать. Известие о том, что Димитриос жив, произвело на него такое же действие, как удар дубинкой по голове.

— Я предполагал, — сказал мистер Питерс, — что вы далеки от истины. Гродек, конечно, установил это с неоспоримой точностью. По-видимому, вы пали жертвой весьма распространенного заблуждения, будто полиция располагает точными фактами. Я знал, что тот, кого вы видели в морге, не Димитриос, но я не мог это доказать. Ну а вы легко могли опознать Мануса Виссера.

Он многозначительно посмотрел на Латимера и, поскольку тот по-прежнему молчал, спросил:

— Как полиция установила, что это Димитриос?

— У него под подкладкой пиджака нашли удостоверение личности, выданное год назад в Лионе Димитриосу Макропулосу, — словно автомат, сообщил Латимер. До него наконец дошел смысл шуточного тоста за процветание английской детективной литературы и последовавшего за ним неудержимого смеха Гродека. Воистину, когда боги хотят посмеяться над человеком, они отнимают у него разум.

— Значит, нашли удостоверение личности, — повторил мистер Питерс. — Ужасно смешно. Можно просто помереть от смеха.

— Работники французского консульства признали удостоверение подлинным и, кроме того, на нем была фотография.

Мистер Питерс на сей раз пощадил чувства автора детективных романов и едва-едва сдержался.

— Я могу достать десяток таких удостоверений. Все они будут подлинными, все будут выданы на имя Димитриоса Макропулоса, и на каждом будет своя фотография. Вот, смотрите!

С этими словами он достал из кармана свой вид на жительство, небольшую зеленую книжку, и раскрыл ее перед глазами мистера Латимера.

— Я здесь очень похож на самого себя?

Латимер отрицательно качнул головой.

— И тем не менее это подлинная моя фотография, снятая три года назад. Просто я не фотогеничен, как и многие другие. Вероятно, Димитриос воспользовался фотографией человека, похожего на Виссера. Между прочим, на фотографии, которую я только что вам показывал, снят человек, похожий на Виссера.

— Если Димитриос жив, то где он сейчас?

— Он здесь, в Париже. — Мистер Питерс наклонился и похлопал Латимера по коленке. — Вы мне очень нравитесь, мистер Латимер, вы такой милый и скромный. Я обязательно вам все расскажу.

— Вы так добры, — сказал Латимер с горечью.

— Нет, нет, — сказал мистер Питерс с чувством, — не надо сердиться. Вы действительно имеете право знать все, и я вам все расскажу. Выйдя из тюрьмы, я стал странником, мистер Латимер. Переезжая из страны в страну, иногда делал свой небольшой бизнес, но главным образом наблюдал и размышлял. Вы не представляете, сколько радости доставляет Божий мир, как это захватывающе интересно, когда пытаешься разобраться в поведении своих собратьев. Какая кругом неразбериха, мистер Латимер, как мало тех, кто хоть что-нибудь понимает! Прodelав большую часть отпущенного мне пути, я иногда думаю, а не сплю ли я, не сон ли вся наша жизнь, не младенцы ли мы, убаюканные Всемогущим. Но ведь настанет день, Великий День, когда мы проснемся. Да, я совершал поступки, которых должен стыдиться. Но ведь Всемогущий все понимает, Он поймет, что я был вынужден, поскольку этого требовали интересы дела, совершать дурные поступки. Он ведь не похож на судью, ведущего допрос подсудимого, Он отнесется ко мне, как друг.

Вы, наверное, уже давно заметили, что я мистически настроен. Да, это так. Говорят, например, это — совпадение. Но я не верю в совпадения. Если Всемогущий хочет, чтобы встреча произошла, она обязательно происходит. Так что, встретив в Риме года два тому назад Виссера, я несколько не удивился.

Мы не виделись уже больше пяти лет. Бедняга попал в переплет. Выйдя из тюрьмы, он оказался совершенно без денег и подделал чек. Конечно, попался и сел в тюрьму, на сей раз уже на три года. Когда же отсидел срок, полиция выслала его как иностранца из Франции. У него не было влиятельных друзей, которые могли бы за него заступиться. Денег опять не было.

Мы встретились в кафе, и он сказал мне, что собирается ехать в Цюрих, чтобы купить новый паспорт, потому что его голландский паспорт очень мешает из-за судимости, но, к сожалению, у него нет денег. Он попросил меня дать взаймы. Я не любил его, но вдруг пожалел. Мне хотелось помочь ему, но я колебался, и он стал умолять меня дать ему денег. Он, видимо, понял, что деньги у меня есть, а мне не захотелось лгать, хотя, конечно, самое разумное было сказать, что их у меня нет. Я решил отказать.

Он ударил кулаком по столу и закричал, что я не доверяю ему, человеку чести. Меня это только оттолкнуло — я не люблю, когда говорят глупости. Тогда он со слезами на глазах стал просить дать ему взаймы и, чтобы убедить меня, стал рассказывать, где он собирается достать деньги. Это было интересно.

Я, кажется, говорил вам, мистер Латимер, что Виссер сумел разузнать о Димитриосе много такого, чего никто из нас не знал. Все началось, по его словам, в тот вечер, когда Виссер выхватил пистолет. Никто еще не обращался с ним так оскорбительно, и он решил, что Димитриос непременно окажется предателем, но, я думаю, эта мысль тогда не могла прийти ему в голову. Как бы там ни было, он стал следить за Димитриосом. Ему удалось увидеть, как тот входил в один дом на авеню Ваграм, и, дав консьержке немного денег, он описал наружность Димитриоса. Она сказала, что здесь проживает похожий человек, которого зовут месье Ружмон. Виссер проследил за ним: оказалось, что отсюда Димитриос направляется в другой большой дом на авеню Гош. Он узнал,

что дом этот принадлежит одной очень богатой женщине, которую я буду называть графиней. Виссер понаблюдал и за этим домом. Однажды он видел, что графиня и Димитриос отправились в оперу. После этого он потерял Димитриоса из виду. Выйдя на свободу в начале января 1932 года, Виссер пустился на поиски Димитриоса. Конечно, он первым делом выяснил, в Париже ли графиня. «Нет, она уехала в Биарриц», — сказала консьержка. Виссер отправился в Биарриц, но Димитриоса там не оказалось. И вот тогда ему в голову пришла отличная идея: богачи-наркоманы лечатся в специальных клиниках. Значит, Димитриоса надо искать в одной из них.

В пригороде Парижа оказалось пять таких клиник. Виссер побывал в трех, представляясь братом месье Ружмона. И вот, наконец, в четвертой один из лечащих врачей, узнав, кто он, спросил, как сейчас здоровье месье Ружмона.

Мне кажется, мстительный Виссер был доволен, узнав, что Димитриос лечился от наркомании. Если вы этого не знаете, то могу сказать, что лечение похоже на пытку. Оно заключается в том, что врачи постепенно уменьшают дозу наркотика до нуля. Пациента бьет дрожь, струями льется пот, он не может ни есть, ни спать и желает только одного — умереть. Но мне не хочется рассказывать вам ужасы, мистер Латимер. Лечение обычно длится три месяца и стоит сто тысяч франков. Некоторые из выписавшихся, помня о перенесенных пытках, никогда больше не принимают наркотиков; другие не могут забыть наркотический Эдем и начинают все сначала. Димитриос, по-видимому, принадлежал к числу первых.

Когда Виссер появился в той клинике, Димитриоса там уже не было — он выписался четыре месяца назад. Конечно, опять нужны были деньги. Он подделал чек и снова отправился в Биарриц. В течение нескольких дней наблюдал за виллой, где жила графиня. Случай вскоре представился: графиня куда-то отлучилась; двое старых слуг легли после обеда отдохнуть, и он пробрался в комнаты графини.

Любопытно, что Димитриос не любил писать письма. Тем не менее Виссер вспомнил (мне, кстати, этот случай запомнился тоже), что однажды Димитриос написал для Вернера адрес на клочке бумаги. Я обратил тогда внимание на грубые ошибки, на скачущие буквы и какие-то завитушки. Письма, написанные таким странным почерком, и искал Виссер в бумагах графини. Их было девять, и все они были отправлены из Рима, где Димитриос проживал в одном из самых дорогих отелей. Все письма были подписаны инициалами «С. К.» и не содержали ничего интересного. В них даже не было тех нежностей, которые любят женщины. Они были очень короткими и сухими и были сплошь заполнены рассказами Димитриоса о встречах то с итальянскими аристократами, находящимися в родстве по линии жены с королевской фамилией, то с румынским дипломатом. Во всяком случае, эти письма показывали, каким снобом стал Димитриос. Ну что же, тем лучше, решил он, значит, тот не станет торговаться. Виссер записал адрес отеля и вернулся в Париж, чтобы оттуда прямым поездом отправиться в Рим. Когда он вышел из вагона, полиция уже поджидала его.

Вы легко можете представить, что он думал о Димитриосе. Он был так близок к успеху, и вот, пожалуйста, три бесконечных года тюрьмы. Думаю, вы согласитесь, что, с его точки зрения, только Димитриос был виноват в этом. Бесильная ярость кипела в нем все эти годы, и, мне кажется, он даже тронулся на этой почве; выйдя из тюрьмы, он поехал в Голландию, заработал там немного денег и затем направился опять в Рим. Он пошел в отель, где жил три года назад Димитриос, и, прикинувшись голландским частным детективом, попросил разрешения посмотреть книгу записей о всех проживавших в отеле за тот период. Ему сказали, что книга, как это обычно делается, находится в полиции. Выход все-таки нашелся: сохранились счета с фамилиями проживавших в отеле в то время. По инициалам Виссер установил, под какой фамилией проживал в отеле Димитриос, но дальше след обрывался, потому что, выехав из отеля, он не оставил своего домашнего адреса. Известно было только, что он уехал в Париж.

Положение, в котором оказался Виссер, было почти безвыходным. Судите сами, прошло более трех лет, и найти Димитриоса, даже зная его имя, было совсем непросто. Но главное, Виссер был выслан из Франции, и возвращение было для него закрыто до тех пор, пока он не получит паспорт на какую-либо другую фамилию. Но для этого были нужны деньги.

Я все-таки дал ему три тысячи франков, хотя и ругал себя за это. Мне стало нестерпимо жаль его. Тюрьма сломала его,

это был совсем уже другой человек. Если раньше вы только по его горящим глазам могли догадаться, как он вас ненавидит, то теперь он обрушивал на вас поток ругательств, похожий на лай трусливого пса. Он очень постарел. Я не поверил ни одному его слову и дал денег, чтобы поскорее избавиться от него. Представьте мое изумление, когда год назад я получил почтовый перевод на три тысячи франков.

В сопроводительном письме было лишь несколько слов: «Я все-таки нашел его. С глубокой благодарностью возвращаю вам свой долг». Подписи, конечно, не было. По почтовому штемпелю я установил, что перевод был отправлен из Ниццы.

Перевод навел меня на размышления, мистер Латимер. Виссер был, как вы уже знаете, человек тщеславный и самодовольный. Такие люди могут выбросить три тысячи франков лишь тогда, когда имеют в сто раз больше. Источник мог быть только один — Димитриос.

Я сидел в то время без дела, много читал, но, вы знаете, мистер Латимер, в конце концов устаешь и от книг, от этих вымышленных разговоров, от описаний выдуманных чувств. Я подумал, что для меня будет хорошим развлечением поиск Димитриоса. Если Виссер нашел дойную корову, то почему бы и мне не подоить ее. Вы, вероятно, подумали, мистер Латимер, о моей алчности. Уверю вас, вы не правы. Я потому этим занялся, что мне было интересно, что из этого выйдет, да и, кроме того, должен же был Димитриос понести материальный ущерб за нанесенные мне неприятности и оскорбления. И я поехал в Рим.

Друзья нашли мне одного чиновника из правительственного аппарата, который помог (не без некоторых затрат с моей стороны, конечно) познакомиться с архивами Министерства внутренних дел. Я не только узнал фамилию, которой пользовался теперь Димитриос, но мне стало также известно и то, чего не мог знать Виссер: Димитриос стал гражданином одной латиноамериканской страны, чиновники которой не были уж слишком щепетильны и давали гражданство всякому, у кого был тугой кошелёк. Любопытно, что я также стал гражданином этой республики в том же 1932 году. Так что я и Димитриос стали теперь согражданами.

Признаюсь, мое сердце радостно билось, когда я возвращался в Париж. Естественно, я обратился в консульство своей новой родины. Принявший меня консул вел себя грубо и вызывающе: он сказал, что не знает никакого сенатора С. К. и что если бы я даже был самым близким его другом, то и тогда бы он не сказал мне, где сейчас сенатор С. К. находится. Мне было ясно, что он лжет, но что я мог поделаться? Я вскоре получил и другой удар: дом графини на авеню Гош вот уже два года как стоял пустой.

Вы, быть может, скажете, что надо было просмотреть светскую хронику? К сожалению, я там ничего не нашел. Я уже подумывал о том, чтобы бросить свою затею, как вдруг меня посетила блестящая идея: был конец зимнего спортивного сезона, и могло оказаться, что красавица графиня отдыхала на каком-нибудь горном курорте. Я попросил издательство «Ашетт» собрать для меня все издающиеся во Франции, Швейцарии, Германии и Италии спортивные журналы, посвященные горнолыжному спорту, а также журналы и газеты, уделяющие внимание большому свету.

— Теперь вам понятно, почему у меня такое недоумение вызвал ваш интерес к Димитриосу? — Латимер кивнул головой. — Я, как и вы, просматривал бумаги, касающиеся беженцев. Встретив вас, я решил не ехать в Смирну, а поехать вместе с вами в Софию. Быть может, вы мне сейчас расскажете, что вам удалось узнать из полицейских архивов?

— Димитриос подозревался в убийстве менялы Шолема, совершенном в Смирне в октябре 1922 года. Димитриос бежал в Грецию. Два года спустя он принимал участие в организации покушения на Кемаля Ататюрка. Ему опять удалось бежать, но теперь турецкая полиция потребовала его выдачи, сославшись на убийство Шолема.

— Ах, вот оно что! — На лице мистера Питерса опять сияла улыбка. — Этот человек приводит меня в восхищение. Ну не чудо ли? Какая экономия!

— При чем тут экономия?

— Давайте я закончу рассказ, и вы все поймете. Посмотрите, как умно действует Димитриос! Он знает, что Виссера надо убить. Почему бы теперь не воспользоваться его трудом, чтобы прикрыть старые грешки? Конечно, дело об убийстве менялы очень старое, но, очевидно, все-таки незакрытое. Если же теперь турецкая полиция найдет труп Димитриоса Макропулоса, то кому придет в голову искать связь между ним и уважаемым С. К., который с таким искус-

ством возделывает свой сад. Вот почему я и сказал: как он экономен. Конечно, нужно было, чтобы Виссер ничего не подозревал, и поэтому Димитриос выполнил все его требования. Он также позаботился о том, чтобы получить в Лионе удостоверение личности, которое потом и было найдено под подкладкой пиджака убитого. В июне этого года он пригласил своего старого друга совершить вместе с ним морское путешествие на яхте.

Помните, вы мне говорили, что до вас полицейским архивом в Смирне интересовался кто-то еще. Это был, конечно, Димитриос. Ему обязательно надо было знать, что известно полиции о старом деле, чтобы затем подбросить труп Виссера как труп Димитриоса. Вот вам еще один пример его скрупулезной осторожности.

— Но тот человек, говорят, выглядел как обыкновенный француз.

Улыбка на лице мистера Питерса стала немного кислой. — Значит, вы опять не были со мной искренни, мистер Латимер. Вы должны были навести справки об этом таинственном французе. — Он пожал плечами. — Впрочем, теперь Димитриос действительно похож на любого другого француза.

— Вы что, недавно его видели?

— Вчера. Он меня, к счастью, не заметил.

— И вы совершенно точно знаете его адрес?

— Разумеется. Как только я узнал, чем он занимается, я тотчас же узнал и его адрес.

— Что вы собираетесь предпринять?

— Давайте обсудим, — сказал мистер Питерс, нахмурившись. — Вам теперь известно, что труп, обнаруженный в Стамбуле, — это труп Виссера, а не Димитриоса.

Латимер невесело рассмеялся.

— И вы полагаете, что я согласен поддерживать вас в проведении этих планов в жизнь?

— Если ваш изощренный мозг придумал что-нибудь другое, я с радостью соглашусь принять...

— Пока что мой изощренный мозг придумал только то, что надо передать полиции всю информацию, которой мы располагаем.

Мистер Питерс саркастически усмехнулся.

— Вы думаете? О какой информации идет речь? — спросил он, точно хотел сказать: «Неужели вы меня не любите?»

— Ну, речь идет о том... — начал Латимер и осекся.

— В том-то и дело, — кивнул мистер Питерс головой, — ваша информация почти ничего не стоит. Другое дело, если бы вы обратились к турецкой полиции. Впрочем, это мало что дало бы. Обнаружив, что убит не Димитриос, а Виссер, они бы установили, что Димитриос жив — и только. Ведь вы не знаете, под какой фамилией он сейчас проживает, и даже инициалы у него совсем другие, а не те, что я вам назвал. Мне кажется, пройдя по его следам, как это сделали Виссер и я, вы бы ничего не нашли. Что касается французской полиции, то она вряд ли станет искать исчезнувшего преступника, ранее высланного из страны, какого-то грека, проживающего во Франции под чужой фамилией, убившего в Смирне человека шестнадцать лет назад. Итак, мистер Латимер, без меня вам ничего не сделать. Не исключено, нам, быть может, придется обратиться в полицию, если Димитриос сочтет наши доводы несостоятельными. Но это вряд ли, в конце концов, Димитриос — разумный человек. А что, мистер Латимер, вам помешают эти три тысячи фунтов?

Латимер молча и пристально посмотрел на мистера Питерса, потом сказал:

— Наверное, вам это не приходило в голову, но мне действительно не нужны эти три тысячи фунтов. Мне кажется, мой друг, что столь долгое общение с людьми преступного мира полностью отбило у вас чутье на порядочных людей.

— Понимаю, так называемые моральные принципы...

Латимер, занятый своими мыслями, почти его не слушал. Да, все получилось совсем не так, как он предполагал, и теперь надо было найти хоть какой-то достойный выход из этой безумной затеи. Сейчас он должен был сделать выбор: либо вернуться в Афины и предоставить мистера Питерса его собственной судьбе, либо остаться и сыграть свою роль в этой гротескной комедии до конца. Он решил выбрать второе, потому что первое показалось ему отвратительным. Ему нечего было сказать, и, чтобы выиграть время, он достал сигарету и закурил.

— Ну, хорошо, — сказал он медленно. — Я сделаю все, что вы просите. Но я ставлю свои условия.

— Условия, — повторил мистер Питерс, точно эхо, и заку-

сил свою толстую нижнюю губу. — Мне кажется, я и так достаточно щедр, отдавая вам половину. Поймите, мои расходы на расследование...

— Минуточку. Ведь вы еще не знаете. Первое вам легко выполнить. Итак, я полностью отказываюсь от своей доли, и вы можете взять себе все деньги, которые выжмете из Димитриоса. Второе...

Он замолчал, взглянув на лицо мистера Питерса: вначале там была радость, затем недоумение, потом слезящиеся глаза мистера Питерса сузились до предела и он выдавил из себя:

— Я ничего не могу понять, мистер Латимер, но если это какая-нибудь глупая выходка...

— Нет, нет, мистер Питерс, ни то и ни другое. Вы говорили о «моральных принципах», не так ли? Быть может, в этом все дело. Но вряд ли, потому что я ведь участвую в шантаже, хотя и отказываюсь воспользоваться его плодами.

— Ну что же, — сказал мистер Питерс задумчиво. — Тем лучше для меня. В чем состоит ваше второе условие?

— Оно для вас совершенно необременительно. По вашим словам, Димитриос стал важной персоной. Я готов помочь получить вам миллион франков при условии, что мне станет известно, какой пост он сейчас занимает.

Мистер Питерс на мгновение задумался, потом, пожав плечами, сказал:

— Я согласен. Не вижу причин, по которым мне надо что-то утаивать от вас. Думаю, это сообщение вам ничего не даст, если вы попытаетесь идентифицировать Димитриоса. Дело в том, что Евразийский кредитный трест, зарегистрированный в Монако, засекретил все сведения о своей структуре и операциях. Могу только сообщить, что Димитриос — член правления этого банка.

Рандеву

Было два часа ночи, когда Латимер вышел из тупика Восьми Ангелов и направился к себе в отель на набережную Вольтера. Он то и дело зевал, во рту было сухо и сильно болели глаза. Но выпитый кофе гнал сон прочь, и мозг, казалось, работал с такой лихорадочной быстротой и удивительной ясностью, что все лишнее смысла становилось вдруг разумным и понятным.

Придя к себе, Латимер немного посидел в кресле, глядя на черную Сену, на отблеск света, горевшего где-то над Лувром. Он никак не мог выбросить из головы ни признания Дхриса Мохаммеда, ни драму Булича, ни рассказ о том, как бывший упаковщик инжира заработал свои миллионы, отравляя белым порошком Париж. Доподлинно известно, что по его вине погибли три человека, а сколько, должно быть, еще безымянных жертв... Да, если существовало воплощение мирового Зла, то им, безусловно, был этот человек.

Но ведь Добро и Зло — это абстракции, созданные прошлым. Для новой теологии характерны понятия «хороший бизнес» и «плохой бизнес». С этой точки зрения, Димитриос — логическое следствие эволюции. Это логическое следствие тех перемен, в результате которых на смену «Давиду» Микеланджело, бетховенским квартетам и теории Эйнштейна пришли Бюллетень фондовой биржи и «Mein Kampf».

Конечно, один человек бессилен против тех, кто сбрасывает на детей бомбы. Он может только проклинать тех, кто это делает, да испытывать чувство сострадания к несчастным. Но действию отдельной личности можно и должно помешать, если она стремится причинять зло людям. Димитриос по крайней мере дважды совершил тяжкое преступление и, значит, в принципе может быть привлечен к суду, как и любой голодающий, укравший кусок хлеба.

Латимер видел черновик письма, которое мистер Питерс собирался отправить Димитриосу. Ему бросилось в глаза: письмо было написано в том же стиле, что и письмо одного шантажиста из его романа. Оно начиналось дружеским упреком, что месье С. К., ныне процветающий банкир, член высшего общества, наверное, уже забыл автора, с которым когда-то съел пуд соли и заработал не одну тысячу. Далее выражалось пожелание, чтобы месье С. К. посетил автора письма в таком-то отеле, в девять часов вечера в четверг на этой неделе. После заверений в давней и искренней дружбе шла подпись, а затем постскриптум, в котором месье С. К. сообщалось, что автор письма не так давно виделся с одним человеком, который знает их общего друга Виссера и которому не терпится познакомиться лично с месье С. К. Было бы жаль, если бы обстоятельства помешали месье С. К. появиться в указанном месте в четверг вечером.

По плану Димитриос должен был получить письмо в чет-



верг утром. Вечером в половине девятого «мистер Петерсен» и «мистер Смит» появились в отеле, где мистер Питерс предварительно заказал номер. Предполагалось, что Димитриос согласится уплатить требуемую сумму. Предосторожность заключалась в том, чтобы можно было исчезнуть, не оставив следов. Мистер Питерс заверил, что это можно сделать без труда.

В тот же день вечером Димитриос должен был получить второе письмо, в котором говорилось, каким образом передать деньги в тысячефранковых купюрах. Это должно было произойти в пятницу в одиннадцать часов вечера в указанном месте дороги возле кладбища в Нейи. Посланца здесь ждала машина с людьми, выполняющими поручение мистера Питерса. Посланец сел в машину, и машина, покружив в пригороде Парижа, возвращалась на авеню Де ла Рен вблизи Порт де Сен-Клу, где ее поджидали «мистер Петерсен» и «мистер Смит», которым посланец и передавал деньги. Затем люди мистера Питерса отвозили посланца на то же место, откуда взяли. В письме ставилось обязательное условие, что посланец — женщина.

Последняя предосторожность несколько удивила мистера Латимера, но мистер Питерс убедил его, что она очень важна, потому что посланцем мог стать сам Димитриос, который легко мог перевербовать людей мистера Питерса, после чего и «мистер Петерсен», и «мистер Смит» получили бы пулю в лоб.

В шель между шторами пробился первый луч. Уже рассвет. Латимер повернулся набок и тотчас уснул.

Разбудил его телефонный звонок. Звонил мистер Питерс. Он сообщил, что письмо Димитриосу уже отправлено и что ему хотелось бы обсудить вместе кое-какие детали, и поэтому он просит мистера Латимера поужинать вместе. Латимеру показалось, что обсуждать уже больше нечего, но он согласился. Пообедав, он пошел в зоопарк.

Ужин был скучен, и Латимер понял, что это была еще одна предосторожность мистера Питерса.

Сказав, что у него болит голова, он ушел и, приехав к себе в отель, сразу же лег в постель.

Латимера мучило то, что он сам участвует в шантаже. И дело ничуть не менялось от того, что шантаж был направ-

лен против Димитриоса, потому что шантаж такое же преступление, как и убийство. Вероятно, Макбет колебался бы, убивать ему или не убивать, даже если бы знал, что Дункан закоренелый преступник, а не человек с душой чистой, как у ангела. Но, к несчастью, мистер Питерс прекрасно справился с ролью леди Макбет.

Он позавтракал, потом побродил по городу. С мистером Питерсом они договорились встретиться в пятнадцать минут восьмого. День тянулся нудно и бездарно. Чтобы убить время, Латимер пошел в кино.

Ему не хотелось идти на встречу с мистером Питерсом, потому что вслед за этим он должен был встретиться с человеком, во взгляде которого мог прочесть лишь холодное и ясное желание убивать каждого, кто встанет ему поперек дороги. И так, он явно трусил.

Мистер Питерс прибыл в кафе на бульваре Осман, опоздав на десять минут. В руках у него был большой дешевый чемодан. Он двигался решительно и собранно, как хирург во время ответственной операции.

— Ну как, все в порядке? — спросил Латимер тем наигранным театральным тоном, каким обычно люди безуспешно пытаются скрыть бушевающую их тревогу и неуверенность.

— Пока что да. Естественно, я еще не получал ответа.

— А что это у вас в чемодане?

— Старые газеты. В отеле хорошо появляться с чемоданом, тогда можно не регистрироваться. Я назначил место встречи в отеле недалеко от метро Ледрю-Роллен. Это удобно.

— Мне кажется, лучше взять такси.

— Разумеется, мы возьмем такси, — сказал он. И добавил многозначительно: — Но обратно мы поедем на метро. Почему так, увидите сами.

Отель находился на улочке, пересекавшей авеню Ледрю. Он был двухэтажный и очень грязный. Из комнаты с надписью «Бюро» вышел человек в нарукавниках.

— Я заказывал по телефону номер, — сказал мистер Питерс.

— Месье Петерсен?

— Да.

Человек подозрительно разглядывал прибывших.

— Номер очень большой. Пятнадцать франков, если будете жить один, двадцать — вдвоем. За обслуживание берем три франка.

— Сопровождающий меня месье здесь жить не будет.

Человек вернулся в комнату и вышел оттуда, держа в руке ключ от номера. Он взял у мистера Питерса чемодан и повел их на второй этаж, открыл дверь номера и впустил гостей. Мистер Питерс осмотрел помещение и кивнул головой.

— Мне это подойдет. Если меня спросит один из моих друзей, проводите его, пожалуйста, к нам.

Человек ушел. Мистер Питерс, очень довольный собой, сел на кровать.

— Довольно сносно, — сказал он, — и очень дешево.

— Да, конечно.

Это была длинная узкая комната со старым ковром на полу, железной кроватью, гардеробом, небольшим столиком, двумя венскими стульями, умывальной раковиной и унитазом за ширмой.

Ковер был красный, сильно потертый. Выцветшие обои кой-где отстали от стены. Если приглядеться, то на них можно было разглядеть маленькие красные точки. Окно было закрыто тяжелой голубой шторой.

— До его прихода еще двадцать пять минут, — сказал мистер Питерс, взглянув на часы. — Можно пока расслабиться. Может быть, хотите сесть на кровать?

— Спасибо, мне и здесь хорошо. Полагаю, разговор будете вести вы.

— Думаю, что так будет лучше.

Мистер Питерс достал из кармана пиджака уже знакомый Латимеру люгер и, проверив, заряжен ли он, сунул его в боковой карман пальто.

Латимер смотрел на него так, как, должно быть, смотрит пациент на дантиста. Его слегка подташнивало. И почему-то вдруг вырвалось:

— Нельзя ли обойтись без этого?

— Думаю, можно, — сказал мистер Питерс тем тоном, каким родитель успокаивает ребенка, — но это необходимая предосторожность. Наверное, все обойдется. Вы напрасно волнуетесь.

В голове Латимера мелькали кадры когда-то виденного гангстерского фильма.

— А что, если он войдет в номер и сразу начнет стрелять?

— Какой вы нервный! — Мистер Питерс снисходительно улыбнулся. — Ваше писательское воображение погубит вас, мистер Латимер. Димитриос не станет этого делать, потому что человек внизу может запомнить его, когда он войдет сюда. Кроме того, это не его стиль.

— А какой у него стиль?

— Прежде всего Димитриос — осторожный человек. Он ничего не предпринимает, не обдумав заранее.

— Для этого у него был целый день.

— Верно, но ведь ему неизвестно, что мы о нем знаем и кому еще могли сообщить нашу информацию. Все это ему еще надо установить. Предоставьте дело мне, мистер Латимер, я знаю, кто такой Димитриос.

Латимеру хотелось сказать, что покойный Виссер, по-видимому, думал точно так же, но он не сказал этого, а решил задать другой вопрос.

— Вы говорили — как только вы получите деньги, то Димитриос о нас больше ничего не услышит? Вы не подумали, что он, быть может, захочет выследить нас?

— А кого он станет выслеживать? Мистера Петерсена и мистера Смита? Это даже для него трудная задача, мистер Латимер.

— Но ведь вас он знает в лицо. Меня он сейчас увидит. Так что, под какими бы фамилиями мы потом ни появились, он может узнать нас.

— Но для этого мы должны как-то объявить себя.

— Моя фотография появляется иногда в газетах. Может так случиться, что издатель сочтет нужным поместить мой портрет на суперобложке. Димитриосу может попасться в руки эта книга. От таких странных совпадений никто не застрахован.

— Мне кажется, вы преувеличиваете, — сказал мистер Питерс, пожав плечами, — но раз уж вас это так беспокоит, постарайтесь скрыть от него свое лицо. Вы носите очки?

— Да, когда читаю.

— Тогда наденьте очки. Наденьте шляпу и поднимите воротник пальто. Сядьте в угол — там темнее.

Мистер Питерс отошел к двери и посмотрел на пересевшего в угол Латимера.

— Ну, что ж, это как раз то, что вы хотели. Хотя, по моему, в этом нет необходимости. И вот теперь, когда мы все обдумали, предусмотрели, вдруг он не придет?

— Вы думаете, это может случиться? — задал Латимер свой дурацкий вопрос — он все никак не мог прийти в себя.

— Разве угадасишь? — Мистер Питерс опять сел на кровать. — Быть может, он не получил письма. Не исключено, что он вчера уехал из Парижа. Но я уверен, если он его получил, то обязательно придет. — Он поглядел на часы. — Без пятнадцати девять. Думаю, он уже на подходе.

В коридоре под чьей-то ногой скрипнула половица, и звук этот был, как выстрел.

Мистер Питерс сунул руку в карман.

Латимеру стало трудно дышать, сердце его учащенно билось. Он, как завороченный, смотрел на дверь.

Раздался негромкий стук. Мистер Питерс встал и, по-прежнему держа руку в кармане пальто, пошел открыть дверь.

Латимер увидел, как он вглядывался в плохо освещенный коридор и затем впустил гостя.

В комнату вошел Димитриос.

Маска Димитриоса

Форма черепа, цвет глаз и другие детали достаются человеку по наследству от предков и от него самого совершенно не зависят. Что же касается выражения лица, то им можно распорядиться по собственному усмотрению.

Перед Латимером стоял, держа в руке шляпу, высокий человек с седой в волосах, одетый в модное пальто, очевидное воплощение респектабельности. Людей с такой внешностью можно часто видеть на дипломатических приемах. Лицо его слегка обрюзгло, лишь тонкий горбачий нос да взгляд черных глаз чуть-чуть приоткрывали ширму. Латимеру показалось, что Димитриос щурится, точно близорук или чем-то озабочен, но неподвижные брови и гладкий, без морщин лоб противоречили этому предположению, и, приглядевшись, Латимер понял, что эта иллюзия обязана посадке глаз и выступающим скулам. Лицо было таким бесстрастным и неподвижным, точно оно принадлежало не человеку, а истукану.

Димитриос, не отрываясь, смотрел на Латимера, и лишь когда мистер Питерс закрыл дверь и встал рядом с ним, он повернулся к тому и сказал:

— Представьте меня вашему другу. Мне кажется, я вижу его впервые.

Фраза была вежливой, но наглый тон и резкий тембр голоса так подействовали на Латимера, что у него похолодели ноги. Вероятно, Димитриос знал об этом свойстве своего голоса и поэтому говорил очень тихо, и Латимер подумал: так, наверное, гремучая змея, шурша, подползает к своей жертве.

— Это месье Смит, — сказал мистер Питерс. — Что же вы стоите? Присаживайтесь.

Димитриос не обратил на это предложение никакого внимания.

— Месье Смит! Англичанин. Очевидно, вы знали месье Виссера?

— Я видел его.

— Вот это мы и хотели обсудить с вами, Димитриос.

— Да? — Димитриос сел. — Тогда побыстрее и ближе к делу. У меня сегодня еще одна встреча, и я не могу попусту тратить время.

— А вы совсем не изменились, Димитриос, — сказал мистер Питерс, укоризненно покачивая головой, — все такой же напористый и недобрый. Вошли, не поздоровались и не извинились. А ведь я был вам когда-то другом. Вы выдали полиции тех, кто вам был так предан. Зачем вы это сделали?

— Много лишних слов, — сказал Димитриос. — Что вам от меня нужно?

Мистер Питерс осторожно присел на край кровати.

— Раз уж вы на этом настаиваете, то придется сказать — нам нужны деньги.

В черных глазах Димитриоса зажегся огонек.

— Естественно. А что я получу взамен?

— Наше молчание, Димитриос. Оно дорого стоит.

— Неужели? Сколько?

— По самым скромным подсчетам, миллион франков.

Димитриос закинул ногу за ногу и развалился в кресле.

— И кто же заплатит вам такие деньги?

— Вы, Димитриос. И еще скажете спасибо, что дешево отделались.

Тонкие губы Димитриоса чуть тронула улыбка. Латимер был поражен игрой его лицевых мускулов: должно быть, так улыбаются тигр-людоед при виде беззащитной жертвы.

— В таком случае вам придется изложить как можно точнее, что вы имеете в виду.

Латимер ясно различил в голосе Димитриоса скрытую угрозу, ему была неприятна самодовольная суетливость мистера Питерса.

— Право, затрудняюсь, с чего начать.

Ответа не последовало, и, подождя несколько секунд, мистер Питерс пожал плечами и продолжал:

— Я думаю, полиции все будет интересно. Взять хотя бы, к примеру, имя человека, написавшего донос в 1931 году. Они, наверное, удивятся, узнав, что это один из директоров Евразийского кредитного треста, он же Димитриос Макропулос, поставщик живого товара.

Латимер не мог сказать наверное, но ему показалось, что Димитриос слушал все это с каким-то нахальным безразличием.

— И вы считаете, что я должен выложить за это миллион франков? Не будьте ребенком, мой дорогой Петерсен.

— Ну что ж, — мистер Питерс улыбнулся, — вы всегда презирали и высмеивали мои взгляды на жизнь. Но молчание по упомянутым мной вопросам представляет для вас определенную ценность, не так ли?

Димитриос несколько секунд молча смотрел на него, потом сказал:

— Может быть, все-таки перейдете к делу, Петерсен? Или вы подготавливаете путь для англичанина? — Он повернул голову и посмотрел на Латимера. — Вы ничего не хотите сказать, мистер Смит? Мне кажется, вы оба чувствуете себя очень неуверенно, не так ли?

— Петерсен выражает мою точку зрения, — промямлил Латимер. Его злило то, что мистер Питерс все ходит вокруг да около.

— Итак, можно я продолжу? — спросил мистер Питерс.

— Давайте.

— Югославская полиция также, быть может, проявит к вам интерес, поскольку известный ей месье Талат...и...

— Например, я! — Димитриос злобно рассмеялся. — Значит, Гродек заговорил. Вы не получите за это ни су, мой друг. Что еще?

— Афины, год 1922-й. Вам это о чем-нибудь говорит, Димитриос? Не припоминаете, был там такой Таладис. Полиция разыскивала его по обвинению в грабеже и попытке убийства. Смешно, не правда ли?

Мистер Питерс сказал последнюю фразу каким-то мерзким, гнусавым тоном, напомнившим Латимеру сцену в софийском отеле. Димитриос, не мигая, смотрел на своего собеседника. Жгучая ненависть повисла в воздухе и давила Латимеру на голову. Лишь однажды в детстве он пережил нечто похожее, когда видел на улице драку между двумя мужчинами. Мистер Питерс достал из кармана пальто люгер и, держа его обеими руками, направил на Димитриоса.

— Итак, вам нечего сказать, Димитриос? В таком случае я продолжаю. Годом раньше в Смирне вы убили менялу. Как его звали, мистер Смит?

— Шолем.

— Конечно, Шолем. Месье Смит проделал это расследование, Димитриос. Неплохая работа, не так ли? Месье Смит в хороших отношениях с турецкой полицией. Можно сказать, они ему доверяют. Вам все еще кажется, что миллион франков слишком дорогая цена?

— Убийца Шолема повешен, — сказал Димитриос, глядя куда-то вниз.

— Неужели это правда, месье Смит? — сказал мистер Питерс, высоко вскинув брови.

— Был повешен негр Дхрис Мохаммед. Перед смертью он сделал заявление, в котором обвинял в убийстве Шолема месье Макропулоса. Ордер на арест был выдан в 1924 году, но полиции хотелось схватить убийцу уже по другой причине — он потом принимал участие в заговоре с целью убить Кемала Ататюрка.

— Как видите, мы неплохо информированы, Димитриос. Можно, мы продолжим?

Мистер Питерс замолчал. Молчал и Димитриос, смотря куда-то сквозь стену. Лицо по-прежнему было бесстрастным, точно окаменевшим.

— Интересно, почему вы просите миллион? Неужели это все?

Мистер Питерс мерзко захихикал.

— Вы думаете, что, получив миллион, мы потом пойдем в полицию? Нет, Димитриос, это честная сделка и своего

рода жест доброй воли. Вас это не разорит, поэтому не считайте нас алчными.

— Итак, вы считаете, что мне не надо расстраиваться? Эта безумная идея, будто я убил Виссерса, ваша или есть кто-нибудь еще, кто ее разделяет?

— Других пока нет. Я хочу, чтобы деньги были доставлены завтра в тысячефранковых купюрах.

— К чему такая спешка?

— Инструкции находятся в письме, которое вы получите по почте завтра утром. Если вы их нарушите, то мы тотчас известим о вас полицию. Надеюсь, ясно.

— Куда уж яснее.

Латимер слушал их диалог и думал, что какой-нибудь посторонний наблюдатель, незнакомый ни с тем, ни с другим, вероятно, воспринял бы его как обычный и деловой, но он-то видел, что только направленный на него люгер удерживал Димитриоса от желания броситься на мистера Питерса и что только обладание будущим миллионом удерживало мистера Питерса от желания нажать на спусковой крючок.

Димитриос встал и вдруг, повернувшись, обратился к Латимеру:

— Вы такой молчаливый, месье. Мне кажется, вы не совсем понимаете, что теперь ваша жизнь находится в руках вашего друга Петерсена. Ведь стоит ему сообщить мне, кто вы такой и где вас можно найти, с вами покончено.

Мистер Питерс широко улыбнулся, показывая вставную челюсть.

— Зачем же мне лишать себя бесценной помощи мистера Смита? Он ведь видел Виссерса в морге, и без него трудно было бы затянуть петлю на вашей шее, Димитриос.

Димитриос по-прежнему не отрываясь смотрел на Латимера, словно не слышал, что сказал мистер Питерс.

— Что же вы молчите, месье Смит?

— Уверю вас, — выдавил Латимер, — у мистера Петерсена не могло появиться такого желания, потому что...

— Потому что, — быстро продолжил мистер Питерс, — мы не дураки. Теперь вы можете идти, мистер Димитриос.

Димитриос пошел к двери, но, подойдя к ней, вдруг остановился.

— Ну, что еще? — спросил мистер Латимер.

— Хочу задать месье Смицу два вопроса.

— Ну?

— Как был одет тот человек в морге, которого вы считаете Виссерсом?

— На нем был летний дешевый костюм. Под подкладкой пиджака было зашито удостоверение личности, выданное в Лионе год тому назад. Рубашка и нижнее белье были французского производства.

— Как он был убит?

— Ударом ножа в спину. Потом брошен в воду.

— Вы удовлетворены? — улыбнулся мистер Питерс.

Во время наступившей паузы Димитриос смотрел только на мистера Питерса.

— Виссер, — процедил он, — был очень жаден. Вы не страдаете этой болезнью, мистер Петерсен?

Мистер Питерс тоже не отрываясь смотрел на Димитриоса.

— Я человек скромный и осторожный, — сказал он. — У вас больше нет вопросов? Прекрасно. Инструкции получите завтра утром.

Димитриос вышел, оставив дверь открытой. Мистер Питерс закрыл ее. Постояв с минуту у двери, он очень тихо открыл ее и, махнув рукой Латимеру, мол, сиди на своем месте, исчез в коридоре. Слышно было, как под его ногой скрипнула половица. Примерно через минуту он вернулся.

— Ушел, — сказал он, опять садясь на кровать и доставая сигарку. Он закурил и, затянувшись, выдохнул дым, сияя, точно новенький шестипенсовик. — Итак, вы видели Димитриоса, о котором вам известно так много. Какое у вас сложилось впечатление?

— Право, не знаю, что сказать. Наверное, знай я о нем поменьше, я не испытывал бы такого отвращения. Да и что можно сказать, если в его взгляде читается смертный приговор каждому, кто перешел ему дорогу. А я и не знал, что вы его так сильно ненавидите.

— Поверьте, мистер Латимер. Я и сам этому удивился. Да, я никогда не любил его, я не доверял ему. Когда он нас предал, эти чувства еще усилились. Но только сейчас, вот в этой комнате, я понял, что ненавижу его так сильно, что готов убить. Если бы я был суверен, то мог сказать, что дух Виссерса вселился в меня. — Он вдруг замолчал. Потом тихо, едва слышно сказал: — Salop! — и снова замолчал, опустив

голову на грудь. Наконец, он поднял голову и сказал:

— Мне хочется быть с вами откровенным, мистер Латимер. Признаюсь, вы бы никогда не получили свои полмиллиона.

Он весь напрягся, точно боялся, что Латимер ударит его.

— Я так и думал, — сказал Латимер сухо. — Мне было интересно посмотреть, каким образом вы надуете меня. Наверное, вы бы получили деньги на час раньше того времени, о котором сообщили мне. Когда я появился, не было бы уже ни вас, ни денег.

Мистер Питерс поморщился, точно сел на кнопку.

— Ваше недоверие мне понятно, правда, оно меня немножко обижает. Впрочем, не мне осуждать вас. Уж если Всомогущий сделал из меня преступника, то я должен принять со смирением выпавшую мне судьбу. Можно мне задать один вопрос?

— Конечно.

— Простите, но, может быть, мысль о том, что я могу сговориться с Димитриосом и предать вас, заставила вас отказаться от своей доли?

— Нет, это почему-то не пришло мне в голову.

— Я очень рад, — сказал мистер Питерс торжественно, — мне было бы тяжело сознавать, что вы думаете обо мне плохо. Я знаю, я вам не нравлюсь, но мне было бы неприятно выглядеть в ваших глазах закоренелым негодяем. Поверьте, мне эта мысль тоже не приходила в голову. Теперь вы видите, что за человек Димитриос! Мы оба отрицаем эту мысль, но именно Димитриос заставил нас над ней задуматься. Мне не раз приходилось встречать всякого рода преступников и негодяев, мистер Латимер, но Димитриос нечто особое в этом роде. Как вы думаете, почему он предположил, что я могу предать вас?

— Я думаю, он использовал старинный принцип: бить каждого противника поодиночке.

— Нет, мистер Латимер, — улыбнулся мистер Питерс, — это слишком просто для Димитриоса. Он, представьте себе, делал вам предложение сообщить ему, где меня можно найти, чтобы, избавившись от меня, иметь дело уже непосредственно с вами.

— Вы думаете, он намекал на то, что может убить вас?

— Совершенно верно. Но ведь вы же не знаете, — продолжал мистер Питерс задумчиво, — ни его настоящего имени, ни адреса.

Он встал и надел шляпу.

— Да. Я ненавижу его. Поймите меня правильно. Я давно живу в споре с принципами морали, и все-таки я не дикий зверь, как Димитриос. Я боюсь его, хотя и многое предусмотрел. Как только получу деньги, я сразу же исчезну. Мне бы очень хотелось, чтобы вы — когда я исчезну — выдали его полиции. Я бы на вашем месте непременно это сделал. Но, к сожалению, это невозможно.

— Почему?

— Димитриос, мне кажется, произвел на вас довольно сильное впечатление, — сказал мистер Питерс, как-то странно поглядев на Латимера. — Нет, это было бы слишком опасно. Пришлось бы сказать о миллионе — ведь Димитриос обязательно упомянул бы этот факт. Да, очень жаль. Ну что, уходим? Я оставлю деньги на столе, а чемодан — вроде часовых.

Они молча спустились по лестнице. Когда мистер Питерс постучал в комнату дежурного, чтобы отдать ключ, человек в нарукавниках сразу же сунул ему регистрационный лист, но мистер Питерс, махнув рукой, сказал, что заполнит его, когда вернется.

— За вами никогда не было хвоста? — спросил он, когда вышли на улицу.

— Никогда, сколько я себя помню.

— Значит, сейчас будет. Полагаю, Димитриос на таких делах собаку съел. — Он поглядел назад. — Так и есть. Не оглядывайтесь, мистер Латимер. Видите, стоит человек в сером плаще и черной шляпе.

То неприятное ощущение в желудке, которое полностью прошло с уходом Димитриоса, появилось вновь.

— Что же теперь делать?

— Идти к метро, как и договорились.

— А что это даст?

— Сейчас увидите.

До метро Ледрю-Роллен было каких-нибудь сто метров. Латимер с трудом передвигал ноги — мышцы напряглись и стали как деревянные. Ему очень хотелось бежать.

— Не оглядывайтесь, — снова повторил мистер Питерс.

Они спустились теперь вниз, по ступенькам.

— Держитесь ко мне поближе, поплотнее, — сказал мистер Питерс. Он купил два билета второго класса, и они зашагали по туннелю, ведущему к поездам.

Туннель был очень длинный. Когда Латимер проходил через турникет, его будто кто-то толкнул, и он оглянулся — за ними в метрах десяти шел невзрачный молодой человек в сером плаще. Вдруг туннель разделился на два: налево была надпись «Шарантон», направо — «Балар». Мистер Питерс остановился.

— Самое время здесь оторваться, — сказал он и, скосив глаза, посмотрел назад. — Так и есть, он тоже выжидает. Говорите, пожалуйста, потише, мистер Латимер, мне надо послушать.

— Послушать? Что?

— Поезда. Я сегодня провел здесь целый час.

— Для чего? Ничего не понимаю...

Мистер Питерс схватил его за руку и прислушался. Слышен был звук приближающегося поезда.

— Значит, Балар, — пробормотал мистер Питерс. — Идемте. Держитесь теснее ко мне и, пожалуйста, не бегите.

Они повернули направо. Шум поезда стал громче. Туннель вдруг сделал крутой поворот.

— Быстрее! — крикнул мистер Питерс.

Голова поезда уже показалась из туннеля. Дверца начала медленно сдвигаться в сторону, и Латимер протиснулся вперед, к выходу на платформу. Вслед за ним и мистер Питерс успел протолкнуть свое грузное тело.

— Великолепно! — сказал мистер Питерс, отдуваясь. — Теперь вам понятно, что я имел в виду, мистер Латимер?

— Вы здорово это придумали.

Шум поезда мешал разговору, и они молчали. Именно сейчас Латимеру вдруг стало ясно, что имел в виду полковник Хаки, когда сказал, что история никогда не кончается. Если бы Димитриосу удалось подкупить мистера Питерса, то погиб бы рассказчик, а Димитриос продолжал бы жить и, быть может, дожил бы до преклонных лет. Ну что же, он зарабатывает на жизнь тем, что пишет детективные романы, а в них всегда есть начало, середина и конец. В них всегда есть труп, расследование и возмездие. От него, как от автора, требуется, чтобы он показал, как находят следы преступления, как торжествует справедливость и как пышно цветет зеленое дерево жизни. И пусть читатель останется в полном неведении относительно таких фигур, как Димитриос, и относительно таких учреждений, как Евразийский кредитный трест. Ведь детективы прекрасно помогают убить время.

Странный город

В половине одиннадцатого мистер Питерс и Латимер появились на углу авеню Де ла Рен и бульвара Жана Жореса. Ночь была холодная, начал накрапывать дождь. Пришлось укрыться в подворотне дома на авеню Де ла Рен.

— Как вы думаете, они скоро появятся? — спросил Латимер.

— Часов в одиннадцать. Надо взять посланца, потом посмотреть, нет ли за ними хвоста, и если нет, то ехать сюда. Я дал им на это полчаса. Наберитесь терпения.

Для ушедшего в себя Латимера было полной неожиданностью хрипло прозвучавшее: «Внимание!»

— Едут?

— Да.

Мимо них проехала большая машина. Водитель притормозил, словно раздумывая, останавливаться ему или нет. Капли дождя ярко блестели в свете автомобильных фар. Наконец, машина остановилась. Виден был силуэт человека, сидящего за рулем. Задние стекла были зашторены, так что нельзя было сказать, кто еще в машине.

— Подождите меня здесь, пожалуйста, — сказал мистер Питерс и, сунув руку в карман пальто, пошел к машине.

— Порядок? — услышал Латимер вопрос мистера Питерса и спустя секунду — «Да» — водителя.

Мистер Питерс открыл заднюю дверцу и наклонился вперед. Он тотчас выпрямился — в левой руке его был сверток.

— Все нормально? — спросил Латимер, когда он вернулся.

— Видимо, да. Зажгите спичку, пожалуйста.

Латимер подчинился. Мистер Питерс разорвал голубую обертку свертка, напоминая книгу большого формата, и в свете спички хорошо были видны пачки тысячефранковых купюр.

— Чудесно! — выдохнул мистер Питерс.

— Будете пересчитывать?

— С удовольствием занялся бы этим, — на полном серьезе

заявил мистер Питерс, — но придется отложить до дома.

Он запихнул сверток в левый карман пальто и вышел из подворотни, подняв правую руку — машина тотчас снялась с места и, сделав широкий круг, помчалась обратно.

— Замечательная красавица, — сказал мистер Питерс, улыбаясь. — Интересно, кто она. Конечно, миллион лучше. Ну, а теперь, мистер Латимер, едем, я угощу вас вашим любимым шампанским. Вы его вполне заслужили.

Они поймали такси у Порт де Сен-Клу, и всю дорогу мистер Питерс распространялся о своем успехе, о своих планах.

— Когда имеешь дело с людьми типа Димитриоса, необходимы лишь два фактора: твердость и предусмотрительность. Мы изложили ему суть дела, и, когда он понял, что ему не вывернуться, он согласился на все наши требования. Миллион франков. Это прекрасно! Конечно, два миллиона было бы еще лучше. Но, как известно, жадность до добра не доводит. Наверное, он думает, что мы, как и Виссер, опять потребуем денег, и тогда он уберет нас. Это его просчет. Зато я горжусь собой. В некотором смысле бедняга Виссер отомщен. Кто-то думает, что Всемогущий забыл о нас, своих детях. Но только в такие минуты, как эта, понимаешь, что это мы забыли Его. Да, я страдал. И вот, наконец, награда за мои страдания. — Он похлопал себя по карману. — Приятно все-таки сознавать, что мы провели Димитриоса. Как жаль, что нельзя посмотреть на его лицо!

— Вы покидаете Париж?

— По-видимому, да. Мне хочется побывать в Латинской Америке. Скоро я буду совсем стар, так что пора подумать о покое. Куплю себе где-нибудь поместье и буду доживать свой век. Вы еще совсем молодой человек, мистер Латимер. У вас совсем другое ощущение времени. А таким, как я, кажется, что путешествие подходит к концу — поезд приблизится к неизвестному, странному городу: уже поздно, холодно, на дворе ночь, и так не хочется покидать тепло вагона, так хочется, чтобы путешествие не кончилось.

— Но ведь ваша философия дает на это ответ, не так ли?

— Философия, — сказал мистер Питерс авторитетно, — может объяснить только то, что уже случилось. Один лишь Всемогущий знает, что может произойти в будущем. Мы всего лишь люди. Как может наш бедный разум постигнуть бесконечность? Солнце находится от нас на расстоянии ста пятидесяти миллионов километров, только вдумайтесь в это! Мы всего лишь пыль, не имеющая никакого значения. А что собой представляет миллион франков? Чепуха! Неужели Всемогущий станет заниматься такими пустяками? Подумаем о тайне, окружающей нас. Например, о звездах. Миллионы звезд смотрят на нас. Это замечательно.

Он все еще продолжал говорить о звездах, когда такси пересекло рю Лекурб и свернуло на бульвар Монпарнас.

— Мы ведем борьбу за существование точно так же, как и муравьи. И все-таки, будь у меня возможность прожить свою жизнь еще раз, я прожил бы ее точно так же. Да, в моей жизни были неприятные моменты, и по воле Всемогущего я делал некрасивые вещи, но мне все-таки удалось сколотить немного денег, и я теперь сам себе хозяин, а многие люди моего возраста могут этим похвастаться.

Такси свернуло на рю де Рени.

— Мы уже почти дома. Скоро я угощу вас шампанским. Оно очень дорогое. Приятно иногда потешить себя роскошью, чтобы затем вернуться к простоте. — Такси остановилось. — Не правда ли, это очень странно, мистер Латимер? У меня, оказывается, нет мелочи. Расплатитесь, пожалуйста.

— Я думаю, — сказал мистер Питерс, когда они подошли к дому, где он жил, — перед отъездом мне надо продать эти дома. В конце концов любая собственность должна приносить доход.

— Вероятно, покупатель на них не скоро найдется? Соглашались, вид отсюда довольно скучный?

— Ну, из окон смотреть совсем не обязательно. Если их отремонтировать, то получатся прекрасные жилые дома.

Они начали подниматься по лестнице. На площадке второго этажа мистер Питерс остановился, чтобы перевести дух, и достал из кармана ключи. Потом они опять пошли вверх.

Он открыл ключом дверь, включил свет и сразу прошел к большому дивану. Достав из кармана сверток, развязал бечевку и вытащил из пачки десятка два банкнот. Он держал их в руке, словно все, и улыбался, как мальчишка, которому дали на мороженое.

— Вот он, миллион, перед вами! Вы когда-нибудь видели столько денег? Это же пять тысяч фунтов на ваши деньги! — Он встал. — Но давайте начнем праздновать наш успех.

Раздевайтесь, а я пойду принесу шампанское. Я думаю, оно вам понравится. Лда, конечно, нет, но я поставил его в ведро с холодной водой — мне кажется, оно не успело нагреться.

Он пошел к занавесу. Латимер отвернулся, чтобы снять пальто, а когда повернулся, то увидел, что мистер Питерс как вкопанный застыл перед занавесом.

У Латимера было такое ощущение, что кровь от лица отхлынула куда-то вниз, к ногам, и мозг стал удивительно пустым и легким. В то же время грудную клетку опоясал стальной обруч, нестерпимо сжимавший сердце и легкие. Он думал, что закричит, но пропал голос, и он только бессмысленно тараторил глаза.

Мистер Питерс, все так же стоя спиной к Латимеру, поднял руки, и из-за занавеса вышел Димитриос с револьвером в руке.

Димитриос сделал шаг вперед и чуть в сторону, так, чтобы держать одновременно под прицелом и Латимера, и мистера Питерса. Латимер уронил пальто и поднял руки.

— Мне кажется, — сказал Димитриос, подняв презрительные брови, — вы не очень-то рады видеть меня здесь, Петерсен. Или, быть может, вам больше нравится Кель?

Мистер Питерс молчал. Латимер видел, как у того ходит вниз-вверх кадык, словно он пытается что-то проглотить и никак не может.

Карие глаза остановились теперь на Латимере.

— Я рад, что англичанин тоже здесь оказался. А то бы мне пришлось заставить вас, Петерсен, назвать его имя и адрес. Итак, месье Смит, теперь вы как на ладони. Вместе со своим компаньоном, Петерсеном. Я всегда говорил вам, Петерсен, что вас погубит хитроумие. Помните, мы привезли гроб из Салоников? Вам бы следовало знать, что хитроумие не может заменить ум. И вы могли подумать, что сможете обмануть меня? — Он презрительно усмехнулся. — Бедняга Димитриос будет думать, что я, Петерсен, как всякий шантанист, обязательно вернусь, чтобы еще попросить денег. Я, хитрый Петерсен, постараюсь убедить его в этом, но на самом деле это будет чистой воды блеф, а я, хитрый Петерсен, поступлю совсем наоборот — получу деньги и исчезну. Бедняга Димитриос так непроходимо глуп, что не сможет догадаться, что купивший эти три развалюхи Кель не кто иной, как хитроумный Петерсен. Только такому дураку, как вы, Петерсен, не было известно, что эти дома пустовали в течение нескольких лет до того, как я купил их на ваше имя.

Он вдруг замолчал, и Латимер заметил, что он прищурился и на его желтом лице выступили желваки. Латимер знал, что сейчас он выстрелит. Его сердце билось так сильно, что ему казалось, что его слышно в другом конце комнаты.

— Бросьте деньги, Петерсен, — приказал Димитриос.

Сверток упал на пол, и банкноты всеором покрыли ковер. Димитриос поднял пистолет.

Латимеру вдруг показалось: только теперь мистер Питерс понял, что происходит что-то непоправимое, что-то совершенно невозможное, потому что тот закричал:

— Нет! Нет! Вы должны...

Димитриос выстрелил, потом выстрелил еще раз, и Латимер услышал отвратительный звук вошедшей в тело пули.

Мистер Питерс издал звук, похожий не то на икоту, не то на отрывку; колени его подогнулись, и он упал лицом вперед.

— Теперь вы, — сказал Димитриос, обращаясь к Латимеру.

И в этот момент Латимер прыгнул. Конечно, прыжок был вызван жадной жить, но ни за что на свете он не смог бы объяснить, почему он прыгнул вперед, на направленный на него револьвер Димитриоса. Жизнь ему спас свернутый ковер, за который он зацепился. Он упал на пол, и потому пуля прошла у него над головой. Выхлупные газы опалили его шевелюру, он на какую-то долю секунды потерял рассудок, но остался жив.

И когда Латимер понял это, он бросился на Димитриоса, схватил его за горло, и они повалились на пол. Димитриос тоже пытался душиить его. Потом, как человек опытный, ударил Латимера коленом в живот и откатился в сторону. Пистолет лежал теперь на полу, и задыхающийся Латимер видел, как Димитриос ползет к нему. Латимер схватил стоявший на низеньком деревянном столике медный марокканский поднос и метнул его обеими руками в Димитриоса. Поднос ударил Димитриоса по голове, но тот все еще продолжал ползти к револьверу, и тогда Латимер со всей силой обрушил на него деревянный столик. Столик ударил Димитриоса по

плечу и по шее, он упал ничком на пол. Латимер, вскочив с пола, схватил револьвер и, прислонясь к стене, задыхаясь, хватал ртом воздух, держа палец на спусковом крючке.

Димитриос, белый, как бумага, поднялся с пола и шагнул к Латимеру.

— Еще один шаг, и я стреляю, — сказал Латимер, поднимая револьвер.

Димитриос остановился. Он не сводил глаз с Латимера. Его седые волосы были растрепаны, шарф вылез из-под пальто и болтался на шее, и все-таки он был страшен. Дыхание вроде бы возвращалось к Латимеру, но колени по-прежнему дрожали, в ушах что-то гудело и звенело, и он боялся, что от запаха выхлопных газов его вырвет. Ужасно было то, что Латимер не знал, как ему теперь поступить.

— Еще один шаг, и я стреляю, — повторил он.

Он видел, как взгляд Димитриоса упал на рассыпанные по полу банкноты и потом остановился на нем.

— Что собираетесь делать? — внезапно спросил Димитриос. — Если придет полиция, и вы, и я окажемся в дурацком положении. Если вы убьете меня, то получите миллион, а если отпустите, то — еще один. И это для вас гораздо лучше.

Латимер его почти не слушал. Краем глаза он увидел, что мистер Питерс, каким-то образом доползший за это время до дивана, где лежало его пальто, сидел теперь, прислонясь спиной к дивану, закрыв глаза. Он со свистом дышал ртом, в горле его что-то булькало. Одна из пуль вырвала кусок мяса из шеи, и из раны на грудь обильно текла кровь. Другая пуля пробила ему грудь, и поверх пиджака расплылось небольшое пятно ярко-пурпурного цвета. Губы его начали двигаться — он, видимо, хотел что-то сказать.

Держа Димитриоса на прицеле, Латимер приблизился к мистеру Питерсу.

— Как вы себя чувствуете?

Уже произнеся эту фразу, он вдруг осознал всю глупость сказанного.

— Пистолет, — еле слышно бормотал Питерс, — дайте мне мой пистолет. В пальто.

Губы его продолжали двигаться, но уже ничего не было слышно. Латимер начал рыться левой рукой в карманах пальто мистера Питерса. Димитриос наблюдал за ними, отвратительно улыбаясь. Наконец, Латимер достал пистолет и передал его мистеру Питерсу. Тот схватил его обеими руками, и тотчас послышался щелчок — он снял его с предохранителя.

— Теперь, — пробормотал он, — идите в полицию.

— Не может быть, чтобы никто не слышал выстрелы, — сказал Латимер мягко, — полиция сейчас придет.

— Ей нас не найти, — прошептал мистер Питерс. — Ступайте.

Латимер не знал, что делать. Скорей всего мистер Питерс прав: дома эти зажаты между глухих стен, и выстрелы может услышать только человек, случайно оказавшийся в этот момент у входа в тупик.

— Хорошо, — сказал он. — Где тут телефон?

— Нет телефона...

— Но...

Что же все-таки делать? Ведь пока найдешь полицейского, пройдет минут двадцать. Как быть с раненым? Как быть с Димитриосом? По крайней мере ясно — надо немедленно найти доктора. Да и Димитриоса нужно как можно скорее посадить под замок. Наверно, его мысли передались Димитриосу. Он не отрываясь смотрел теперь на люгер, который мистер Питерс положил на согнутую коленку. Кровь из раны на шее заливала ему грудь.

— Хорошо. Я сейчас приду.

Он пошел к двери.

— Минуточку, месье. — Этот хриплый голос заставил его обернуться.

— Ну что еще?

— Если вы уйдете, он убьет меня. Неужели это неясно?! Вы принимаете мое предложение?

Латимер шагнул к двери.

— Он, конечно, будет стрелять, если вы выкинете какой-нибудь трюк. — Он оглянулся на скрючившегося над своим люгером мистера Питерса. — Я сейчас приведу полицию. Не стреляйте, пока я не приду, мистер Питерс.

И в этот момент Димитриос захохотал. Латимер невольно обернулся.

— Приберегите смех для палача, — вырвалось у него. — Это вам очень поможет.

— Поневоле подумаешь, — сказал Димитриос, — что глупость

всесильна. Всегда побеждает глупость — либо твоя собственная, либо глупость твоих противников. — В лице его что-то дрогнуло. — Пять миллионов! — хрипло прокричал он. — Неужели этого мало? Неужели вам хочется, чтобы эта падаля пристрелила меня?

На одно только мгновение закрался соблазн в душу Латимера, и тотчас он похолодел от мысли — сколько уже людей поплатилось за договоры с Димитриосом. Димитриос что-то прокричал, но он его уже не слышал — опрометью бросился вниз по лестнице.

Он был на площадке второго этажа, когда услышал выстрелы. Три прозвучали один за другим, четвертый — через небольшую паузу. Он побежал, задыхаясь, боясь, что умрет от сердечного приступа, вверх по лестнице. Вспоминая потом, много дней спустя, он поймал себя на том, что боялся за мистера Питерса.

Димитриос лежал на полу — его тело сотрясала последняя судорога. Двумя пулями мистер Питерс повалил его на пол и, промахнувшись в третий раз, снес ему последней пулей темя.

Люгер валялся на полу, а мистер Питерс, положив голову на край дивана, то открывал, то закрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Он вдруг захлебнулся, и кровь хлынула из его рта.

Латимер зачем-то заглянул за занавес. И так, Димитриос убит. Мистер Питерс — при смерти. Тяжелораненные просят пить. Ага, вот и раковина. Надо дать ему попить. Он взял с полочки стакан и наполнил его. Потом вернулся в комнату.

Мистер Питерс не двигался. Его глаза и рот были широко раскрыты. Латимер встал на колени и поднес стакан к его губам. Вода стекла ему на грудь. Он взял его за руку — пульса уже не было.

Латимер встал с колен и только сейчас заметил, что руки у него в крови. Он прошел за занавес и тщательно вымыл руки, вытерев их висевшим на гвозде грязным полотенцем.

Конечно, надо немедленно вызвать полицию. Но что сказать, когда они спросят, почему он здесь оказался? Допустим, он скажет, что проходил по улице и услышал выстрелы в тупике. А если кто-нибудь видел его вместе с мистером Питерсом? Еще есть таксист, который привез их сюда. А как объяснить снятый Димитриосом с текущего счета миллион? Так, вопрос за вопросом, он сам окажется подозреваемым.

Вдруг мысли его прояснились. Все очень просто: надо как можно скорее уйти отсюда и замести следы. Он достал из кармана револьвер Димитриоса и, надев перчатки, тщательно вытер его своим носовым платком. Сцепив зубы, вернулся в комнату и, опустившись на колени, взял правую руку Димитриоса и прижал его пальцы к рукоятке и спусковому крючку. Потом бросил пистолет рядом с трупом.

Глядя на тысячефранковые бумажки, разбросанные по полу, он думал: кто хозяин этих денег — Димитриос или мистер Питерс? Но разве не принадлежат эти деньги Шоле-му? Здесь есть деньги, которыми было оплачено убийство Стамболийского. Здесь же и деньги Булича, и деньги, вырученные от продажи живого товара и наркотиков. Чьи же в таком случае эти деньги? Только не его, и пусть полиция сама решает. Ей будет над чем подумать.

Теперь надо вымыть и вытереть стакан. Хорошо. Не забыл ли он еще чего? Ну, конечно. Надо стереть отпечатки пальцев на подносе и столике. Так; это сделано. Что еще? Отпечатки на дверной ручке. Так, и это сделано. Когда он ставил стакан на полку, то обратил внимание на ведро с водой и плававшие в нем бутылки шампанского розлива 1921 года...

На рю де Ренн не было ни одного прохожего, так что никто не видел, как он вышел из тупика Восьми Ангелов.

Он зашел в первое попавшееся кафе и попросил принести ему рюмку коньяку. Его была мелкая нервная дрожь. Надо как-то известить полицию. Он представил, как разлагаются трупы в этой комнате, — ведь может пройти месяц, а то и больше, прежде чем их обнаружат. Что же делать? Послать анонимное письмо. Нет, это слишком опасно — полиция сразу предположит, что в этом деле замешан кто-то третий. Но ведь главное, чтобы полиция там появилась, — причины можно не объяснять.

Он попросил принести вечернюю газету и впился глазами в отдел происшествий. Две заметки подходили для его предприятия. В первой говорилось о том, что неизвестные похитили несколько дорогих шуб из мехового магазина на авеню Де ла Републик; во второй — как грабители, разбив стекло в ювелирном магазине на авеню де Клиши, похитили несколько дорогих колец.

Он решил остановиться на первой, сказал официанту, что

ему надо написать письмо, и попросил принести все необходимое и еще рюмку коньяку. Выпив залпом коньяк, он надел перчатки и тщательно осмотрел лист почтовой бумаги — на нем не было никаких знаков, обычный лист дешевой бумаги. Достав ручку, он написал одними прописными буквами точно посередине листа: ПОСМОТРИТЕ У КЕЛЯ — ТУПИК ВОСЬМИ АНГЕЛОВ, 3. Потом вырвал из газеты заметку об ограблении мехового магазина и, сложив письмо и заметку вместе, сунул их в конверт. Прописными же буквами он написал на конверте адрес: Коммисариат полиции седьмого округа. Выйдя из кафе, купил в табачном киоске почтовую марку и бросил письмо в ближайший почтовый ящик.

Когда он пришел к себе в номер, был уже второй час ночи. Разделся и лег в постель. Сна, конечно, не было. И тут его желудок не выдержал, его стошнило. Он забился тяжелым сном часа в четыре утра.

Спустя два дня в трех утренних парижских газетах появилось сообщение о том, что в одном из домов вблизи рю де Ренн найдены трупы гражданина одной латиноамериканской республики Фредерика Петерсена и человека, личность которого пока не установлена. Полагают, что оба погибли в перестрелке, последовавшей после ссоры из-за денег. Значительная сумма денег была обнаружена в комнате, где найдены трупы. Больше пресса не возвращалась к этому событию, потому что начался очередной международный кризис и одновременно в пригороде Парижа было совершено зверское убийство.

Латимер вышел из отеля в девять часов утра, чтобы отправиться на вокзал, где его ждал мягкий вагон Восточного экспресса. Портье подал ему письмо, полученное с утренней почтой. Болгарская марка и софийский штемпель говорили о том, что письмо от Марукакиса. Он сунул его в карман — сейчас ему было не до этого. Он решил прочитать письмо, когда поезд бежал уже среди холмов Бельфора. Вот что писал Марукакис:

Дорогой друг!

Не знаю, как мне благодарить вас за ваше удивительное письмо. Думаю, вы на меня не обидитесь, если я признаюсь, что сомневался в ваших способностях, необходимых для достижения поставленной вами цели. Я с нетерпением жду встречи, чтобы послушать подробный рассказ о белградской глупости, о которой вы узнали в Женеве.

Мне удалось навести дополнительные справки о Евразийском кредитном тресте. Я думаю, они вам будут интересны.

Вам, быть может, известно, что отношения между Болгарией и Югославией ухудшаются с каждым днем. Я хорошо понимаю тревожное состояние сербов — стратегическое положение Югославии из рук вон плохо. Если Германия и ее вассал Венгрия нападут на Югославию с севера, Италия — с юга, из оккупированной Албании, и с запада, с моря, а Болгария — с востока, страна окажется в кольце врагов. Единственная надежда, что русские ударят из Буковины во фланг немцам и венграм. Но самое-то интересное: Югославия не представляла и не представляет никакой угрозы для Болгарии. Это совершенно абсурдная идея, которую, однако, вот уже три месяца твердят газеты.

Все это было бы смешно, когда бы не было так опасно. Мне-то хорошо известно, как это делается. Пропагандистские фразы — всегда только прелюдия. Обычно стоящие у власти рассуждают так: если ложь не подкреплена фактами, значит, надо, чтобы эти факты были.

И вот две недели назад на границе с Югославией происходит пограничный инцидент. По болгарским крестьянам с югославской стороны произведен ружейный залп: один человек убит, несколько ранено. Естественно, полагают, что это сделали югославские пограничники. Вся пресса, конечно, негодует. А неделю назад правительство объявило, что купило у Бельгии несколько зенитных орудий противовоздушной обороны для укрепления западной границы. Правительство получило для этой цели заем у Евразийского кредитного треста.

Вчера я получил интереснейшее сообщение.

В результате доделанного югославскими властями расследования установлено, что четверо стрелявших не имеют никакого отношения к погранвойскам, более того, они не являются даже гражданами Югославии. Все они иностранцы, причем двое из них отбывали тюремное заключение в Польше за террористическую деятельность. Они сознались, что были подкуплены человеком, о котором известно только то, что он приехал из Парижа.

Я, разумеется, передал это сообщение в Париж. Буквально через час я получил от шефа распоряжение разослать всем нашим абонентам опровержение этого сообщения. Изумительно, не правда ли? Видимо, директорам Евразийского кредитного треста оно явно пришлось не по вкусу.

Что касается вашего Димитриоса, то я, право, не знаю что сказать.

Кто-то из драматургов сказал, что не всякую жизненную ситуацию можно представить на сцене, а лишь только такую, в которой публика может легко разобраться: проникнуться симпатией или, наоборот, антипатией; пережить чувство отворачивания или негодования и обязательно сделать какие-то выводы, хотя бы и самые горькие. У меня, во всяком случае, Димитриос симпатий не вызывает. Мне бы очень хотелось, чтобы его жизнь оборвалась так же грубо и жестоко, как он это делал по отношению к другим. Но ведь это всего лишь мое пожелание. Я пытался понять его, но мне мешает отворачивание. По-видимому, он представляет особый вид преступника, сформировавшегося при весьма специфических условиях. Я затрудняюсь их перечислить, но ясно по крайней мере одно: такие, как он, появляются тогда, когда хаос и анархия выступают под маской порядка и культуры.

Как помешать появлению таких типов? Но я чувствую, что вы уже начали зевать, а мне не хочется, чтобы вы обиделись и не ответили на мое письмо. Напротив, мне очень хочется, чтобы вы написали мне, чем вы занимались в Париже, не познакомились ли вы там с каким-нибудь новым Буlichem или новой Превеза, но больше всего мне хочется увидеть вас опять в Софии. Судя по всему, война будет еще не скоро, поэтому вы сможете прекрасно покататься на лыжах. В январе у нас разгар горнолыжного сезона. Я буду ждать вас с нетерпением.

Искренне ваш

Н. Марукакис.

Латимер положил письмо в конверт и сунул его в карман. Хороший он человек, этот Марукакис! И, конечно, он напишет ему, как только разберется с делами.

Сейчас ему надо было найти мотив преступления, как можно тщательнее продумать обстоятельства убийства. Последняя книга оказалась несколько мрачной, поэтому надо не забыть про юмор. Мотив, конечно, всегда один и тот же — деньги. Жаль только, что завещание и страховой полис использовались авторами тысячу раз. Может быть, убить старую леди, у которой есть молоденькая родственница? Надо будет подумать. Место действия? Разумеется, сельская Англия, какая-нибудь деревушка. Время? Конечно, лето. Крикет, пикник на траве июльским вечером. Это как раз то, что всем нравится. Нравится даже ему самому.

За окном был уже вечер. Там, над линией холмов, садилось красное солнце. Скоро Бельфор будет позади. Впереди еще два дня пути. За это время надо продумать сюжет во всех деталях.

Стало вдруг темно — поезд вошел в туннель.

© Перевод с английского
Юрия ДУБРОВИНА

ВЫ НЕ РИСКУЕТЕ, ДАЖЕ РИСКУЯ

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИКОРА» — это:

- новые для СССР виды страхования по низким страховым тарифам
- быстрое обслуживание и оформление документации
- мгновенная выплата страховых возмещений
- кредитование и финансирование предупредительных мероприятий своих постоянных клиентов
- всесторонний учет интересов клиента

КРОМЕ ТОГО, мы гарантируем постоянным клиентам и при заключении долгосрочных договоров скидки со страховых платежей, а также возврат части страховой прибыли при успешно заключенном договоре страхования.

САО «МИКОРА» предлагает следующие виды страхования:

- имущества от всех рисков, включая противоправные действия третьих лиц;
- комбинированное (имущества, ответственности владельца имущества за нанесение вреда третьим лицам, а также сотрудников предприятий (организаций) от несчастных случаев во время исполнения ими служебных обязанностей);
- проектной и научно-исследовательской деятельности;
- имущества во время перевозок. Для особо опасных перевозок САО «МИКОРА» предоставит вам сопровождение и охрану;
- компьютерной и электронной техники и носителей программной продукции и информации;
- краткосрочное (жизни и здоровья сотрудников за счет фондов предприятий и организаций);
- от несчастных случаев и профессиональных заболеваний представителей рискованных профессий;
- профессиональной ответственности врачей;
- депозитных вкладов.

Страхование проводится как в рублях так и в СКВ.

САО «МИКОРА» имеет договор с Мюнхенским перестраховочным обществом о предоставлении перестраховочной защиты.

Необходимую информацию вы получите по адресу:

109004 Москва, ул. Таганская д. 5/9

телефоны: (095) 290-58-79, 278-14-10, 271-05-61 факс (095) 278-20-09.

'МИР
КОММЕРЧЕСКОГО
РАСЧЕТА'



МИКОРА

СТРАХОВОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Алла РЯЗАНОВА

☆☆☆

Быть человеком — значит, быть солдатом.
Да будет не смертелен новый бой!
...Друзья мои, вы помните, когда-то
Мне нужен был врачующий покой?

Как простыня больничная бела!
Но я люблю, и кровь моя не стынет —
И по плечу мне радости простые,
Еще я здесь: еще я не ушла.

Еще душа не тронута закатом,
И мужество пока еще со мной...
Быть человеком — значит, быть солдатом,
Да будет не смертелен новый бой!

Белый вальс

Радость весен всю до капельки испей.
Губы сладко обжигает мне капель.
Твое имя, словно радуга-дуга,
Ярко грянуло сквозь долгие снега.
И призналась мне весна сегодня: «С вас
Начинаю белый яблоневый вальс».
И поэтому весну свою молю:
Не вылечивай бессонницу мою.
Пусть не все еще случилось и сбилось...
Сердце словом, словно соком, налилось.
И достаточно короткого: «Пора!» —
Чтоб стихи сбежали с легкого пера.
Я вхожу в тебя, любовь моя, как в сад.
Твои щедрые уста меня поят.
В твоих недрах тайна доброго огня —
Медоносна ты, принявшая меня!
Я счастливая брожу среди людей
В клавишином звучании дождей.
И пока живая хоть одна струна,
Радость весен пью до капельки, до дна.
Пусть от встречи до другой века-века...
Плачет скрипка, но печаль ее легка,
Плачут весны в белом тереме ночей —
Эти слезы все до капельки испей!

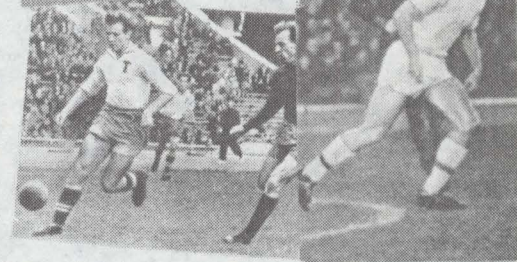
☆☆☆

Я жизни изменяла много раз,
Испытывая к ней то боль, то жалость,
Но жизнь была терпением мудра —
Она ждала, и я к ней возвращалась.
Природа жизни в щедрости умна,
Она за так дарует нам свободу —
Никто не ограничит нас у входа
В желаниях — испейте их до дна...
Ну как же тут не поиграть с огнем?..
И вот ошибок наплывает тыща!
О, как мы плохо знаем то, что ищем,
Как тяжело потери мы несем...
Свобода! — долгожданная вчера —
Найти тебя — пока еще полдела...
Я жизни изменяла много раз,
Но разлюбить ни разу не сумела...

Жаль, что Алла Рязанова не увидит уже своей подборки
в «Юности» — трагическая весть о ее смерти опередила публика-
цию.



Медведь,
Эдик



Имя этого человека связано с поколениями конца пятидесятых — шестидесятых. Он был футболистом, но символизировал собой не только игру в футбол. Его великоколепие, триумф и трагедия — феномен человека в недавнем прошлом нашего общества — безоглядный талант и столкновение его с несоизмеримыми масштабами «преступления и наказания», личностной свободы и отвратительностью властей, делавших все не во имя спасения, а во имя гибели... Отсюда и неслыханная любовь к нему — как к самим себе, как персонализированное отождествление с собственной судьбой. В основе все-таки великая игра — футбол — и великий игрок Эдуард Стрельцов, который уже в 19 лет был заслуженным мастером спорта, чемпионом Олимпийских игр, затем заключенным и снова, с 1965 года, — незаменимым вплоть до конца футбольной жизни.

Площади и перекрестки наших городов уставлены памятниками советской эпохи, и почти нет памятников ее жертвам. Не общих, братских, а личностных — тем, кого любили, — актерам, поэтам, художникам и спортсменам, достигавшим подлинных высот.

Так вот, мы хотим увековечить память Эдуарда Стрельцова. Установить в Москве, в районе метро «Автомобильная» — в Торпедовских краях, — ему памятник.

Пожертвования — индивидуальные и коллективные — высылайте на счет журнала «Юность» (р/с 608457 в Тихвинском отделении Мосбизнесбанка МФО 201551 г. Москва) с пометкой — «Фонд памятника Стрельцову». В последующих номерах журнала мы будем информировать, как идет дело, — кто нас поддерживает, и какие возникают пробле-
мы.

От имени редакционного совета
и редколлегии «Юности»
Александр ТКАЧЕНКО

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ НАЧИНАЕТСЯ С КОСТРОМЫ



Фото Леонида Шимановича

Александр КРИВОВ, энергичный замминистра архитектуры и строительства РСФСР, житель старинного дома в тихом московском переулке, воплощает сейчас в жизнь собственную идею: создать в России три обширные области нормальной человеческой жизни. На профессиональном языке градостроителя-проектировщика, каковым и является Кривов, они называются новыми (конечно, для советских людей) системами расселения. Программа Кривова способна вызвать небольшое переселение народов внутри и вокруг РСФСР. Как признается Кривов, идея окончательно созрела в его голове к началу 1991 года, а к лету Комитет Верховного Совета РСФСР по строительству, архитектуре и жилищи уже одобрил программу и рекомендовал правительству ею заняться, а для Костромской области уже делали первые проекты.

Что же это началось? И зачем? — В гостях у Кривова корреспондент «Юности».

— Александр Сергеевич, говорят, вы затеываете переселение народов?..

— Нет, собираемся достойно его встретить. Самый близительный социальный прогноз дает понять, что в ближайшее время многие тысячи наших сограждан попытаются переменить место жительства. Откуда они тронутся? Во-первых, все крупные промышленные центры переживают экологический кризис, города-миллионеры просто опасны для жизни. Даже из Москвы и Ленинграда, не говоря уже о Челябинске и Свердловске, люди постараются вырваться, потому что система снабжения меняется и в столице уже вовсе не легче что-то купить, не дешевле... Во-вторых, Чернобыль стоил России загрязнения ее центральных областей — Калужской, Брянской, Орловской, Тульской. При-

знаны опасными территории с загрязнением свыше 5 Кюри на квадратный километр, отселяют, начиная с 15-ти, но ясно, что и при семи, и при трех многие захотят уехать. В-третьих, Север: по нашим оценкам, около 5 миллионов человек хотят его покинуть. Раньше там удерживала высокая зарплата, теперь на нее не проживешь, а без этого северная жизнь и вовсе малопривлекательна, особенно для пенсионеров. В-четвертых, военнослужащие, ведь демилитаризация сейчас ограничена тем, что, например, уволенным в запас офицерам просто некуда деться.

В общем, по разным оценкам, до 2000 года в России будет от 8 до 10 миллионов переселенцев. А ведь за ее пределами — в Закавказье, Средней Азии, Прибалтике и т. д. — живут еще 25 миллионов русских, многие из них уже возвращаются, в Латвии, например, есть даже специальные организации «реэмигрантов» — их оттуда не гонят, но хотят люди пожить в России, где либеральны экономические законы и никто не обратит внимания на «некоренную национальность»...

А вот куда переселенцы пристанут? Ведь у нас в любом городе своя жилая очередь, своя конкуренция за лучшие рабочие места, дачные участки, и «аборигены» ревниво следят за тем, чтобы «пришельцы» не преуспели. Вот строятся у нас сейчас общежития, в 16 российских городах — по 100-квартирному дому для переселенцев. Но легко ли городу «отдать» сто квартир? А если к миграциям не подготовиться, то начнутся, скажем так, печальные вещи. Ведь живут уже сейчас в подмосковных пансионатах беженцы из Азербайджана — и что с ними дальше?

Что же мы предлагаем? Создание в РСФСР трех обширных ареалов, где жизнь устроена, где человек ощущает себя несколько иначе, чем сейчас от Москвы до самых до окраин. Это, пожалуй, сверхзадача программы; но жизнь этих ареалов невозможна без параллельного решения проблем размещения и обустройства переселенцев и возрождения обезлюдевших российских земель. Наши новые системы расселения должны открыть перед любым человеком широкий и красочный всер возможности: как жить, чем заниматься.

— Где же этот Ваш всер раскинется?

— Итак, три новые системы расселения. Первая — Среднерусская, вдоль 58 параллели, от Шарья на востоке через Кострому, Рыбинск, Бежецк, Удомлю, Старую Руссу — до Пскова и Печор. Это полоса длиной в 1300 километров, нанизанная на широтную железную дорогу. Вторая — Южно-сибирская, компактная территория южнее Красноярска и Новосибирска, на Алтае. Третья — Тихоокеанская — Владивосток и окрестное побережье. У каждой из этих территорий — свои специфические потенциальные возможности для того, чтобы играть значительную роль в жизни и России, и всей Евразии. Южно-сибирская система, например, лежит на середине пути из Европы в Японию, там задуман уже крупнейший международный аэропорт; развитие Тихоокеанской системы мы связываем с возрождением БАМа, освоением окрестных месторождений и т. д. Пока же на первом плане у нас Среднерусская система. Это обширная, экологически чистая территория, которая на глазах обезлюдевает и хозяйственно вырождается. Заброшенная и печальная земля — а как много она в прошлом для России значила! И духовные святыни, и знаменитые промыслы, и великолепные экспортные товары. Шарыинское пиво (не хуже шотландского было), костромской лен, вологодское масло, тверской мед...

— Очень заманчиво. Но как же все это возродить?

— Программ, разговоров о рынке сейчас много. Но с чего начать? Мы ведь строим не на голом месте, а сталкиваемся с реальной — исковерканной структурой хозяйства страны. В основе нашей программы — тот факт, что за рубежом очень часто двигателем экономического развития становится жилищный сектор. У нас он всегда был делом второстепенным, проблемой всерьез никто не занимался, госплановские разработки размещения производительных сил просто привязывали жилищное строительство к новым месторождениям или производствам — по принципу отраслевых интересов. Мы же хотим наши системы расселения построить на совершенно новых для нашей страны принципах: удобная, естественная жизнь человека на земле, полная экономическая суверенность хозяев. Более чем на 80% наши системы будут состоять из частных односемейных домов с участками и мастерскими. Это поиск некоей новой модели цивилизованности, нового образа жизни. Человек в наших системах должен почувствовать себя микрокосмом, а не функциональным придатком предприятия или учреждения. Самостоятель-

ным хозяином, который может выстроить огромный дом-усадьбу или дом-завод, если захочет. Открыть любое дело.

— *Что же, опять фаланстеры? Поселки свободных хозяев в стране большевиков?*

— Новых поселений основывать нет нужды. Все исторические места жительства ведь выбирались очень осмысленно. Мы планируем развитие существующих населенных пунктов, возвращение в заброшенные деревни — их ведь тысячи. С чего люди могут начать на новом месте? С создания частных фирм, малых предприятий для производства строительных материалов. Для него есть все необходимые условия, оно быстро окупается и в наших системах расселения должно стать ведущей отраслью промышленности. Затем — мелко-подрядное строительство. Сельское хозяйство в этих районах будет включать и традиционную ориентацию — лен, пчеловодство. Это ведь форма борьбы с грядущей безработицей — подсобные хозяйства, ремесла... жизнеустройство.

— *А вечный бич нашей провинции — культурная отсталость?*

— Все будет зависеть от инициатив жителей, мы никому ничего не хотим навязывать. Замыслы же наши таковы. Впервые, реализовать на этих землях академическую программу «Народный компьютер» — конверсия обещает наладить массовый выпуск недорогих, но приличных по возможностям компьютеров. Во-вторых, попытаемся воплотить в реальности новый для нас тип образования, воспитания. Есть надежда открыть в районе Валдая первый в России кэмпусный* университет. Планируем развитие таких же по типу школ — есть возможность обеспечить их современным оборудованием, библиотеками. (Ведь из провинции сейчас многие уезжают за образованием.) И конечно, возрождение духовности, наш проект предусматривает открытие и восстановление семидесяти монастырей Средней России.

— *В нашем-то нынешнем состоянии где же на это все денег взять?*

— Подчеркну, что мы хотим запустить самоокупаемый процесс. На старте же его есть несколько источников. И средства, выделенные государством для черныбыльских переселенцев, на развитие фермерских хозяйств. И компенсации мигрантам за оставляемое где-то жилье. Норильский горно-металлургический комбинат, например, хочет выделять уходящим на пенсию рабочим средства для переезда с Севера. Мы хотим привлечь — и уже это делаем — к нашей программе иностранные фирмы. Показывали ее в министерстве жилищного строительства и городского развития США, там отнеслись к ней с большим интересом.

Реализовывать ее, я уверен, нужно не на государственной основе. Централизованное планирование, наши некрупные инвестиции (а для крупных денег нет) — это не для нее. В начальной стадии программу осуществляет наше ведомство — Госкомархстрой РСФСР, но мы уже создаем государственно-коммерческую ассоциацию, неправительственную, куда войдут и зарубежные фирмы. Ряд американских фондов поддержки малого предпринимательства уже готовы финансировать конкретных добровольцев — кредитами вплоть до миллиона долларов — и сами участвовать в строительстве — это своего рода СП.

— *Во сколько же такое жизнеустройство обойдется конкретному переселенцу?*

— Дом без сложных хозяйственных построек, только с приусадебным участком — 50–70 тысяч рублей. Конечно, такую сумму сразу не выложишь, здесь и поможет ассоциация. Естественно, люди должны получать долгосрочные кредиты. Землю мы пока предлагаем предоставлять совершенно бесплатно — человек же будет ее возрождать!

— *Насколько я знаю, наверху вас поддерживают...*

— Ельцин — «за», Хабсбулатов — «за».

— *А местные власти будут ли в восторге?*

— Мы ведем сейчас переговоры. Все, с кем по крайней мере я встречался, очень активно заинтересованы. Ведь им тоже скучно! Когда вот так все — притока инвестиций нет, людей не хватает, нет никакого озарения... Ведь раньше все нельзя было, теперь все можно, но за что хвататься? И вот предлагается программа, и область включается в орбиту общероссийских событий, и меняется жизнь...

— *Среди переселенцев — и местных — не все же станут предпринимателями. Многие хотят просто дожить по-человечески.*

— Мы опять-таки ничего не навязываем, а предлагаем

выбирать. Для одиноких, пенсионеров будут строиться в городах и дома городского гостиничного типа.

— *Александр Сергеевич, а не страшно вам приводить в действие такую махину? Зная культуру нашего строительства, где гарантии, что последние чистые, не загаженные российские земли не будут им угрожены?*

— Гарантий в нашей стране ни от чего быть не может. Но ведь мы сознательно ориентируемся на наиболее чистые, традиционные виды производств — ни металлургии, ни дыма, ни цементной пыли. Мы исходим из того, что дома и земли будут частной собственностью людей, и ко всему они отнесутся бережно. Да ведь и дом в экологически грязной зоне резко теряет в стоимости. Если рядом с ним построят цементный завод...

— *Но те, кто захочет его построить, не станут ведь у владельца дома спрашивать разрешения?*

— Нет! Ведь все у нас начинается с эколого-хозяйственного зонирования, режима пользования. Без такого проекта программы не будет, она не может быть пущена на самотек, без строгих ограничений. Новая система расселения — это целостный планировочный проект-организм. В Тверской области, к примеру, будет несколько зон регулируемого ландшафта, где любая хозяйственная деятельность вообще запрещена.

— *Но дороги, газопроводы, электроэнергия?*

— Мы рассчитываем на локальные и автономные инфраструктуры. Никаких великих строек. Газ может быть и сжиженным, газопроводов почти не потребуется. Калининская АЭС уже есть, вокруг нее мы планируем скопление производств, чтобы остальные районы так и остались чистыми. Надеемся на малые ГЭС, альтернативные источники энергии.

— *Мы, к сожалению, привыкли: любое строительство наносит ущерб исторической среде. Памятников старины и так осталось в России мало. Что сулит им ваша программа?*

— Надеюсь, ничего плохого. Восстановление культурного наследия — ее важная составная часть. Сначала — консервация аварийных памятников, затем — реставрация. К этой работе мы подключили Московский архитектурный институт. Мне и самому хотелось бы присмотреть хороший монастырь, восстановить его. Что же касается исторической среды — к ней, как правило, агрессивны многоэтажные здания, а наши одно- и двухэтажные дома ее не нарушат. Тем более что мы стремимся тщательно восстановить знания о русском народном доме и применить их в наших системах расселения — от конструктивных приемов до художественных деталей. Всем желающим будет предложен каталог проектов и инструкция — как строить (ведь строить будут себе в основном сами).

— *Есть ли уже заявления от переселенцев? Сколько, вы думаете, их будет в самое ближайшее время?*

— Пока что мы работаем централизованно — с Норильским горно-металлургическим комбинатом, с Мурманским облисполкомом. Ясно, что первые 125 тысяч желающих налицо — это в основном северяне, офицеры. Они и должны начать с промышленности строительных материалов. Естественно, к ним присоединятся местные жители, если наша программа покажется им интереснее и выгоднее тех дел, которыми они сейчас занимаются. Плановых цифр у нас нет — процесс переселения и жизнеустройства должен сам себя регулировать.

— *А сроки?*

— Конечного срока, как вы понимаете, быть не может — возможности земли безграничны, и развиваться наши системы способны долго, главное — естественно. Есть только срок старта, запуска. Это два-три года первоначального импульса, пока процесс не начнет сам развиваться.

— *Александр Сергеевич! Не понимаю — если ваша программа — путь к возрождению российской провинции, к строительству нормальной человеческой жизни, почему она увязана с переселенцами? Ведь это в любой области можно попробовать начать...*

— Конечно! Чем Ленинградская область «хуже» Псковской — и там можно все это делать, и будем делать обязательно. Но нет практики такой, нет опыта. И вот едут «мигранты» — люди, искренне желающие обустроиться по-новому, по-человечески. Как же пропустить, как же не дать им такой возможности? Надо же с чего-то начинать, надо же показать, как это может быть сделано. И мы начинаем.

Расспрашивал Константин МИХАЙЛОВ.

* Кэмпус — на Западе — автономный университетский поселок.

«БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»

ИГОРЬ ДЕДКОВ: «Они» всегда знали о нас все. И сверх того...»

— Первые годы перестройки часто ассоциировались с 60-ми. Может быть, потому, что на политическую авансцену вновь вышли «шестидесятники». Нам, сегодняшним, трудно понять то время, что-то весьма смутное: XX съезд, рок-н-ролл, международный фестиваль, узкие брюки и широкие пиджаки, стихи на Маяковке и реклама крабов, которых никто не ел. А что для вас эти годы, как определили они вашу судьбу?

— Весной пятьдесят шестого, сразу после XX съезда, мы проводили собрание на тему: «О месте журналиста в общественно-политической жизни страны». Я был комсомольским секретарем четвертого курса факультета журналистики МГУ. Тогда у меня еще не было понимания всего, что сделал Хрущев. Позиция людей, которые вчера ходили рабами перед вождем, а сегодня резко порвали со сталинизмом, казалась мне морально уязвимой. Доклад на комсомольском собрании заканчивался многозначительной фразой: «Гарантия отныне — бдительность народа». Стенограмму собрания вывесили в стенах факультета и еще долго потом обсуждали. Вскоре прошло уже факультетское собрание. На него пришли тогдашние журналистские бонзы. Мы говорили о политике, а нас все пытались направить на критику учебного процесса. Прокатилась новая волна собраний. На этот раз студенты клеймили преподавателей. Надо сказать, студенты были наотмашь, помню, кому-то кричали: «краснощечкий догматик». Это было справедливо, но все-таки беспощадно, как и во времена борьбы с «врагами народа».

Теперь, из нынешнего времени, все это может показаться смехотворной чепухой, а тогда... Сменились сверху донизу все комсомольские секретари, я стал лидером факультетского бюро. Мы пересматривали персональные дела, кого-то восстанавливали в ВЛКСМ, устраивали диспуты, занимались политикой — словом, все, «как у взрослых». На волне перемен сменились люди и в руководстве партийной организации.

Кстати, моим тогдашним заместителем был В. Чикин, нынешний главный редактор «Советской России»...

Большие дяди, конечно, не могли смотреть на все это спокойно и постепенно делали свое дело, внедряли в наш «якобинский клуб» своих людей.

Люди лучше всего сплываются, если ими движет пафос отрицания. Трудности начинаются, когда доходит до дела. Тут возникают «разброд и шатание». Должно быть, таков удел всех революционеров. Подобная опасность подстерегает и нынешних демократов.

Все это продолжалось до весны пятьдесят седьмого. Произошел случай, который поставил точку. Тогда как раз проводились выборы в Верховный Совет. Ко мне, как к комсомольскому секретарю, примчались в Ленинку, где я, готовясь к диплому, изучал журналистику 90-х годов прошлого века, и сообщили, что один из студентов отказался голосовать. Тогда это было ЧП. На факультете поднялся шум, хотели исключить парня из университета. Я выступил на собрании и сказал, что можно еще обсуждать вопрос об исключении из комсомола, но выгонять из вуза — это уж слишком.

Тут за меня взялись как следует. Чаша была переполнена. Как раз незадолго до этого отец — работник Генштаба — перенес тяжелую операцию. Мои «доброхоты» вызвали его, когда он был на работе, и сказали: «Успокойте вашего сына». Дома, естественно, страшный скандал — «ты убьешь отца» и прочее в том же духе.

Собирается расширенное факультетское бюро, где я зачитываю текст с просьбой освободить меня от обязанностей секретаря в связи с работой над дипломом и отсутствием организационных способностей... Вместо меня выбрали Валю Чикина.

Потом от меня отказался мой руководитель диплома, а тут еще заболели легкие...

Но я должен был уехать из Москвы, я хотел этого, и я уехал. Меня распределили в Кострому.

В студенческие годы у нас затевалось что-то нелегальное. Но потом окажется, что «они» знали все. «Они» знали даже то, чему мы не придавали значения. Например, о чем говорили несколько молодых людей на Ленинских горах — кружок по изучению диктатуры пролетариата. «Они» всегда знали о нас все. И сверх того... И в Москве, и в Костроме... И я не хотел пострадать от их служебных успехов...

— Мы находимся в довольно символическом месте — правом флигеле полудружного, заколоченного Музея Маркса — Энгельса. А как вы себя здесь чувствуете, в журнале «Коммунист»?

— Я ведь собирался в «Новый мир». Залыгин приглашал меня к себе заместителем главного. Целый год у нас тянулся «роман», но он не справился с Бондаревым. В 1986 году я написал о Бондареве критическую статью. Он тогда еще был в силе. Залыгин бился, бился и сдался. А в обновленный «Коммунист» меня позвали хорошие люди. Так что приход в журнал был скорее человеческим, чем каким-то другим выбором. Я бы сейчас вообще ушел на вольные хлеба, но меня удерживают чисто моральные обязательства. Мне стыдно уходить, когда все это подвергается нападкам.

Меня, кстати, не пугают слова типа «социалистический выбор», «коммунист». Иногда хожу на митинги. Интересно, что говорят. Поначалу, еще в Лужниках, было веселое чувство. Какое-то воодушевление, надежда, порыв. А теперь перед Манежем уже кричат, что надо вешать коммунистов. Ну, куда это... А из партии не вышел, да и не выйду.

Судьями теперь выступают люди, которые еще недавно преспокойно жили, были ручными, ели с руки, которая держала власть, угождали. Одно дело, когда к микрофону подходит бывший политзэк Сергей Ковалев, люди его типа, которые прошли все и теперь очень сдержанны среди всеобщего отрицания. А эти...

Я вспоминаю слова Троцкого, что не может быть симпатии к сытому лавочнику, который судит фанатика. Когда человек ставит на кон свою жизнь, что может быть выше этого?

Мне непонятно, почему мы так легко относимся к далекому и близкому прошлому. Стало хорошим тоном походя ёрничать надо всем без различия. Вот недавно кто-то написал — «мракобес Белинский». Был «мракобес Достоевский», теперь вот — Белинский. А мне жаль этой традиции, этой энергии. Освободительное, революционное движение было движением нестяжателей. Они и не думали, что может возникнуть новый класс с его пресловутыми привилегиями и жаждой обогащения.

Для меня коммунистическая идея — прежде всего нравственный выбор. Это не имеет решительно никакого отношения к нашему кошмарному репрессивно-агрессивному государству. Во главе угла — идея справедливости и равенства, но я отнюдь не хочу, чтобы всех уравнивали и сделали одинаковыми. Просто в этих традициях воспитано наше поколение.

Я считаю, что коммунизм и христианство — из одного корня. Все оттуда: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»...

Когда мы были в Нью-Йорке, нам показывали новый небоскреб, построенный молодым миллионером, кажется, Трампом. Кругом роскошь — зимний сад, кафе и магазины для народа. А я испытывал там нечто вроде смущения. Словно меня искушали, чем-то манили.

Человек не может без некоторого утопизма. Иначе остается один голый рационализм. Утопизм всегда был элементом русского сознания, еще до большевиков. Это свойственно и другим нациям. «Великая американская мечта» — это тоже утопия, миф, сказка.

— Но марксизм прежде всего идеология.

— Думаю, никакое общество не может существовать без идеологии. Определенная система ценностей, догмы, мо-

раль — все это и есть идеология.

Наверное, и в нашем обществе на месте прежней мертвой идеологии возникнет новая. Скорее всего... социалистическая. Сейчас это слово отторгается общественным сознанием, несет отрицательный знак, почти ничего не выражает. Может быть, новая идеология многое впитает из глубоких идей нашей замечательной плеяды религиозных философов Бердяева, Флоренского, Булгакова, Шестова, Соловьева. Во всяком случае, я надеюсь, что в ней будут преобладать идеи духовной общности, а не всепобеждающего индивидуализма.

Мне понятна мысль одного американского ученого, который с торжеством написал, что скорее всего в мире победит чисто капиталистический путь развития, и с грустью добавил, что это будет, должно быть, чудовищная скука.

Процесс этот уже начался. Возникло неизбежное расслоение общества, которое, как ни крути, воспитано в совершенно иных представлениях. Дух равенства трудно преобразуется в дух состязательности.

Наше поколение не будет жить при капитализме. Мы не знаем, что это такое. Трудно себе представить, настолько в нас все это вбито. Очень тяжело утратить последние иллюзии. Я без радости наблюдаю вхождение нашей страны, по сути, в иной строй. Особенно меня пугают потери в духовной сфере, при всей материальной выгоде такого пути. Я думаю, мы еще пожалеем о многом.

Конечно, опыт построения коммунистического общества оказался чудовищем. Но идея для человечества очень много значила. Как бы сдерживала некие материальные страсти и одновременно отрывала от земли. Этот утопизм, должно быть, связан с изначальной неверной оценкой природы человека. Вообще марксизм мало интересовался человеком в принципе.

Был такой публицист Солоневич. Он, уже будучи в эмиграции, написал книгу «Народная монархия». В ней он винил в революции нашу литературу, считая, что именно она исподволь готовила трагедию. Она воспитывала в людях такие высокие идеалы, кружила голову поколению за поколением. И эти идеалы «выстрелили». Может быть, энергия утопической мысли так сильна, что она связана не с деятельностью кучки людей, а с общенациональным обольщением.

Кроме того, казалось бы, умозрительные идеи легли на хорошую почву. Большевики интуитивно почувствовали вековую инерцию национального сознания и вскоре принялись воссоздавать империю.

В книге Кюстина о николаевской России 1839 года поражает непреходящее ощущение, что, по сути, мы живем в той же стране. Все узнаваемо. Какая неимоверная, страшная сила в российской деспотии. Вот где, кажется, наше несчастье.

Кстати, одна из причин моего «социалистического выбора» как раз в том, что со студенческой скамьи я помнил — социалисты и анархисты всегда не любили государство. Ленин прельщал меня тем, что говорил — государство мы к чертовой матери уничтожим. Антигосударственное начало в социализме всегда было, просто куда-то все это упрятали. Помню, как мы в студенческие годы зачитывались «Государством и революцией».

Когда в конце 60-х «Новый мир» шел к разгрому, у меня уже были какие-то внутренние противоречия, хотя я был воспитан в новомирском духе. Их марксизм казался мне узким. Где-то после 1965-го, уже прочитав «Вехи», Бердяева, я начал думать — какая кровавая была революция, а меня все убеждали, что это нормальное дело, без крови революций не бывает. А что было бы с нашей страной, остановись она в феврале? Она не могла удержаться на какой-то грани.

Ведь были великие реформы конца прошлого, начала нынешнего века — отмена двадцатипятилетней службы в армии, учреждение суда присяжных, манифест, земельная столыпинская реформа, образование политических партий, Дума. Почему Столыпин оказался неугоден и тем, и другим?

Вот и сейчас страна все время балансирует на грани. Но я все же верю в эволюцию.

— *Может быть, эволюционный процесс начнется с прошедших выборов, на которых уже не заставляли голосовать, как в вашей юности, когда вас за это «прорабатывали».*

— Знаете, выборы Президента России не кажутся мне чем-то несомненным. В них есть что-то искусственное. Мне трудно представить себе дальнейшие отношения России и Центра. Это смешно, когда говорят, что впервые за тысячелетнюю историю Россия выбирает президента. При чем тут тысячелетняя история, какие там могли быть президентские? Или когда заходит речь о российской государственности

в рамках РСФСР. Как ни крути, но российская государственность включала в себя практически всю территорию нынешнего Союза. Славянские земли, Азия и Запад — вот Россия. А мы теперь ратуем за «стежливую» государственность, забывая об исторической миссии нашей страны. Помните, как в «Маленьком принце»: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Если хотите, мы взяли на себя некоторые обязательства перед Богом за всех «великих и малых».

Другое дело, право каждого народа — определиться. Та Россия, о которой говорят сегодня, — это новая страна с новыми границами, новыми властями. Допустим, это так. Но тогда не надо ссылаться на историческую государственность. Надо признать, что перед нами новая реальность.

К Ельцину я по-разному относился в разные времена, но он человек, который обладает способностью учиться. Что же касается его перспектив, они довольно туманны. Вот мы с вами разговариваем сейчас, сразу после выборов и не знаем, что будет через месяц, через полгода.

Как будет строиться эта новая власть? В нынешней эйфории демократическая интеллигенция и рабочие, основные проельцинские силы, еще реально не представляют, как все будет. Вот с восторгом говорят, что Ельцин и его соратники взяли власть. Но пока в их руках нет никакой власти. Власть не может действовать через усилители на митингах. Так приходят к власти. А осуществляется она в кабинетах. Должна быть жесткая структура, через которую можно проводить в жизнь решения. А на местах власть по-прежнему у обкомов, их ставленников в исполкомах и на предприятиях. Мы власть путаем с популярностью. У Ельцина власть над чувствами и над умами, но не над страной. Должна быть вертикаль — наместники, губернаторы, как в США, или иные должностные лица, исполняющие волю президента. У Горбачева еще есть армия, КГБ, МВД. А у нынешнего лидера России? Российское КГБ, о котором так мечтали и говорили на всех собраниях наши писатели?!

Конечно, выборы преподнесли и свои неожиданности. Например, фигура Жириновского. Забавный персонаж, сочетание имперского духа с прозападной ориентацией. Но еще более странно, что за него проголосовали миллионы людей. Не раскусили. Какова все-таки в России завораживающая сила слова! А он и не мог предложить ничего, кроме слов.

Лидера либеральных демократов, его манеру и само возникновение на политической карте часто сравнивают с Гитлером. Но, позвольте, Гитлер не руководил смехотворной карманной партией в тридцать человек. У него в момент прихода к власти была большая партия, довольно популярная в народе, были вооруженные отряды, свои идеологи. Это была сила, с которой надо было считаться.

Но почему-то именно Жириновского и еще нескольких руководителей «центристского блока» принимают руководители страны, совершенно игнорируя демократов, за которыми — сотни тысяч людей во всех уголках страны. Это довольно странно, если не сказать больше.

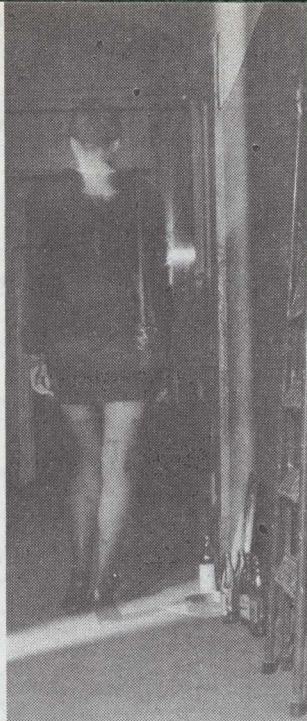
В возникновении таких фигур, как Владимир Вольфович, есть даже что-то пошлое.

И хотя победа демократов — хороший знак, лично мне видятся какая-то неопределенность, размытость будущего. Это еще не победа. Предстоит колоссальная работа по созданию действительно демократической власти, реализация президентских полномочий.

Ну, и последнее. У нас начинают возникать отношения на манер западных. В бизнесе, промышленности это неплохо. Но процесс охватывает и культуру, литературу. Может быть, польза в том, что меньше станет писателей. Но, надеюсь, литература еще долго будет играть прежнюю роль в нашем обществе. Главное, чтобы не понизилось духовное напряжение в цепи. Этим мы всегда были сильны, несмотря на бедность. У бедной жизни была большая духовная энергия.

Беседу вел Андрей АМЛИНСКИЙ.

Людмила САЛЬНИКОВА БАЛЛАДА О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ



Чистосердечное признание. Начальнику МУРа от арестованного П-ва Виктора Витальевича, 1974 года рождения, ИВС, к. 25.

Я, П-в Виктор Витальевич, уроженец г. Люберцы, признаюсь в своих злодеяниях. С декабря крутил карты, наперстки на Казанском вокзале. С января начал подниматься, сколотили свою бригаду.

А началось с того, что на Казанском вокзале ко мне подошел друг из Казани. Поинтересовался, что делаю. Я объяснил, что хочу снять двух телок для работы. Друг обрадовался и сказал, что у него есть как раз две телки и по низкой цене, всего за 50 рублей. Я сначала даже не поверил. Потом вижу — правда. Сидят две в воинском зале — немые, вид затравленный. Сразу чувствуется, что иногородние, ни кола у них, ни двора. Одну Олей звать, другую, кажется, Надя. Ну я заплатил и повез их на квартиру. Со мной еще дружок был — Гия. Он одну из девочек знал раньше. Есть тут одна такая, на Сиреневом бульваре. Ее снимают Муслим, Эльдар, Марат, Гия. Все они из Махачкалы, держатся вместе. Занимаются всем. Эльдар, его еще называют «Турком», по девочкам специализируется возле «Националя», по-нашему, на «уголке». Муслим скупает золото, норку, прочие ценности. Марат спокойный, работает только для себя, занимается в основном гопстопом. А Гия чудной какой-то. Вечером «Националь», утром Рижский рынок. Его не поймашь. Из шмоток ничего не берет, только деньгами или золотом. Он взялся работать со мной в бригаде.

На квартире были Эльдар и Марат. Эльдар пихнул мне Ольгу и сказал: «Иди, разгрузись». Я сначала не хотел, но потом решился. Когда мы с Ольгой вышли из комнаты, Гии и подружки не было. Через полчаса примерно они вышли из другой комнаты, уже веселые. Эльдар ждал нас всех на кухне. Он сказал, что надо ехать на работу, мы все собрались и поехали на «уголок». Девоч в этот раз не продавали, только возили вокруг «Националя», показывали, объясняли, что от них требуется.

Люблю романтику

Автобиография. Я, Л-ва Ольга Алексеевна, родилась 10 сентября 1975 года в г. Аркалык Тургайской области Казахской ССР. Проживаю с мамой и бабушкой. Отец с нами не живет. Кроме меня, в семье еще 3 детей. Мать работает в больнице не знаю кем. Окончила семь классов, потом обучалась в СПТУ по специальности маляр-штукатур. Отучилась год и перестала посещать занятия. В это время у меня появилось множество мужчин кавказской национальности.

Что еще про себя рассказывать? У меня не жизнь — сплошная детектив. Я вообще очень люблю романтику, приключения — как в кино показывают. Не зря Надья со мной в Москву увязалась: возьми да возьми.

Фото Михаила Панина

Прибыли на Казанский вокзал рано утром, еще темно было. На улице холод, как-никак январь. Мы походили, посмотрели и выбрали воинский зал. Там народу меньше. Заняли целую лавочку, забрались с ногами, даже подремали немного.

Был уже день, когда к нам подошел парень лет 16—17, зовут Гия...

Я уже знала, что мне предстоит работать, и еще в прошлый свой приезд в Москву этим занималась. Мне понравилось. Интересно. На тачке катаешься, куришь хорошие сигареты, шампанское пьешь. Могут менты погнаться, тогда совсем как в кино: уходим от погони, следы заметаем. Сердце так екает! Где еще увидишь такую жизнь?

На Арбате Эльдар, друг Гии, быстро нашел мне клиента. Тот назвался Колей, сказал, что профессор. На вид ему лет сорок — сорок пять, пожилой, в общем. За сколько меня ему продали — не знаю. Ребята никогда не говорят. Квартира профессорская где-то рядом с метро «Текстильщики». Хорошая квартира: большая, богатая. Коля мне похвастался, что у него денег много, даже спьяну проболтался, где лежат. Бутылку водки мы с собой привезли, коньяк у него был. На закуску стали колбасу резать, вдруг профессор меня подозвал и давай об мою юбку жирный от колбасы нож вытирать. «Будешь себя плохо вести, я тебя как эту колбасу...» Я слушаю и думаю про себя: «Говори, говори, родной, что твоей душеньке угодно. Недолго осталось...»

Выпили мы по рюмочке, вижу, профессора совсем развело. Можно начинать. Попросила я его водички мне принести. Пока он ходил, я в его рюмку влила одно хорошее лекарство, мне его Эльдар дал. Вернулся с кухни дядя Коля, мы с ним еще по маленькой выпили, тут он и свалился замертво. Теперь его из пушки не разбудишь. Я спокойноенько вынула у него из серванта 22 тысячи рублей, сняла с вешалки две норковые шубы, сложила в большие сумки, которые мне ребята дали, и ушла.

Тут же у подъезда поймала такси, дала водителю полтинник, так он меня чуть ли не на руках до Казанского вокзала донес. Там я быстро нашла Эльдара, он ждал в видеосалоне. Отдала ему обе шубы и 17 тысяч. Остальные деньги мы с Надюшей быстро прокутили. Купили в видеосалоне билеты на все сеансы и спиртного. Я так напилась, что ничего не помнила. Очнулась в приемнике-распределителе для несовершеннолетних...

Я не хотела

Объяснение. Ж-на Надежда Петровна, 1976 года рождения, проживает в г. Аркалык Тургайской области Казахской ССР. «По существу заданных мне вопросов могу сказать следующее: Л-ва Ольга предложила мне поехать в Москву на выступление иностранного ансамбля, говорила, что там будет интересно. Так как я никогда раньше не была в Москве, мне захотелось поехать... Как раз зимние каникулы начинались...

Гия никуда меня не отпускал от себя. Заставлял с ним жить и возил в центр продавать меня. Пыталась убежать, но денег у меня не было, город не знаю, а Ольга совсем меня бросила, занималась какими-то своими делами, по-моему, ее тоже продавали.

Один раз Гия продал меня трем ребятам из Минска за куртку и за сто рублей. Я успела подбежать к двум мужчинам на автобусной остановке, объяснила им все, они тех ребят прогнали. Я добежала до метро и поехала на Казанский вокзал. Думала, может быть, как-то смогу раздобыть билет или «зайцем» в поезд сяду. Меня там Гия быстро нашел. Пригрозил, что, если еще раз удеру, он меня до смерти заберет или пристрелит. У него во внутреннем кармане куртки настоящий пистолет, большой, серебристый, он несколько раз показывал...»

Отступление на медицинскую тему

Справка. За январь 1991 года в женском венерическом отделении филиала городской клинической больницы № 14 им. В. Г. Короленко на принудительном лечении находилось 46 человек, в том числе: в возрасте 13—14 лет — 3 чел.; 15—17 лет — 18 чел.; 18—19 лет — 10 чел.

Журнал передачи дежурств.

5 декабря. Сбежали 3 больных из женского отделения по пожарной лестнице через окно, где снята решетка. Доставлены в отделение милиции.

25 декабря. Под окна женского отделения подходят мужчины и помогают больным спускаться со второго этажа по простыне.

7 января. Девочки из женского отделения постоянно в мужском отделении. Убежали 2 больных из женского отделения.

23 января. В женском отделении произошла драка на почве ревности. Вызывали наряд милиции.

Левина Тамара Владимировна, заведующая женским отделением:

— Раньше к нам попадали достаточно взрослые женщины, с ними было понятнее и проще. Появление несовершеннолетней у нас расценивалось как ЧП. А теперь? Почти сплошь подростки. Совладать с ними просто невозможно. Некоторые девчонки, которых милиция подбирает на вокзалах и в детприемниках, сами к нам просятся. Знаете почему? От нас убежать легче. А как бегут! Вы представьте себе не можете. Зимой — босиком. Или совсем раздетая, в двух одеялах. И ничего. Как правило, не возвращаются.

Не знаю, кому в голову пришло под одной крышей женское и мужское отделения открыть? Свальный грех какой-то. Один наш врач, когда дежурит, записывает в тетрадь для дежурства только одно слово — «бардак».

А оказался один грабеж

Чистосердечное признание. Начальнику МУРа от Д-ва В. А., 1965 года рождения, жителя Москвы.

Я, Д-в, работаю в таксомоторном парке. В конце марта, выезжая на линию, я увидел двух пассажиров: парень, одетый в вареную куртку, и девушка. Они попросили довезти их до центра.

Я, конечно, отказался. Тогда парень сразу четвертой из кармана достал и сел. Девушка за ним. По дороге мы с парнем разговорились про автомобили. Он неплохо в них разбирается. Вдруг спрашивает меня, не стою ли я на «уголке». Я ответил, что не сумасшедший, там чужаку вмиг колеса спустят. Парень засмеялся и сказал, что если с ним буду работать, то бояться нечего. Я поинтересовался, что за работа. Он успокоил, что ничего криминального нет, просто они продают девочек клиентам на «уголке». От меня требуется поехать за машиной клиента, обогнать ее и зажать. Тогда из моей машины выходят ребята, забирают девочку у клиента, сажаят ко мне, и мы уезжаем, путая следы, опять на «уголок». Я привез парня и девушку на площадь Маяковского и договорился с ними о встрече.

На следующий день, вернее, вечером, в 23.30 я приехал к «Националю». Парня увидел сразу. Он тоже меня узнал и подрядил к себе. Кроме него, ко мне сел еще один парень, по виду кавказец. Звать Эльдар, а первого как-то по-чуждому — Русса. Первый их удар был по представителям африканской национальности. Купив у ребят девочек, они сели в такси, а бригада уже следила за ними. Я двинулся за клиентами, за мной шла вторая машина такси. Мы пересекли проспект Калинина, мост за «Ударником», свернули на темную улицу. Тут я стал «подрезать» машину с африканцами, а второе такси встало сзади. В нем тоже сидели два крепких пацана. Все выбежали из машины и забрались в машину с клиентами. Девчонки из той машины вылезли и бегом ко мне.

Дальше все шло так, как говорил мне Русса. Мы начали уходить с места происшествия опять на «уголок». И опять ребята нацелились на негров, уже других, опять мы поехали за машиной, свернули на набережную Яузы, и там в темном месте я «подрезал» клиентов. Ребята выбежали, напали на негров, и тут я понял, что идет не «кидняк», как мы договаривались, а настоящий грабеж. Один парень снял у африканца золотой перстень и кожаную куртку, у другого отняли пачку долларов. Мне дали счетную машинку, но она мне не нужна, я обменял ее на два лотерейных билета. Эльдар отсчитал мне 50 рублей из расчета 15 рублей в час, пообещав, что остальные отдаст в следующий раз. Я боялся им возразить и делал все, что они скажут.

Спрут-91

Начальнику Н-ского райотдела МВД Дагестанской АССР. «В УУР МВД Дагестанской АССР имеются сведения о том, что житель Н-ского района М-ов по прозвищу «Турок», 1970 года рождения, совместно с земляками, нелегально проживая в Москве, занимается совершением преступлений (вымогательства, разбой, грабежи), в том числе в отношении иностранных граждан. За короткое время М-ов купил «Жигули»

за 30 тысяч с московским номером, кооперативную квартиру в г. Махачкале за 40 тысяч, оформив ее на одного из родственников. При нем постоянно имеются деньги, валюта в большом количестве. М-ов и его друзья являются «авторитетами» для молодежи дагестанской национальности, постоянно проживающей в Москве, а также приезжающих в Москву с преступными намерениями. Они же являются организаторами преступлений с их стороны».

Ваничкин Михаил Георгиевич, начальник отдела по борьбе с групповой преступностью несовершеннолетних МУРа:

— Смотрите, какая любопытная схема у меня имеется. Вот квадратик, в каждом — фотография, имя, краткие данные. Это члены группировок. Особая пометка для тех, кто имеет огнестрельное оружие. Кое-где красным заштриховано, видите? Эти «герои» уже прошли по уголовным делам. Довольно много таких квадратиков. За год более 50 набирается. Но есть и пустые клетки, где ничего не написано, даже фотография отсутствует. Одно только имя проставлено или кличка. Значит, бегают пока наш подопечный неопознанным, хотя уже и вычисленным.

Но самое главное — линии, соединяющие все эти квадратики. Глядите, как их много, как они перекрещиваются и переплетаются. Настоящий спрут, то есть хорошо организованная банда. У каждого «авторитета» своя бригада с боевиками и девочками. Но все линии рано или поздно замыкаются на главарях — Эльдаре, по прозвищу «Турок», и Гие. Каждые четыре-пять месяцев состав банды обновляется — уходят одни девочки, приходят другие, а костяк один и тот же. Причем подобных спрутов у нас несколько. Перед вами так называемая Дагестанская группировка, есть еще Железнодорожная (из города Железнодорожный), Люберецкая, Казанская.

Действия этих группировок вполне укладываются в определение «бандитизм». На их совести грабежи, разбой на десятки тысяч рублей, не говоря уже о моральном ущербе гражданам. Но заметьте, что только один из ста пострадавших идет к нам с заявлением — на это у них и расчет. Станет ли, к примеру, командированный в Москву инженер или иностранный студент, обучающийся в столичном вузе, прилюдно сознаваться, что его ограбила девица легкого поведения? Вот потому так трудно нам возбуждать против них уголовные дела, доказывать состав преступления.

А за торговлю девочками привлечь к уголовной ответственности почти невозможно. Ведь потерпевшая сама должна заявить, что сутенер принуждает ее торговать собой и извлекает из этого наживу. Но парень от всех ее показаний раскрутится — дескать, знать ничего не знаю, она сама такая распушенная. И рассыпается обвинение как карточный домик. Правда, в большинстве случаев простыми «кидками», то есть обманом клиентов, дело, как правило, не ограничивается. Это только начало, переходной мостик к более серьезным видам преступлений — насилию и грабежам. Начав с забавного приключения, девчонка очень скоро становится настоящей разбойницей, сама того не желая. А обратного пути уже нет...

Я же тебя люблю

Справка. В ответ на запрос УУР ГУВД Мосгорисполкома сообщаем: гражданка Л-ва Ольга Алексеевна, 1975 года рождения, и гражданка Ж-на Надежда Петровна, 1976 года рождения, ушли из дома и самовольно уехали в Москву, не поставив в известность родителей, в связи с чем находились в розыске как без вести пропавшие. Гражданку Ж-ну Н. П. родители забрали в Москве из вегетерического отделения больницы. Гражданку Л-ву О. А. группа дагестанцев похитила и увезла в Махачкалу, когда она направлялась из детприемника по месту жительства. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Письмо Л-вой О. А. отцу:

«Здравствуй, папа!

Пишет тебе твоя дочь. Папа, ты знаешь, что я ушла из училища. Пишу тебе из Москвы. Я здесь уже две недели. Живу с девочками из Махачкалы в общежитии. Они очень хорошие. Мы вместе ходим в театры, в Третьяковскую галерею, на Красную площадь. Папа, ты за меня не переживай, со мной все нормально. Папа, ты еще не женился? Как там у тебя дела? Не болееешь ли?

Зря ты все-таки выгнал меня из дома, ведь я любила тебя и люблю. На этом я свое письмо кончаю, передавай всем привет».



Уважаемый читатель!

В этом номере мы открываем на страницах журнала Бизнес-клуб.

Это не дань моде. Опросы, проведенные в школах среди старшеклассников, показывают, что их все больше занимает дело, коммерция.

Социологи и психологи изучали рокеров и любителей, копя возрастную их почву, чтобы добраться до социальных корней. Но пора всерьез задуматься и признать, что приходит новое поколение, которому хочется жить не по принципу отрицания, наоборот, по принципу созидания.

Итак, новое поколение выбирает дело!

Мы не можем и не должны оставаться в стороне. «Юность» — журнал литературный, но мы всегда стремились писать о том, что интересует и волнует наших молодых читателей. Волна изданий, чьи страницы полностью посвящены проблемам бизнеса, мы надеемся, не захлестнет наш Бизнес-клуб, ибо

«ЮНОСТЬ» ПИШЕТ О МОЛОДЕЖИ И РАССЧИТАНА НА МОЛОДЕЖЬ!

В выпусках Бизнес-клуба «Юность» расскажет: — о молодых предприимчивых людях, выбравших делом своей жизни ДЕЛО, будь то брокер на товарной бирже, директор малого предприятия, владелец частного кафе или коммерческого магазина;

«Юность» предложит:

— серию очерков о предпринимателях дореволюционной России и России времен нэпа;

«Юность» готова предоставить Бизнес-клубу предприятиям и фирмам, кооперативам и акционерным обществам, чьи сотрудники молоды и энергичны:

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЧИТАЕТЕ, ЧТО ЭТО ИНТЕРЕСНО ВСЕМ, «ЮНОСТЬ» ЖДЕТ ВАС В БИЗНЕС-КЛУБЕ!

В этом выпуске:

Заметки нашего корреспондента о международной встрече деловых людей «Интерпартнер-91»: проблемы школы бизнеса и ее учеников;

«ИНТЕРПАРТНЕР» — НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Только безумец может сесть за руль автомашины, не умея управлять ею. Но положение таково, что советский предприниматель, зная лишь, как включать зажигание и в лучшем случае «дать по газам», вынужден — в силу объективных и субъективных причин — не просто рулить, объезжая всевозможные препятствия, а зачастую законы и постановления, но по пути изучать правила движения и к тому же идти на обгон.

Бизнесу надо учиться.

В последнее время буйно расцвели всяческие ассоциации, занимающиеся организацией бизнес-туров и школ бизнеса. По щедрым рекламным и ценам, в них указанным, легко догадаться, что мероприятия эти мало похожи на почтенные

курсы повышения квалификации или же учебу профсоюзного актива, от которых, кроме головной боли и повышенной сонливости, никто, кажется, ничего еще не получал. Реклама предлагает деловым людям постигнуть тонкости искусства маркетинга и менеджмента, проникнуть в тайны валютного рынка, и все это, конечно, в первоклассных отелях с тренажерным залом и бассейнами.

К чему такая роскошь, думает рачительный хозяин предприятия, мы и сами разберемся. Ну, пускай думает. Скупой, как известно, платит дважды.

В 1989 году четыре организации — советско-итальянское СП «Синергия», Всесоюзное научно-производственное объединение нефтяного машиностроения, Всесоюзный институт межотраслевой информации и объединение «Партнер» (директор Ротарь А. А.), взявшее на себя организационные функции, вошли в оргкомитет по подготовке международных встреч деловых людей «Интерпартнер». Таких встреч было уже четыре, пятая намечается на октябрь этого года. Однако на будущее в наше время лучше не загадывать, поговорим о недавнем прошедшем.

Четвертая встреча «Интерпартнер-91» проходила в мае в гостиничном интуристовском комплексе «Дагомыс», что возле Сочи.

Приехали представители 160 советских госпредприятий, малых предприятий, кооперативов, акционерных обществ и почти 30 зарубежных фирм из Италии, Франции, США, Венгрии, Южной Кореи, Германии, Англии, Китая. Многие, в том числе иностранцы, приезжают во второй и даже в третий раз. И, судя по их словам, собираются побывать еще. А что? Дагомыс — место шикарное, и даже избалованные сервисом иностранцы остаются довольные. Но ведь не ради бассейна с морской водой и розового шампанского «Дюрсо» едут на «Интерпартнер» его участники.

Приглашение профессионалов, специалистов из Минфина, Госбанка СССР, Внешэкономбанка СССР, МВЭС, ГУТТК, тех, кто не только реально владеет ситуацией в хозяйственно-экономической практике, но и способен помочь спрогнозировать наиболее эффективные действия конкретных предприятий, — привлекает не только советские, но и иностранные фирмы.

Если судить по этой встрече, то подобные бизнес-мероприятия, кроме возможности пополнить профессиональные знания и получить дополнительную информацию (а научная программа «Интерпартнера», разработчиком которой является СП «Синергия», рассчитана именно на профессионалов, как считают понимающие в этом иностранцы), дают замечательную возможность заниматься делом. Достаточно сказать, что на трех предыдущих встречах были заключены сделки на 900 млн. рублей.

Это результат, выраженный в цифрах. Но есть, должно быть, какой-то иной результат, незаметный пока ни по прилавкам магазинов, ни по уровню жизни вообще.

Зачем начальнику юридического отдела львовской внешнеторговой фирмы «Электрон», и так уже имеющему два образования — юридическое и экономическое, отсиживать, как школяру, от звонка до звонка все консультации и семинары? Зачем это главному инженеру того же завода «Электрон», чья продукция и на внешнем рынке пользуется спросом? Вдолбленный нашим славным кинематографом застойных лет упрощенный образ главного инженера, по селектору кричащего: «Шестой! Шестой! Почему остановили конвейер?!» — уступает место образу руководителя, стремящегося разбираться во всех областях своего производства. Зачем приезжает на встречу представитель приборостроительного завода? Этот завод раньше работал на «оборонку», и конверсия заставляет его руководителей искать пути достойного и безбедного существования. Ведь конверсия не выражается лишь в игрушечных колясках, которые и цвет имеют защитный, и едут, как танк, тяжело...

**ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРОВЕДЕНИЕМ ВСТРЕЧ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ,
БИЗНЕС-ТУРОВ И ШКОЛ БИЗНЕСА!
ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ
ВАМ СОТРУДНИЧЕСТВО!
МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТИ
ПО ПОДБОРУ МОЛОДЫХ УЧАСТНИКОВ
ДЛЯ ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ!**

Возможно, наш далекий потомок, сидя в рабочем кабинете своего еще прапрадедушкиной приватизированного дома, с недоуменным любопытством будет просматривать нынешние газеты, где с одной полосы взывает к состраданию старуха, у которой ни денег, ни дома, ни надежды, ни защиты, а с другой — раздается призыв отправиться в бизнес-тур куда-нибудь на Багамы за СКВ или за рубли, но очень большие. И если счастливый потомок уже не поймет, чем рубль отличается от СКВ, то нам к существованию — на фоне экономической разрухи — бизнеса и всего, что с ним связано, нужно привыкнуть. Это сложнее, чем просто заучить слова: «холдинг» и «лизинг». Ну, кто из рядовых наших сограждан, отстояв очередь за талонным дефицитом, способен поблагодарить директора коммерческой комиссионки, чьи стены увешаны — слой на слой, как на цыганке, — шмотками и побрякушками?

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕМИ, КТО ПРИШЕЛ

ИГОРЬ КАЦАЛ,
бизнесмен, который ездит на «форде»

Игоря Кацала мне представили так: молодой бизнесмен, который ездит на «форде».

Строго говоря, бизнесменом Кацала можно назвать лишь условно, ибо малое предприятие «Эксперимент», директором которого он является чуть меньше года, создано на базе одного из отделов ВНИИнефтемаша. Этот отдел, являясь научно-техническим подразделением института, считался одновременно и его производственной базой. И поскольку подход министерства ко всем отделам института был фактически одинаковым, а сложное оборудование надо было содержать, научные разработки — стимулировать, то необходимость финансовой самостоятельности назрела не вдруг. Идея создания малого предприятия просто носилась в воздухе, и Игорь, к тому времени заведующий отделом, ее поймал.

Основным профилем «Эксперимента» остаются научно-исследовательская, научно-техническая деятельность, работы по испытанию всех типов оборудования для нефтепереработки. Но на этом, видимо, быстро и много денег не заработать. И потому «Эксперимент» занимается производством. Например, универсальных технических очищающих средств — для мытья деталей, корпусов машин и даже асфальта. Эти средства в отличие, скажем, от бензина негорючи, нетоксичны и страшно выгодны для промышленности. Или высокотемпературные теплоносители, которые применяются, когда необходимо вести химический процесс при повышенной температуре.

Давно известно, что прибыльными являются те предприятия, которые работают на отходах. «Эксперимент» решил наладить производство гранулированного магния из отходов, методом изотермической штамповки прессовать его в нужные конструкции — этим у нас пока никто не занимался. Магний по своим свойствам после такой обработки не уступает стали, а легче нее в три раза. Что из подобных конструкций можно сделать? Да что угодно: инвалидные коляски, велосипеды, спортивный инвентарь...

Сколько раз оплевана комсомольская активность? Но, наверное, не все рвались в лидеры исключительно из карьеристских или иных неуважаемых побуждений, и не всегда желание руководить тождественно желанию властвовать. Вот и у Кацала, который и в техникуме, и в институте весьма на общественном поприще преуспевал, и в стройотрядах «комиссарил», существовала, как я поняла, потребность самореализоваться, найти выход своим организаторским устремлениям. Он действительно считает, что без этого не смог бы в двадцать восемь лет руководить коллективом, в котором работают специалисты с огромным опытом, зачастую намного старше него. Каково убедить их в целесообразности одних направлений и невыгодности других? Каково взять на себя ответственность за возможные неудачи, если после перехода на самостоятельность упала зарплата; каково доказать, что трудности временные, и убедить людей остаться?..

А что касается «форда», то он уже десять лет принадлежит предприятию. Да ведь и не в «форде» дело...

Для обывателя понятие «бизнесмен» наверняка долго еще будет ассоциироваться с теневой экономикой, так же, как торгово-посредническая деятельность, позволяющая многим предприятиям и кооперативам без особых затрат накопить капитал для дальнейшего развития своего дела, — со спекуляцией.

**В БИЗНЕС-КЛУБЕ «ЮНОСТЬ» ПРЕДПОЛАГАЕТ
ОБСУЖДАТЬ НЕ ТОЛЬКО ДЕЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
НО И НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОГО БИЗНЕСА!**

**ПРИГЛАШАЕМ К ЭТОМУ РАЗГОВОРУ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

ЕЛИЗАВЕТА СИМАКОВА,
которой можно позавидовать

По-моему, жизненное кредо Елизаветы Симаковой — самостоятельность. Хороша самостоятельность, считает она, если говоришь родителям: давайте деньги и не лезьте в мою личную жизнь!

Потому после школы в институт сразу поступать не захотела, пошла в издательство «Юридическая литература»; подумала было на журфак, но поняла — не ее; поступила на вечернее отделение юридического факультета Московского университета; устроилась в пакистанскую фирму «Табани» секретарем, тем более что и английский знала прилично, и с иностранцами начала работать, еще сотрудничая в издательстве, на книжных ярмарках. А уж из «Табани» перешла в «Комет трейдинг».

Елизавете Симаковой 21 год, она — официальный представитель английской компании «Комет трейдинг», у нее есть право от имени компании подписывать контракты.

Компания эта была создана для работы в области деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Но когда выяснилось, что советский рынок не насыщен еще компьютерами, аудио- и видеоаппаратурой, не говоря уж о сложном промышленном оборудовании, возникла идея торговли. Пока что из-за нестабильности экономической ситуации в нашей стране англичане не торопятся делать серьезные вложения, но время меняется, и уже существуют несколько проектов.

Так что дел у Елизаветы Симаковой еще много. Их и сейчас хватает. Это сбор интересующей компанию информации, ведение переговоров, это поиск выгодных клиентов и партнеров, это, когда к вечеру добираться домой, десятки деловых звонков...

Вообще-то, конечно, в 21 год девушкам свойственно выходить замуж. Но у Елизаветы ближайшие планы иные. Создание семьи, по ее мнению, для многих — способ изменить образ жизни. А ей нынешний образ жизни пока нравится. Вот бы еще пойти на курсы автовождения, выучить немецкий, университет закончить...

Я ей завидую.

*Выпуск подготовила
Майя КОМИССАРОВА.*

Ждем ваших откликов по адресу: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. Горького, 32/1, редакция журнала «Юность», Бизнес-клуб.





ВТОРОЙ МИКРОФОН, ПОЖАЛУЙСТА!

В июньском номере журнала «Зеленый портфель» дал возможность выговориться после столь долгого молчания прозаикам. Как и следовало ожидать, в ответ на подобную акцию поэты вежливо, но категорически заявили, что у них тоже накопилось много нового материала. Поэтому «Зеленый портфель» охотно предоставляет слово мастерам стиха и рифмы.

Сергей БЕЛОРУСЕЦ

Он едет на танке за водкой

Он едет на танке за водкой,
Сквозь еле заметную щель
Мердая улыбкою кроткой,
Предчувствуя близкую цель...

Он здесь полноправный хозяин:
Оплот своевластья и щит.
Практически неприкасаем —
Ему это, впрочем, претит,

Хотя и не слишком...

На танке

За водкой он едет во мгле.
А мог бы лететь на тачанке,
А мог бы парить на метле...

Про царевну Несмотряну

Царевна Несмотряна
Вблизи отцова трона
Росла в семье тирана,
Как белая ворона.

Хоть из того же теста,
Что и сестер, лепили
Царевну —

в знак протеста

Она к дворцовой пыли,
К придворной атмосфере
Питала отвращенье,
Ропща на лицемерье
В своем кругу общенья.

Вращался свет циклический
С диаметром пространством
Вкруг

От среды отличной
Царевны Несмотряны —
И та

за край не вышла:
Любила Арлекина,
А замуж все же вышла
За принца Вопрекина.

Игорь БОНДАРЕНКО

Плаванье

Все так радостно вокруг
стало изменяться.
Убедили всех пьянчуг
плаваньем заняться.

Все гадюшники вокруг
опустели-вымерли.
Ведь бассейны для пьянчуг
специально вырыли.

Вырыли для них бассейны
спортивные,
вылили туда портвейны
противные.

Кошки

На одном большом заводе
кошек расплодилось тыщи.
По цехам там кошки бродят
в поисках насущной пищи.

...В мире мало добряков,
редко встретишь ласку...
Так что кошки со станков
слизывают смазку.

Разрушают механизмы,
чтоб насытить организмы.

Оттого-то все станки
на заводе поломались,
затупились молотки,
а напильники взорвались.

Растерялись гайки,
распаялись пайки.

Из моторов выпадают
шарики и ролики,
а наладчики играют
в крестики и нолики.

И у всех столов чертежных
распатались ножки...
План провален безнадежно...
Вот какие кошки!

г. Ростов-на-Дону

Евгений БЕРГЕР

Ищем совесть

Из центра пришла директива:
По совести надо служить,
Работая честно, не лживо,
А также — по-новому жить.

Исполнить решив директиву,
Мы бросились совесть искать,
Чтоб видеть ясней перспективу,
А старое — искоренять.

Искали ее в магазине
Меж бус дорогих и колец.
— Здесь совести нет и в помине, —
Сказал нам один продавец.

Искали ее в гарнизонах,
Обшарив казармы до дна.
Но в ротах, полках, батальонах
Пока не служила она.

Искали ее в учреждениях,
Искали в больших городах,
Искали и в малых селеньях,
Но с нею нигде не в ладах.

Мы совесть искали повсюду,
Мы даже в аптеку зашли,
Лекарств обнаружили груды,
Но совести мы не нашли.

И если вам встретится случится
Ее — дайте знать нам скорей.
Как самые быстрые птицы,
Мы тотчас примчимся за ней.

Семен ВАНЕТИК

Дед и внук

— Лет семьдесят строго строили,
И пикнуть не смел никто,
И вот наконец построили.
Прикинули. Нет, не то!
А шутка ли перестраивать,
Построенное ломать,
Все здание перестраивать,
Фундамент крепить опять?
Не то? Но зато привычное,
Родное, как ни крути,
И многое так привычно —
Не оторвешь, поди!
— На что же даны нам руки?
Сломаем и возведем!
А вырастут наши внуки
И вновь перестроят дом.

г. Ставрополь

Владимир ШИРЯЕВ

Предтеча

В. М.

...Вот тогда-то он с места поднялся
и крикнул, горький глотая ком:
«Массы —

без мяса!

А местком — с мяском?!»

Ну, естественно, повязали.
Пару годиков оттрубил.
Но у всех, сидящих в зале,
он сознание пробудил.

г. Кемерово

Сергей САТИН

Мемуарное

Хоть был я чрезвычайно мал
во дни хрущевского сверженья,
всю гнусность этого свершенья
уже тогда я понимал.
О как же горько плакал я,
когда узнал, кто будет вместо!..
И кукурузу грыз три дня
демонстративно
в знак протеста.

Лето. Зарисовка.

Июль. Грохочет где-то гром.
Спешит с работы люд.
Мужик на пару с комаром
чего-то, морщась, пьют.
За то, чтоб светлой жизнь была.
За здоровье ЦК...
Мужик, понятно, из горла,
комар — из мужика.

ГОЛОДОВКА

Петр Петрович Булыжников проснулся под нежный перезвон тайваньского будильника. Легко поднявшись, накинул на белые плечи японский халат и, волоча кисти пояса по мягкому ворсу персидского ковра, направился в ванную комнату. Приняв освежающий душ, надел любимый английский костюм и вошел в кухню.

Тоскливо оглядев стол, Булыжников с трудом проглотил несколько кусочков надоевшей до омерзения семги, апельсин и чашечку бразильского кофе. Не сделав замечания жене за однообразные завтраки, Петр Петрович поцеловал ее, взял кейс со слесарным инструментом и вышел к машине, ожидавшей возле подъезда. Милиционер, дежуривший у входа, отдал Булыжникову честь и предупредительно распахнул дверцу «Волги».

Харитон Перлов проснулся от того, что, забывшись, уперся коленками в холодильник и ему на грудь упала банка с простоквашей. Над головой жалобно закрипели пружины кровати сетки, провисшей под тяжестью тел жены и шести сыновей. Во рту было сухо и гадко от съеденной за ужином кильки.

В голову полезли обидные мысли.

Слесарь Булыжников вдвоем с женой в четырехкомнатной квартире живет!

А он десять лет в комнатке общежития! Десять лет в очереди на жилье под номером 1001 маячит!

В глазах и носу Перлова зацвело. С трудом сдерживая рыдания и не вставая с матраса, он привычно надел спецовку, плащ и сапоги. На ощупь нашел и снял с двери свою любимую и единственную картину народного художника Пенсова «Визит на свиноферму». Бочком выскользнул в прокуренный коридор общежития. Сел на загаженный подоконник и на обратной стороне картины твердой рукой написал: «Я, Х. Х. Перлов — секретарь обкома, объявляю голодовку! Долой незаслуженные привилегии! Требую справедливости!»

Повесил картину на ушибленную грудь и побрел к покоившемуся зданию обкома...

Геннадий КОСТОВЕЦКИЙ,
Олег ПОПОВ

ЦИНЬСКОЙ ДЕВЕ НЕ СПИТСЯ...

— Слушай, Квочкин, все хочу тебя спросить: как ты относишься к древнекитайской поэзии? — без обиняков начал шеф, предложив сесть. — Только давай начистоту.

— Знаете, Сидор Поликарпович, если вы так ставите вопрос, то скажу вам прямо в лицо, что в принципе отношусь к вашим любимым китайцам благосклонно, но предпочитаю японскую хокку.

— Достойный ответ, в духе времени. Плюрализм проявляется. Но неужели тебя не вдохновляет поэзия в жанре ши?

— Я больше уважаю в жанре цы. А если уж совсем начистоту, высоко ставлю только Ли Бо, особенно этот его сяолин: «Флейты печальные звуки сон оборвали счастливый, циньской деве не спится, в башне, луной озаренной».

— Неплохо, — удовлетворенно пробурчал шеф, затягиваясь сигаркой. — Не зря мы тебя в профком выдвинули... А меня больше греет это чжундяо...

И Сидор Поликарпович продекламировал что-то из «Цветет Мэйхуа», внимательно следя за моей реакцией.

— Древние китайцы лиричны, — сказал я, выдерживая его взгляд. — Но, согласитесь, японцы философичнее. Вот послушайте...

И я прочитал несколько танка.

— А по-моему, Лу Ю глубже, — упрямо мотнул головой шеф. — Ну, не ершишь, я тебе своего мнения не навязываю. Можешь даже всем говорить, что со мной не согласен. А теперь ступай и работай. Как говорил твой любимый Есимото: «Познай же сладкий труд». И позови ко мне главного механика, интересно, что он думает по этому поводу.

Вышел я из кабинета и подумал: каких все-таки высот достигла гласность на нашем заводе!

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

— Давайте сфотографируемся около этих березок! — почти потребовал Боря. — Уже час ходим по лесу и ни разу не снялись. Зачем я тогда аппарат с собой таскаю?!

— Разве кто возражает? — успокоил его Василий Никодимыч. — С нашим, как в старину говорили, удовольствием.

Вся компания расположилась живописной группой под сенью очаровательных березок. Боря, как заправский фотограф, командовал размещением. Марфу Авдотьевну с внуком посадил в центре вместе со стариком Лейзером Абрамовичем, у которого на коленях заняла место внучка Сонечка. Свою маму — Любовь Соломоновну — и супругу Василия Никодимыча — Ольгу Власовну — разместил рядом со стариками. Перед ними на траве уложил мужское среднее поколение обеих семей — Василия Никодимыча, своего отца — Льва Лейзеровича и одногодка Игоря.

Большинство кадров Боря сделал горизонтальных. Потом парочку вертикальных. На всякий случай три раза варьировал выдержку. Сам тоже сфотографировался с группой — лег на место Игоря, а тот щелкнул.

Все остались очень довольны съемкой. А Лейзер Абрамович — старый человек — даже прослезился и сказал:

— Если, Бог даст, снимки получатся удачными, пошлем и в Тель-Авив Семену. Он хоть и недавно уехал, а скучает за нами за всеми ужасно.

Никто ничего ему не ответил. Но позже, когда на полянке сели перекусить, Василий Никодимыч незаметно овладел на несколько секунд аппаратом и засветил пленку. На всякий случай...

Александр ПЕРЛЮК

ЭХО

— Ау! — закричал Степанов.

— Ау-у! — ответило эхо.

— Меня зовут Миша!

— Миша-а! — ответило эхо.

— А жену зовут Светлана!

— Светлана-а!

— Мы с ней работаем инженерами!

— Инженерами-и!

— Живем мы в поселке Демидовка!

— Демидовка-а!

— Если честно, то мы живем плохо!

— Хорошо-о! — ответило эхо.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

ВЕСТОЧКА

Дорогая мама! Пишу тебе из воинской части номер (вычеркнуто), где два года буду как последний (вычеркнуто) исполнять свою (вычеркнуто) почетную обязанность.

Живем мы тут хорошо. Так хорошо, что (вычеркнуто) до конца фразы). Серванты любят нас, как родных, и делают это, мама, круглые сутки. Особенно заботится обо мне сержант (вычеркнуто) — пожалуйста, не забудь эту фамилию. Вчера он мне сказал: «(вычеркнуто) козла вонючего (вычеркнуто) до самого дембеля!» Но я на него (вычеркнуто) не обижаюсь, потому что ведь иначе действительно (вычеркнуто).

Ты спрашивала о питании. Ну, что тебе сказать? (Вычеркнуты две страницы.)

В увольнение мы ходим строем по городу (вычеркнуто), в основном по улице Карла (вычеркнуто) и Фридриха (вычеркнуто), возле которого на горе (вычеркнуто) и стоит наш (вычеркнуто) полк.

С этой (вычеркнуто) горы через прицел хорошо видно границу нашей (вычеркнуто) Родины и за ней (вычеркнуто) и как они там бегают, за голову схватившись. Но мы, мама, в них не стреляем, потому что наш (вычеркнуто) полковник сказал: «(вычеркнуто) с ними, пускай еще побегает!»

Так что, мама, ты за меня не волнуйся, а пришли лучше (вычеркнуто) полстраницы), а то здесь вместо всего этого только (вычеркнуто) всякая.

С боевым приветом

твой сын рядовой (вычеркнуто).

КОМНАТА



Журнал в журнале
№ 5 (44)

Специальный выпуск (выездной): СКАЗАНИЕ О ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ

Находясь в полном здравии и своем рассудке, убедительно прошу разрешить мне пока остаться на родине, в России. Понимаю, что в нынешний, как обычно кризисный, момент моя просьба кощунственна. Я всем мешаю. На 1/4 части суши я как бельмо в глазу. Меня нечем кормить, поить, отапливать, лечить и развлекать. Я лишний человек, а таких, как я, в нашей стране еще сотня-другая миллионов. Не скрываю и отягчающих обстоятельств: я русский, родился в Москве, то есть валюты у меня нету, стало быть, для государства я абсолютно бесполезный человек. Я подло подвожу родимый парламент, который ради меня же корячился, как Папанин на льдине, принимая священный закон о выезде. А я, видите ли, эмигрантом стать не хочу! Да ведь эмигрант... это звучит как никогда гордо. Последнее, что хоть как-то спасает Ленина в гла-

ЗАЯВЛЕНИЕ о отставке

зах народа: тоже был эмигрантом.

Но сотоварищи мои дорогие! Все это можно обделать прямо здесь, в стационаре, разыграть мистерию ностальгии. У нас нынче полстраны считают себя эмигрантами из дореволюционной России. Я тоже стану со всеми орать надтреснутым голосом «поручика Голицына» и белогвардейски заглаживать талонную сивуху, я научусь, выходя из ресторанов, по-

купечески щедро блевать на все четыре стороны. Для правдоподобия могу даже застрелиться. Но зачем ради этого уезжать в Париж? Холодно и одиноко в католических храмах, сплошной целибат. Крысы бегают по метро. Таксы какают прямо на тротуары. Люди не пьют, не читают, не дерутся. Поезда и женщины не опаздывают. Разве это жизнь, я вас спрашиваю? Разве нам уже прописан санаторный режим? Кореш мой Ленька звонит из Штатов: «Старик, тут в умывальник можно выбрасывать что угодно, хоть слоновые кости! Мясорубка порубает, мощный напор воды в канализацию смое... А больше, старик, ни хрена интересного, гуд бай!» Вот и вся разница: у них в умывальник, у нас — по старинке — в окно, у них в клозете, у нас в подъезде, у них в баре, у нас опять же в подъезде... А на кой она мне сдалась, мясорубка в умывальнике,

если у меня слоновых костей нет и не предвидится? Зачем мне комфорт? Мне, ветерану игр доброй воли; мне, вечноплававшему, но и вечноживому? В разреженной атмосфере свободы, комфорта и вседозволенности я буквально расползусь по всем швам.

Короче, я вынужден остаться. Здоровье мое не позволяет надолго покидать родную флору-фауну. А кто ее будет лелеять, нежить, а порою пинать любовно? Кто, если не я? Может, вон тот в галстук, но он же на свет Божий не вылезает пятый год из своего бункера, где одна перманентная сессия... Почему я должен подаваться за тридцать земель, а эти дяди подземелий останутся? На каком основании они? Докладываю: я провел трудное детство в подмосковных окраинах. Гололед посыпал песком, в переулке фонарь подвесил, через гать бревно перекинул. И когда я лягу на стильные рельсы, то Иван Бугров и все его братья — машинисты нашего летящего с утробным воем пустопорожного паровоза, — тормознут во все тормоза, завидя меня лежащего... вот и не быть тогда гражданской войне! Сограждане не кинулись колотиться в ворота иностранных амбассад. Надеются срезать углы, расчистить перспективу и разглядеть путь до самой-самой точки. Они похерили уроки русского пейзажа, где только вороны прямо летают. «Кажется, что может быть кризиса и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу», — предостерегал один добрый поводырь-историк. Жизненный путь краток, финал общеизвестен. Тому, кто попер напрямки, сдается, что он достигает какой-то цели, а на самом деле в нашей странной игре побеждает тот, кто финиширует последним.

Игорь МАРТЫНОВ

ВСЕМ ПОВЕЗЛО

Выпускник биофака МГУ краснорец Дмитрий Ситников в качестве потенциального бакалавра подается в Америку, штат Техас, в маленький университетский городок Колледж-стейшн.

Ситников занимается молекулярной биологией, его тема — биолюминесценция, конкретно — морские светящиеся бактерии, а в более специальном виде это звучит так сложно и многообещающе, что я произнести не возьмусь. Он специально прервал обучение в Техасе на две недели, чтобы защититься в Москве диплом и окончательно попрощаться с друзьями и близкими.

— Как ты там очутился?

— У меня после ощущения полной ненужности и бесперспективности моей работы здесь появилось наконец ощущение приспособленности и, если угодно, моей там уместности. Профессор — мой научный руководитель — воплощенная доброжелательность. Кстати, благодаря ему я там и оказался: он приехал сюда полтора года назад с лекциями, я занимался сходными проблемами, после лекции подошел задать свои вопросы, и мы разговорились, а там пошла переписка, словом, он меня пригласил к себе, в аспирантуру. При условии, естественно, что я оплачу дорогу.

— Обучение в аспирантуре продолжается четыре года. Потом ты можешь уже не вписаться в эдвинскую жизнь...

— Я, скорее всего, не буду возвращаться. Прилетать на Родину — да, и, может быть, даже ежегодно. Но жить и работать я хотел бы там. Здесь у меня не было элементарных реагентов, чтобы поставить эксперимент. Нет компьютера, чтобы спокойно напечатать материалы исследований, не занимая очереди за неде-

лю. Здесь приходилось разыскивать самые необходимые вещества.

— Твои исследования имеют прикладное значение?

— В довольно далекой перспективе, да и то не мой, а сама по себе отрасль. Вообще же я занимаюсь чистой, фундаментальной наукой, и, надо сказать, американцев она интересует больше, чем какие-то конкретные приложимые вещи. А у нас чистая наука загибается на глазах и скоро, вероятно, вообще переключится к ним. Отток ученых, студентов, преподавателей будет расти непрерывно — в том же Техасе, нефтяном штате, я уже встречаю наших «нефтяников», специалистов, потому что процесс неостановимый, потому что ученые как раз там нужны.

— Сколько тебе там платят?

— Бешеные деньги, по моим понятиям. Стипендия бакалавра — 930 долларов. На себя я трачу: 50 в месяц на еду и 95 на комнату. Комната очень простая, кровать, стол, стул — американцы удивляются. Зато дешево. В студенческой столовой не ем — это дорого, да там и большинство, кстати, перехватывают на ходу. Остальное экономлю — для друзей, которых надеюсь переманить, для себя...

— А семья?

— У меня пока нет семьи.

— А родители?

— Родители останутся здесь.

Я буду их навещать, помогать, но туда, скорее всего, они не поедут. Так что в Штатах я пока один.

— Ностальгия не душит?

— Видимо, не успела. Я же достаточно там обжился и рискну сказать, что привык. Во всяком случае, мне хочется остаться, и я сделаю для этого все, что смогу.

Ну, чего ж тут, счастливо! Ситников улетает не только к своему удовольствию — ко всеобщему. Американцам интересна его работа, а Родине тоже облегчение: еще один лишний рот у нас убавился, у них прибавился... Всем повезло?

Дмитрий БЫКОВ

ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ (ВЗПК)

круглогодичный набор слушателей!

Индивидуальный характер занятий, учет требований избранного вуза, педагогически обоснованная система подготовки, методические пособия, разработанные специалистами ведущих вузов страны, высококвалифицированные преподаватели помогут более 80% выпускников ВЗПК стать студентами.

На курсы принимаются юноши и девушки с любым уровнем начальной подготовки, закончившие не менее девяти классов общеобразовательной школы.

НАШИ ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ:

Центральное отделение (129110, Москва, ВЗПК), Ленинградское (190000, Ленинград, ЛТО, ВЗПК), Украинское республиканское (252601, Киев, УРО, ВЗПК), Белорусское (220131, Минск, БТО, ВЗПК), Среднеазиатское и Казахское (480100,

Алма-Ата, САКО, ВЗПК), Барнаульское (656011, Алтайский край, Барнаул-11, а/я 4253, АТО, ВЗПК).

На Украинском и Казахском отделениях обучение ведется также и на языке республик. Кроме того, на Украинском отделении преподаются украинский язык и украинская литература.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТЫ инвалидам с детства, воспитанникам детских домов.

Перспектив с подробными сведениями о формах обучения и оплаты вы **ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО**, написав по любому из наших адресов.

Для жителей Москвы и Московской области работают очные подготовительные курсы.

Справки по телефону: 581-11-53.



Записки возвращенца

В Торонто все ходят без шапок. Даже если очень холодно, и даже дети. Собака увидела нас с Ингой в шапках, залаяла, очевидно, увидела на наших головах подобие своих сородичей. И в Москве: если в мороз без шапки, значит, иностранец.

Первую свою работу нашел на третий день. Вот так, шел по Джейн-стрит и спрашивал всюду, не нужен ли работник. Взяли на мойку машин. Машина проходит через конвейер, затем шофер выгоняет ее на площадку, где мы должны ее вытереть. Первые три дня — работа по десять часов, без минутного перерыва. Минутного! (Канун Рождества, все хотят помыть машины.) К концу дня движения автоматические, ноги мокрые, голова пустая. Пятьдесят долларов в день.

Хозяин «кар-вош» — румын. Когда казнили Чаушеску, всех работников бесплатно угощал пивом. Мы тоже радовались. Не только концу тирана, но и бесплатному пиву и пище.

Вторую работу нашли по объявлению в газете: «Требуются продавцы цветов». Решили идти вдвоем, я и Инга.

Новый год. Самый центр Торонто — Сити-Холл. Продаю цветы. Где-то неподалеку Инга, тоже торгует. Вокруг море огней, все смеются, жмут руку, покупают цветы. Фейерверк, шампанское. В полночь народ повалил по центральному улицам с песнями, криками. Обступили, протягивают деньги, берут букеты. Многие не ждут сдачи. Улыбки, поздравления. Закончили торговать в два часа. У меня 120 долларов, у Инги — 160, ей много давали чаевых.

На мойке в мою смену работают два афганца, Саид и Хабибулла. Узнав, что я русский, насторожились. Поначалу я был рад, что у нас в руках только полотенца. Вскоре подружился, а с Саидом у меня установились самые теплые отношения. Ему 40 лет, в Афганистане работал в банке, ездил учиться в ФРГ. Образован, начитан. Семья, две дочери. Вторжение Советской Армии перечеркнуло все планы. Убили отца, брата. Спасаясь от советских солдат, Саид бежал с семьей в Пакистан, шесть лет скитался по Индии, год назад удалось эмигрировать в Канаду.

Первая встреча с соотечественником. Работает тоже на мойке. Зовут

Игорь. В Канаде уже 11 лет. Первые годы все шло хорошо, потом плохо, потом совсем плохо. Вот теперь вместе с нами моет машины. Игорю 50 лет, и, пока есть силы, он пытается скопить денег на период, когда силы кончатся. Ловит мой сочувственный взгляд, говорит, будто оправдывается: «Знаешь, сколько тут наших повесилось?» А я почему-то думаю: «А сколько наших повесилось там, в России?»

Сегодня Викин ребенок спрашивает: «Мам, а в русских магазинах тоже ничего нет, как и в Москве?» Мы пять минут хохотали. Потом поехали в русские магазины. Читатель, кому за сорок, вспомни, что такого вкусного было в Москве в свое время. Ну вот, все это до сих пор лежит. «Южная ночь», «Мишка косопалый», докторская колбаса. «Откуда?» — спрашиваю. «Из Нью-Йорка», — отвечают.

Работает у нас на мойке Юрек. Он поляк, ему 22 года. Дома остались жена, две дочери. Приехал в Торонто на заработки. Работает всего три недели. И вот вчера — несчастье. Машина отдала ногу. До конца дня он так и не доработал, сегодня с утра тоже не пришел. Хозяин уже взял нового работника. Вот так. Аккуратней нам, иммигрантам, надо! Больничных нам тут не платят, а за квартиру вноси аккуратно в срок, и не важно, работаешь ты или нет.

По вторникам на мойке дается скидка на машину, если за рулем женщина: «женский день». С утра потянулись миссис и мисс. У нее машина стоит тысяч 25, а она за тридцать земель едет сюда, чтобы сэкономить два доллара. Это в крови — деньги считать любят. Потому и живут хорошо и богато.

В магазине вывеска: «Только сегодня мы даем скидку на 30% на наши товары». Полгода живу, полгода захожу сюда, полгода это «сегодня» висит. Расчет на залетного простака, который подумает: повезло, что попал именно сегодня.

Игорь, видимо, считает своим долгом давать мне мудрые советы. «Если ты зарабатываешь меньше жены, считай, это конец». «В Канаде трудно только первые пятнадцать лет, потом все нормально». «Никому не доверяй, особенно русским». «Пока у тебя деньги есть, ты всем нужен, как нет, то пропадай». «Тут тебе не Советский Союз».

После его монологов ощущение, что тебя сослали в Канаду отбывать наказание.

Сегодня хозяин недодал 30 долларов. Обидно! То плакать хочется, то с кулаками на него наброситься. Попытался доказать свою правоту — два дня вообще на работу не пускал: не высывайся! Ребята потом пояснили, что так обсчитывают каждого раз в квартал. Не нравится — иди жалуйся, только если полиция узнает, что ты работаешь нелегально, тебя депортируют из страны.

За 8 месяцев в Канаде я не видел ни одного солдата. Удивительно! Наверное, так же удивится москвич или ленинградец, который не встретит на улице человека в военной форме в течение десяти минут.

Приехал на мойку сын хозяина. 20 лет парню. Машину нам не доверил, мыл сам. Вылизывал свою «феррари» в течение часа. В течение следующего часа выискивал царапины и бережно их шпаклевал. Еще через час занялся полировкой. Все это время его невеста сидела в офисе и с ненавистью смотрела на соперницу...

Перед судом предстали два человека. Один обвиняется в убийствах евреев в годы второй мировой войны. Второй человек что-то украл в супермаркете. Первого выпустили под залог — 100 000 долларов, второго посадили и, видимо, надолго, так как платить за него некому. Уровень демократического правосудия в Канаде вызывает у меня восхищение. Иногда восхищение переходит в недоумение. По канадским законам человека не вышлют из страны, если на родине его ждет наказание. Я бы не стал тревожить репутацию обителя «лучшей доли», если бы не мелькающие сообщения в газетах о бывших эсэсовцах, международных гангстерах и прочих бандитах, чьи набитые кошельки сделали их гражданами Канады.

Справедливости ради надо отметить, что общественность все настоятельнее требует не либеральничать с заезжими бандюгами и насильниками.

Звонок из Москвы. Совет Министров запретил выезжать за границу детям в сопровождении бабушки и дедушки. Бабушка — коммунист, дедушка — ветеран, внучка — октябренок. Не понимаю. Чувствую только, что без детей долго тут не протяну...

За первый месяц на мойке получилась 750 долларов.

На мойке процветает воровство. «Если ты вытираешь пыль внутри машины и к трюпке случайно прилипло несколько монет, не спеши отдавать их хозяину. Может быть, это и не его деньги. Может, кто-то из наших выронил их раньше» — негласная инструкция международного трудового коллектива. Нескоро клиентов уже жаловались хозяину. Хозяин что-то задумывает.

В Польском консульстве пожар. Поляки, работающие со мной, заволновались. Те, кто подал документы, чтобы остаться в Канаде, боятся, как бы паспорта не сгорели. Те, кто приехал временно, надеются, что документы сгорели и они побудут здесь подольше. Вечером стало известно, что сгорела крыша. Вздохи облегчения и разочарования.

Хозяин мойки уволил двух поляков. «Из машины пропадают деньги», — говорит. «Мы не брали ниче-

го», — взмолились поляки. «Я не де-
тектив, чтоб искать вора. Еще одна
жалоба, выгону еще двух, потом
еще». Поляки ушли, кражи прекра-
тились.

На мой дневной заработок я купил
кило свиной вырезки, кило сосисок,
полкило сыру, десяток яиц, кило
красной рыбы, кило бананов, полки-
ло клубники, хлеб, полкило помидо-
ров, виноград, арбуз, кило мороже-
ного, шоколад, 5 бутылок кока-
колы. А на мой заработок даже офи-
циальный безработный не пойдет!

Вот уже три дня на новой работе.
Только сегодня хватило сил черкнуть
эти строки: первые два дня приходил
домой и падал замертво. Копали яму
для фундамента под дом. Снег,
дождь. Лопата, лом, кирка. Мокрые
ноги. 10 часов в день, семь долларов
в час. Все, спать.

Стелили паркет. Упаси Бог ска-
зать, что ты чего-то не умеешь де-
лать. Умеешь. Выгнать тебя всегда
успеют, а тут все-таки шанс имеется.
Я сказал, что последние годы только
паркетом и занимался. Сухо и тепло
после ужасных «лопатных» дней. Ан
нет. Последние два часа ползал по
полу как червяк и из последних сил
старался не попасть по пальцам мо-
лотком. А паркетчик меня, конечно
же, прогнал, да еще и обманул на
90 долларов.

Пришли письма из Москвы. Ура!
Детей пускают. Скоро все будем вме-
сте.

Сегодня Инга с утра стала соби-
раться в ресторан. Помылась, уложи-
ла волосы. Косметика. Красавица!
В три часа дня ушла, в два часа ночи
вернулась. Десять часов мыла посу-
ду...

Возвращение на мойку. Приняли
обратно с сочувствием. Видно, чем-
то я им приглянулся.

Устраиваюсь и я в итальянский ре-
сторан мыть посуду. Работа по вы-
ходным очень удачно стыкуется с ра-
ботой на мойке. Заканчиваешь в од-
ном месте и сразу бежишь в другое.
В ресторан нас взяли по рекоменда-
ции, иначе просто и не разговаривали
бы.

Получил письмо от дочки Алисы:
«Если у вас плохо с мылом, сахаром
или чаем, то вы пишите, у нас уже
есть талоны». Улыбался и плакал.

Нон-стоп. 10 часов на мойке и бе-
гом в ресторан — 10 часов мытья по-
суды. 4 часа сна. Опять мойка и
опять ресторан. Это в выходные
дни. А в понедельник... опять на ра-
боту.

Только не надо охать и ахать по
поводу бедных рабочих-иммигрантов.
Через три-четыре года они возвраща-
ются домой и до конца дней своих
чувствуют себя финансово независи-
мыми людьми. Лично я за два выхо-
дных зарабатывал по 6—7 тысяч руб-
лей. Люди знают, за что работают,
и ищут любой возможности побыть
хоть немножко эксплуатируемыми.

Первое время мы были шокирова-
ны количеством мяса, фруктов,
овощей, тортов, шоколада, вина,
креветок, устриц, омаров, соусов,
гарниров и прочего, прочего... лете-
вшего в мусорные корзины. От торта
отрезан маленький кусочек — в му-
сор! Поднос с фруктами (пара ягод
съедена) — в мусор! Сотни кило-
граммов ежедневно приходится мне
выбрасывать в контейнеры. Увы, это
типично не только для нашего ресто-
рана.

Это не признак богатства нации,
а что-то страшное и мне совершенно
непонятное. Тем более, что почти
каждый день по телевизору показы-
вают ролик об умирающих от голода
детях в развивающихся странах. Пе-
ред этим роликом всегда идет объ-
явление: «Впечатлительных людей
просим не смотреть». Сколько же их
в Канаде, впечатлительных?

Телефонный звонок из Москвы:
куда я дел партийную печать нашей
школьной организации? (!)

Интересно, исключили меня из
партии или нет?

В назначенное время дети не при-
летели. Из Москвы вылетели, а в
Монреаль не прилетели. И никто
ничего не знает. Всю ночь мы про-
стояли у окна. Это была ужасная
ночь. Двенадцатилетняя Каролина
успокаивала нас, что она прочитала
специальную молитву, попросила
Бога и Он обязательно поможет. От
девочки исходила вера. На следую-
щее утро дети прилетели. Над океа-
ном произошла какая-то авария, они
вернулись в Москву, пересели на дру-
гой самолет... Я видел печать смерти
на их лицах. У них даже не было сил
радоваться. Но мы снова все вместе.
Я счастливый человек.

Первое время казалось, что в То-
ронто очень много инвалидов. Так
часто встречались их на улицах спе-
шащими куда-то в своих чудо-коляс-
ках. В Канаде они полноправные
члены общества. Для них созданы
специальные автобусы, машины,
лифты, отделы в магазинах, туале-
ты, места для паркинга, игровые по-
лоски и бассейны.

У Алисы расстройство желудка.
Еще бы! Пионерский желудок не
привык переваривать в феврале
клубнику и чернику.

Украинская организация отказыва-
ется помочь нам в оформлении доку-
ментов на право остаться в Канаде.
У жены отец — украинец, но мы не
говорим по-украински. Нет, и все.
«Война между украинской и русской
эмиграцией имеет начало, но не бу-
дет иметь конца»...

Перед этим мы получили отказы
в еврейской и польской организаци-
ях. (Еврейская, польская и украин-
ская организации — самые мощные
и богатые в Канаде. В довольно ко-
роткие сроки они обеспечивают сво-
им клиентам право жить и работать
в Канаде.)

Продолжение на стр. 94

ПОЙДУ ИСКАТЬ ПО СВЕТУ...

Читаю результаты исследований,
проведенных в РСФСР сектором
«Изучения динамики позиций соци-
альных групп» Института социологии
(ныне — социально-политических ис-
следований) АН СССР.

1989 год — при первой возможно-
сти уехали бы за границу 13% опро-
шенных.

1990 год — 25%.

1991 год — 31%.

«В СССР жить уже невозможно.
Хочу повысить свой образователь-
ный уровень и укрепить материаль-
ное положение», «хочется пожить
и поработать в той стране, где к тебе
относятся с уважением, чтобы хоть
какое-то время почувствовать себя
человеком», — пишут они в анкетах.
52% опрошенных молодых людей не
удовлетворены своей работой. И не-
удивительно, что думают они: «В
этой стране никогда не будет усло-
вий, чтобы я мог честным трудом
обеспечить себе достойную жизнь». По-
ловины желающих «бежать от слома
голову» имеют высшее обра-
зование, то есть это молодые спе-
циалисты, которые не имеют воз-
можности реализовать свои знания,
энергию, талант и, на мой взгляд,
просто вынуждены искать такие воз-
можности где-то на стороне.

«Я полностью разочарован в на-
шей действительности и в будущее
тоже не верю», — это мы слышим от
тех, кто стоит в огромных очередях
за разрешениями на выезд из нашей
страны. Так давайте будем объектив-
ны. Если люди «не удовлетворены
условиями жизни здесь», если они хо-
тят «научиться правильно жить, не-
много подзаработать», то пусть по-
едут, посмотрят, попробуют как-то
устроиться. Может быть, кому-то
и повезет, и они смогут прийти к той
жизни, которая, с их точки зрения,
считается нормальной.

Очевидно, что число граждан, же-
лающих уехать за границу, с каждым
годом будет расти. Потеряна вера
в будущее. И если пожилые люди
считают, что они уже «пожили свое»,
и трогаться с места не будут, то для
молодежи отсутствие перспективы
является решающим фактором для
снятия с «еще насыщенных мест»
и быстрейшего отъезда на Запад.

Светлана ВЕЛИЧКО,
студентка отделения социологии
Государственной академии
управления



Вика пошла на концерт Дэвида Боуи. Весь концерт проспала. Устала, бедная.

В письмах дошли слухи, что я не любил и не люблю Родину. В Реутове напротив нас живет пьяница Коля. Он бьет жену, детей, он их не любит. Но, очевидно, он сильно любит Родину, если никуда не ездит.

Пожилая итальянка сокрушается, что дети и внуки перестали говорить на родном языке. Дети стесняются. Появляются ошибки и акцент. А к зрелому возрасту родной язык становится иностранным.

И когда в русском районе Торонто я слышал русскую речь, то с интересом рассматривал бывших соотечественников. Это были в основном пожилые люди. Молодые, видимо, тоже стесняются.

Полуголая танцовщица в таверне зарабатывает 2500 долларов в неделю. За 20 долларов дает возможность посетителям подержаться за ее бюст. Еще за 10 долларов посетитель может получить фотографию этого торжественного момента.

МЫ — МОЛОДЫЕ ХОЗЯЕВА СТРАНЫ?

По данным всесоюзного социологического опроса Института социально-политических исследований АН СССР СРЕДИ МОЛОДЕЖИ от 20 до 29 лет, март 1991 года:

уехали бы за границу, если бы позволили обстоятельства, — 46,1% опрошенных, в том числе:

навсегда — 9,6%,
на некоторое время, сохраняя советское гражданство и возможность вернуться, — 44,3%,
на временную работу по контракту при обязательном возвращении в СССР — 42,2%,
не задумывались об условиях отъезда — 3,9%.

Причины, толкающие молодежь в эмиграцию:

политические соображения — 20,3%,
низкий уровень жизни, развал экономики — 44,2%,
желание переждать «смутное время» — 7,6%,
охота к перемене мест — 7,6%,
возможность повысить уровень квалификации, образования — 7,6%,
другие — 10,4%.

Ждут ли перемен к лучшему?

	те, кто хочет уехать	те, кто не хочет уехать
в ближайшие год-два	2,4%	3,3%
в ближайшие пять лет	8,2%	12,4%
к 2000 году	19,1%	22,6%
значительно позже	38,3%	45,5%
не надеются дожить	15,7%	4,4%
не знают, что ответить	16,3%	11,7%

Официально в Канаде проституция запрещена. Ну, а неофициально — в каждом районе своя такса, ближе к центру дороже, утром дешевле. В общем, как везде, где проституция запрещена.

Дом, квартиру, землю, машину — все это можно взять в кредит. Очень удобно и в то же время опасно, если заработок в силу каких-то причин уменьшается.

Поразительно! Впервые почувствовал на собственной шкуре, что такое национализм. Насколько труднее мне решать те же самые проблемы, что и моим приятелям, только потому, что я русский. «Русскими не занимаемся» — эту фразу приходилось слышать довольно часто.

Минутные паузы на конвейере мойки называют социализмом: не работаешь, а деньги идут. Жаль, что социализма за день набегает минут пять.

Стали посещать русскую православную церковь. Красиво и торжественно внутри. (Само здание не церковного типа.) Хор. Внизу что-то вроде клубного помещения. Портреты царя и... английской королевы. По воскресеньям — борщ и пирожки. Интересная доска объявлений с многочисленными списками и призывами. Церковь, как мы убедились, является центром общения и единения всех русских, живущих в Торонто. Русскость здесь чувствуется повсюду. В запахе, в речи людей, в картинах и иконах, в воздухе. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

Согласно армейской терминологии, я стал «дедом» на мойке. Покриваю на новичков, не оставляю без ответа грубость отдельных клиентов, позволяю себе спорить с менеджером. Добром это не кончится.

Кстати, господствовавшая до меня в лексиконе мойщиков «курва» медленно, но верно вытесняется русским трехчленом. Забавно наблюдать, как латиноамериканцы осваивают новое для них ругательство.

Сегодня позвонили и сказали, что вечером можно попробовать новую работу. Какую, спрашиваю. Собрать ночью червяков. Хорошо платят. Что ж, червяки так червяки, лишь бы платили.

Едут за 100 километров от Торонто десять дуремаров. Приехали. Выдали нам ведра, надели на лбы шахтерские фонари, вывели на специальное поле, кишашее червями. Садись на корточки — и вперед. За каждую тысячу — 25 долларов.

В компании дуремаров — инженеры, кандидаты наук, учителя, строители, врачи. Все из Восточной Европы. Я думаю, если бы черви знали, какие люди их собирают, они бы сами заползали в ведра. Я собрал тысячу и плюнул на это дело. Те, кто не плюнул и работал до шести утра, заработали по 100 долларов.

Целый день работал грузчиком. Таскали мебель с этажа на этаж.

В газетах на страницах «бизнес» часто встречаются объявления типа «Дайте пять тысяч, верну через три месяца десять». Судя по постоянству таких объявлений, можно сделать два вывода. Первый: дураков нет. Второй: дураки есть.

Добрая женщина канадка Вера. Каким-то образом узнала о нас и стала помогать. В течение двух месяцев регулярно подвозила нам продукты и одежду. Она себя хорошо чувствовала, когда помогала кому-то. Спасибо тебе, добрая женщина!

Во многих жилых домах селят без детей и без собак. Кстати, если хозяин гуляет с собакой в общественном парке, то обязан убирать за ней. Так и ходят с лопатками.

Посетили штаб-квартиру канадской компартии в Торонто. Комнатенка 4 на 4 метра. Задрипанная, обветшалая, пыльная. Портреты Сталина, Ленина, Маркса, Мао. Ни живой души. Рядом — чудо-супермаркет. В Союзе все наоборот. Дворец-райком и чахлый гастрономешко.

Полицейские застрелили черного парня. Тот нарушил правила движения и пытался скрыться. Когда его блокировали, он сделал угрожающее движение и... тут же получил пулю в лоб. Полицейский в Канаде не боится стрелять в преступников. Преступники знают это и подчиняются беспрекословно.

В квартире появились тараканы-разведчики. Увидели, сколько нас тут живет — 10 человек в трех комнатах, — и испугались. Во всем доме они есть, а у нас нет.

Первый раз за 8 месяцев присутствовал на собрании, так сказать, трудового коллектива. Хозяин сказал, что некоторые официанты не сортируют грязную посуду, а несут все в куче на мойку. Если еще увидит, последует увольнение. А в остальном он доволен и, возможно, скоро даст прибавку к зарплате. Ответил на многие вопросы. Собрание за четыре минуты?! Это норма.

В ресторане десерт подали на шоколадных тарелках. 500 шоколадных тарелок. Десерт съели. Тарелки... Да ты, читатель, уже знаешь, куда пошли тарелки.

В каждом большом доме есть бассейн, магазин, прачечная, сауна, гаражи. В бассейнах чисто и строго. В расписании четко указано, когда купаются дети, когда — взрослые, когда — семьи. Приходишь с работы и сразу же — нырк, а потом минут двадцать «отмокнешь». Здорово.

В Квебеке индейцы устроили баррикаду, убили полицейского, сожгли несколько машин и... спокойно продолжают выдвигать свои требования. Расхаживают по лесам с пулеметами и делают то, что считают нужным.

Канадские газеты уже не учат Москву, как надо решать национальный вопрос.

Вике из советского посольства пришла анкета для продления паспорта. В анкете 24 пункта. В том числе: «Были ли ранее в СССР или в России до Октябрьской революции?», «Через какой контрольно-пропускной пункт покинули дореволюционную Россию?» Все друзья, кто видел эту анкету, хохотали до слез. Я послал ее в программу «Взгляд».

Жилищного вопроса здесь не существует. Жилье есть, а вопроса нет. За трехкомнатную квартиру (80 кв. м) Вика платит 600 долларов, это немного. Ее зарплата — 2000 долларов в месяц. В центре такая квартира будет стоить уже 1000 долларов. А в районе, где живут выходцы из Южной Америки и Африки, стоимость упадет до 400.

В моде контактные линзы. Можно каждый день менять цвет своих глаз. Сегодня ты голубоглазый, завтра черноглазый.

Сегодня ночью приснились песни Гребенщикова. Проснулся. Инга тоже не спит, смотрит на меня. Я вижу, что она уже знает, что я сейчас скажу: «Поехали домой». А я знаю, что и скажет она: «Куда ты, туда и я». И нам становится легко и хорошо от того, что мы понимаем и любим друг друга. От того, что мы едем домой.

От редакции. Александр Уров, 1958 г. р., живет под Москвой, работает в школе. Свой отпуск за 1991 год провел снова за океаном.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ В ДАЛЕКИЕ КРАЯ...

Эмиграция из СССР в годы перестройки:

1986 г. — 8 тысяч человек,
1987 г. — 40 тысяч человек,
1988 г. — более 108 тысяч человек,
1989 г. — 235 тысяч человек,
1990 г. (январь — октябрь) — 336 тысяч человек.

Эмигранты 1990 года:

евреи — более 120 тысяч человек,
немцы — более 100 тысяч человек.
Эмигранты первых 6 месяцев 1990-го:
рабочие — 31%,
служащие — 34%,
колхозники — 2%,
учащиеся — 4%,
неработающие и пенсионеры — более 25%.

Страны, которые мы выбираем для постоянного жительства:

Израиль — 44,7% эмигрантов,
ФРГ — 41,8%,
США — 6%,
Греция — 4,6%.

Экспертные прогнозы реальной эмиграции из СССР после вступления в действие Закона о въезде и выезде: в течение первых 10 лет — от 2,5 до 7 миллионов человек, к 2010 году — 500–600 тысяч человек ежегодно.

(По материалам Центра социально-стратегических исследований, г. Москва.)

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ НИСЬМО НЕ ОСТАЮЩИМСЯ

Когда вы это прочтете, я буду уже в Новом Свете, и мне все будет до фени. Спешу высказаться сейчас.

Россия не кончается в Чопе. Россия продолжается с нами. Она там, где Рерих, там, где Леонтьев, там, где... я.

Наше общенародное дело — духовная экспансия в мир. И лишь извращенная ее форма — экспансия наших «знающих истину танков». Почему же зрелище этих танков, мешающих с грязью плоды наших духовных дел, вызывает на наших лицах гримасу гордости, а зрелище отъезда лучших умов — краску стыда?

Духовная карта мира — то есть карта подлинного мира — подобна поверхности воды в момент падения пригоршни разновеликих камней. Рождаются разновеликие круги духовных волн, взаимопроникают, и не заметишь, как — в беге встречном — достигают берега мира. Это наше слово к нему. Россия (Индия, Англия...) — это мир. Границы русской литературы (или немецкой мысли...) совпадают с границами мира или стремятся к совпадению.

Волна пошла. И некоторые «самые умные» — на волне. Но кто сказал, что мы не обязаны миру нашими умными? Чем-нибудь мы вообще обязаны ему, по-вашему? Так что наши умные — новый способ нашего там стратегического присутствия.

Да вы же разве остаетесь? В общем-то, все отбегает. Великороссия от России, Малороссия от Велико-, Ново- от Мало-, Одесса от Ново-, а одесситы от Одессы. Никто ж не остается в советской России, кроме «Советской России».

Вот говорят: мол, почему должны уезжать мы, пусть едут они, которые всего здесь достигнутого и достигли. Да потому как раз, что они уже достигли и им хорошо. А нам надо бежать отсюда. Западням — к западу, почвенникам — к почве, но не стоять как дураку. Надо двигаться! Надо как-то шевелиться!

Или вы думаете, что остаетесь в России? В нашем с вами положении нельзя остаться в России. К ней приходится идти. Остаться можно только в дерьме.

Я все равно не остался бы с вами. Я бы все лето бродил по старой Москве и листал книжки с видами ее прежней. Я же знал — а умный человек мне подтвердил, — что разнесенные храмы не погибают, а склеиваются там, наверху. И поэтому мое бегство в ретропейтаж будет тоже

бегством в пространстве, а не во времени.

Когда в припадке нервно-мышечной судороги, судороги механической памяти тело страны вспоминает все бывшее с ним — до удельных княжеств и вольных городов, до Речи Посполитой и Казанского ханства, когда ее географический силуэт двоится, троится, несчетно множится и не может быть удержан, я знаю лишь один ответ на ваш растерянный вопрос: «Что же такое Россия?»

Россия — понятие в последний черед географическое. Любые таможенники — лишь забвение духовных вечнодвижущихся контурных карт. Россия же — все те, кто в данную минуту свободно припадает к русским духовным родникам. Россия станет нам виднее в мире без границ. Что ж отдалает собрание России? Апелляция к оружию. Что приближает? Работа над собой. Над звуком слов, над выражением лица. И чтобы было само лицо, а не броня крепка. Не месите грязь гусеницами на месте наших святых ключей, да на глазах у всего света. Не надо этого вашего утверждения наших ценностей! Не называйте пепелище почвой, а разгребайте, разгребайте, и если уберут чистые ключи, то ставьте красивую сень. И нас еще выберут свободно и в братья, и в отцы родные.

Так что же сказать вам, остающимся, когда все плывут: кто с волной, кто против — к центру круга, где брошен камень? На этом камне, обретенном, воздвигнем церковь, палаты — рядом, а в трещинах камня насадим вертоград. И уверюем, что это все выплывет. И какие — невиданные еще — круги пойдут тогда по голубой нашей поверхности!

А я, когда вы это читаете, уже в Новом Свете. На известном красотою полуострове, у моря, столь чистого, что бухты Синяя, Зеленая и Голубая действительно таковы, в самом тихом месте эдеиной космополитической республики, в поселке, где полно русских, где греки, немцы, украинцы, армяне, где есть уже и татары, хотя принимаемые неохотно, среди чудных гор и старых вилл гуляю с мулатками и пью местное знаменитое вино. Уже сейчас, пища все это в Москве, не терпится бросить и бежать туда врангелем. Ибо Крым — метафора небесной, белой, горной, ДРУГОЙ России. России нового света.

Ну, привет.

Ваш (корр.)
Рустам РАХМАТУЛЛИН



АНА-ШЕЛЬФ

МЫ ЗАПОЛНИМ ПРОБЕЛЫ В ВАШИХ ЗНАНИЯХ

Центр обучения АНА-ШЕЛЬФ продолжает набор на **ВСЕСОЮЗНЫЕ ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ.**

80% наших учащихся становятся студентами столичных вузов.

Оригинальные методики, система контрольных работ, тесный контакт абитуриента с личным преподавателем позволяют всего за три месяца освоить выбранные предметы.

Стоимость курсов — 88 рублей.

КРОМЕ ТОГО, АНА-ШЕЛЬФ ПРЕДЛАГАЕТ:

- улучшить память
- овладеть техникой быстрого чтения
- пройти курс аутогенной тренировки

Стоимость каждой методики — 22 рубля.

Для успешно закончивших наши курсы в мае — июле мы организуем 10-дневные семинары в Москве и Подмосковье.

НОВИНКА!

ЗАОЧНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»

Курс даст возможность изучить язык как самостоятельно, так и с преподавателем.

Деловые игры и упражнения помогут успешно усвоить пройденный материал.

Стоимость курса — 66 рублей.

Заявку (укажите название вуза, выбранный курс, домашний адрес, ф. и. о), квитанцию почтового перевода (перечислите сумму оплаты за выбранные курсы на р/с 1608718 в Хорошевском отделении Промстройбанка г. Москвы МФО 201122) направляйте по адресу: 125190, Москва, а/я 107.

25% СКИДКА для служащих Советской Армии.

Справки по тел.: (095) 356-16-30, звонить с 10 до 17 часов.

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
консультант главного редактора
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ТКАЧЕНКО —
редактор отдела поэзии
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:
Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Художественный редактор
Юрий Петелин
Технический редактор Ольга Трененок
Оформление рекламы
Вадима и Владислава Игонных

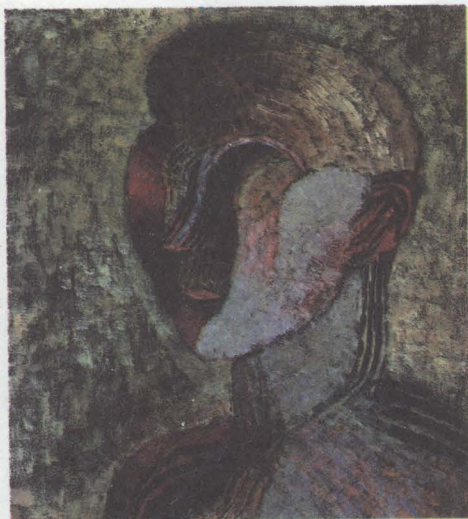
Сдано в набор 03.07.91. Подп. к печ. 25.07.91
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 691.
Цена 1р. 75к.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП,
ул. Горького, 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1991 г.

АНА-ШЕЛЬФ



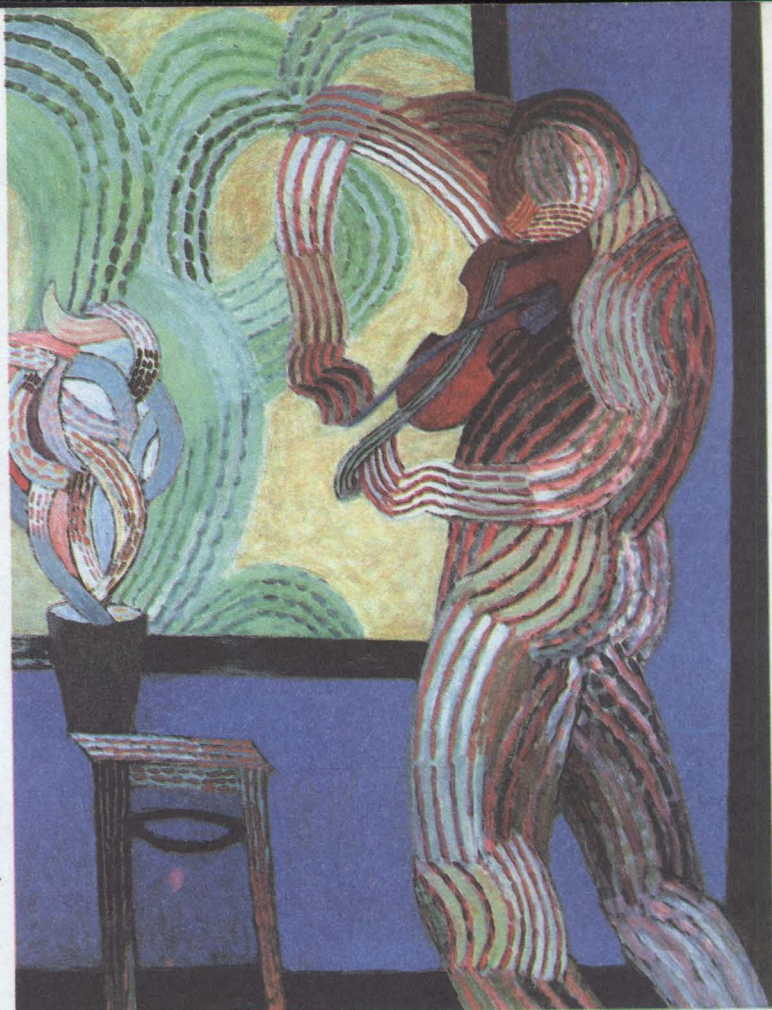
«Автопортрет».

На стендах «ЮНОСТИ»

**Павел
ДУРАСОВ**
Творческая группа «Ковчег»
г. Москва.

Поколение молодых художников, к которому принадлежит Павел Дурасов, естественно и свободно влилось в поток художественной культуры 20-го века. Они рано стали осваивать эту культуру и выбирать своих духовных отцов. Гораздо меньше, чем другие, они испытывали идеологическое давление, и свобода творчества стала их неотъемлемым правом. Реализуя его, Павел Дурасов много и серьезно работает. Он участник нескольких молодежных выставок. Но пока его творчество, как и других молодых художников, остается достоянием узкого круга специалистов и коллекционеров, а не широкой публики, находящейся в плену стереотипов, навязанных идеологией прежних нелучших времен. Возможно, реакцией на это непонимание и явился его автопортрет, такой настороженно-замкнутый в своей профильной композиции, только ритм пересекающихся упругих линий выдает внутреннее напряжение. Прихотливые музыкальные ритмы другой работы, «Скрипач», помогут услышать музыку. Выразительна поза музыканта, пульсирующий цвет, где рождается звук, передает момент наивысшего напряжения, самозабвенного творчества. Предельно обобщая образ, Павел Дурасов ищет формулу творчества. Его фантазия питается впечатлениями от окружающей жизни, но в картине остается только освобожденное от случайного и индивидуального ради возможности говорить со зрителем о всеобщем и универсальном.

Л. ЖЕЛЯСКОВА



«Скрипач».

«Пляшущая».



Союз кинематографистов РСФСР
Государственный Фонд развития кинематографии РСФСР при СМ РСФСР
Московское представительство «КРЕДО-АСПЕК»
совместного советско-испанского
предприятия «АСПЕК»
Акционерное общество «ПИРАМИДА-МЕНАТЕП»
ПРОВОДЯТ
в 1992 году в г. Сочи

ВСЕРОССИЙСКИЕ КИНОРЫНКИ

12—20 января
12—20 мая
12—20 октября

121883, Москва,
пр-т Калинина, 19
«КРЕДО-АСПЕК»
тел.: 291 73 70,
291 72 69

